

ББК 63.3(2)61-4
УДК 94(47)"1917/193".325
335

Серия выходит под редакцией
А.И. Рейтблата

Перевод с английского
М.Э. Шаскольской

Составление аннотированного указателя
О.А. Прохорова, А.И. Рейтблата, М.Э. Шаскольской

Оформление серии
Н.Г. Песковой

Художник тома
С.А. Жигалкин

Зарудная-Фриман М.
335 **Мчались годы за годами: История одной семьи. —**
М.: Новое литературное обозрение, 2002. — 368 с., ил.

Автор этой книги, М. Зарудная-Фриман (р. 1908), повествует о полной драматизма судьбе семьи русских интеллигентов, потомков известных в истории отечественной культуры родов Брюлловых и Зарудных, ветром Гражданской войны гонимых на восток России и далее в эмиграцию: вначале в Китай, а потом в США. Дом М. Зарудной-Фриман в течение многих лет был одним из центров русской культурной жизни в Бостоне, тут бывали Н. Коржавин, И. Бродский, А. Сахаров, А. Есенин-Вольпин и др.

ББК 63.3(2)61-4
УДК 94(47)"1917/193".325

ISBN 5-86793-054-8

© М. Зарудная-Фриман, 2002
© М.Э. Шаскольская. Перевод с английского, 2002
© О.А. Прохоров, А.И. Рейтблат, М.Э. Шаскольская.
Именной указатель, 2002
© Новое литературное обозрение.
Художественное оформление, 2002

*Это история о том, как жила и росла русская семья —
от предреволюционных времен до середины тридцатых годов,
постепенно передвигаясь через всю Россию, Сибирь,
Маньчжурию до самой Америки. Это история Мули,
а также ее четырех сестер и брата.*

*Книга посвящена памяти
нашей матери, которая дала нам главную идею в жизни,
нашего отца, который воплощал эту идею,
Мани, благодаря которой сохранилась наша семья,
и мистера Чарльза Крейна, спасшего нас в трудные времена.*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Теплым майским вечером я сидела в моей просторной гостиной и смотрела в окно на цветущий каштан. Я посадила его сама тридцать лет тому назад, когда он был тонким саженцем не выше меня самой с единственным розовым цветком на верхушке. Теперь это огромное дерево с сотнями цветов. В этом году все кусты и деревья цветут почти одновременно: красные, розовые, белые азалии и нежно-розовый куст рододендрона начали распускаться до того, как цветы яблони и груши стали опадать.

Мой дом перестроен из старинного каретника и конюшни. Мы с мужем перестраивали его много лет, и теперь дом кажется уютным, несмотря на большие размеры. Было приятно сидеть спокойно и смотреть в окно, после того как все картины, развешанные по стенам для выставки, были увезены и заменены привычными. Теперь и гостиная смогла принять свой обычный вид. Современная скульптура, расставленная по саду, тоже была увезена ее автором, бородатым русским скульптором, и на террасу вернулись белая мебель и большой зонт. Нет больше и многочисленных людей, приходивших смотреть выставку, и я наконец осталась одна. Наслаждаясь покоем, я перебирала в памяти события последних лет и все годы долгого, часто трудного пути, который привел меня к моему настоящему.

В течение тридцати лет я работала в разных лабораториях Массачусетского технологического института как математик и закончила преподаванием русского языка и истории в том же институте. И после выхода на пенсию я стараюсь не терять контакта с американскими академическими коллегами.

Четверть века уже в моем доме устраивают лекции, концерты и выставки русские эмигранты, которые начали приезжать в Бостон, когда появилась возможность уехать из Советского Союза. В последнее время приехало много новых эмигрантов, и собрания стали еще более оживленными.

Хотя я постепенно старею, для меня русский язык остается родным, и я чувствую культурное родство с новыми иммигрантами из России.

Встречаясь с приезжими, будущими американцами, я надеялась, что смогу им показать, как можно стать американцем, не переставая быть русским. Как можно обогатить многообразную культуру Америки, не забывая тех либеральных идей, которые заставляли и моих родителей, и современных диссидентов бороться против несправедливости.

В 1970 году я была в России с туристической группой и, приехав в Ленинград, город, где родилась, закончила свое 62-летнее кругосветное путешествие.

Тогда я была американской туристкой и даже не пыталась узнать, остались ли у меня родственники в России, боясь, что это им может повредить.

В конце 1980-х годов я начала писать свои воспоминания и писала их много лет. Я знала, что в каком-то архиве в России хранятся дневники папиной сестры, художницы Екатерины Зарудной-Кавос. Через И.Э. Мамиофу, незадолго до этого эмигрировавшего из России, я познакомилась с Сергеем Максимовичем Вонским в Петербурге, который очень помог мне, разыскав эти дневники. Заодно я назвала ему фамилии родственников, которые я знала, — Зарудных, Лисовских, Шаскольских. С.М. Вонский случайно услышал по радио, что в подготовке празднования 200-летия Александра Брюллова участвует Тамара Петровна Шаскольская, и, связавшись с нею, узнал, что Тамара — дочь маминой кузины Надежды Владимировны Брюлловой-Шаскольской, то есть моя троюродная сестра. Но замечательно, что как раз незадолго до этого Тамара сама стала разыскивать детей или внуков Елены Павловны Брюлловой-Зарудной, и для этого ее дочь обратилась к Конгрессу соотечественников, проходившему в Петербурге в 1993 году. Обращение было напечатано в газете «Харбин», номер которой попал в Австралию, где его прочла наша старая знакомая по Харбину Таня Бакич, и через Танину дочь, живущую в Канаде, объявление о розыске дошло до нас в Америке. Так мы с Тамарой нашли друг друга.

В июне 1995 года я с туристской группой вновь оказалась в России. Сначала в Москве, где меня встретила и опекала Е. Боннер, потом на пароходе «Дмитрий Фурманов» мы плыли по Московскому каналу до Дубны и дальше по Волге, по каналам и озерам с остановками в Угличе, Горицах, Кижях и на Валааме и, наконец, по Неве до Петербурга — главной цели моего путешествия.

Я знала, что для моих родителей, и особенно для мамы, Петербург был родным: тут они выросли, и тут росли и жили все их родственники. В наших постоянных странствиях из города в город мама и папа старались передать нам, детям, то, что они получили в своей юности в Петербурге. Мама надеялась, что мы все-таки когда-нибудь попадем туда и сможем непосредственно почувствовать атмосферу ее любимого города.

В конце XIX и начале XX века Петербург был одной из самых блистательных столиц мира. Новейшие идеи в образовании и философии, широкое употребление иностранных языков, музеев, университеты, театры, художественные студии, роскошь светской жизни, балы и приемы в великолепных дворцах, а рядом — бедность в рабочих кварталах, серость будничного чиновничьего существования, подбострастие высоких чиновников перед начальством и радикальные политические идеи молодежи.

Я думала обо всем этом, когда наш теплоход приближался к Петербургу в июле 1995 года. В промежутке между моим рождением и этим моим приездом Петербург пережил революцию 1917 года, голод последующих лет, потерял не

только свой статус столицы, но и свое имя, пережил неописуемые испытания во время блокады. После войны и к 70-летию революции в Петербурге многое было отстроено и отреставрировано, и наконец теперь, с распадом Советского Союза, город возвратил себе свое историческое имя.

В Петербурге я увидела здания, построенные моим прадедом Александром Брюлловым, и знаменитую картину Карла Брюллова «Последний день Помпеи» в реставрационном зале Русского музея, куда меня пустили как родственницу художника. Была я и в Павловске, видела дачу прадеда и кладбище с его могилой. Там же похоронены мой дед Павел Брюллов, его первая жена, его сын и дочь.

За несколько лет до того Тамара Шаскольская вместе с Ниной Борисовной Брюлловой (еще одной моей кузиной) установили на том же участке кладбища гранитную плиту в память о тех родных, которые погибли безвестно в лагерях и тюрьмах. На плите написано:

Память о невинно убиенных
на земле предков

БРЮЛЛОВ Борис Павлович
1882—1940

БРЮЛЛОВА Лидия Павловна
1886—19..

БРЮЛЛОВА-ШАСКОЛЬСКАЯ
Надежда Владимировна
1886—1937

Мы вышли с кладбища и поехали в Пушкин (Царское Село). Гуляя по прекрасному парку, о котором мне когда-то рассказывала с такой любовью мама, я раздумывала обо всем, что видела в тот день. Возникшее у меня чувство умиротворения было вызвано тем, что мамин брат, сестра и ее любимая кузина, тела которых лежали больше полувека в разных краях их родины в общих, не отмеченных никаким знаком могилах, наконец возвращены, пусть даже только именами своими, в их дорогой город, на кладбище рядом с их предками. Они все реабилитированы. Значит, страна признала, что они невиновны. Знают ли они это? Знает ли об этом моя мама, которую постигла та же участь?

Невольно мне вспомнились стихи Тютчева:

Завтра день молитвы и печали,
Завтра память рокового дня...
Ангел мой, где б души ны витали,
Ангел мой, ты видишь ли меня?"

На следующий год на кладбище поставили еще одну небольшую плиту, в память о моей маме:

Елена Павловна
БРЮЛЛОВА-ЗАРУДНАЯ
1883—1921

* * *

За восемнадцать лет, что я работала над своими воспоминаниями, мне помогало столько людей, что я просто не в состоянии назвать всех. Прежде всего я должна поблагодарить Беатрис Клеппнер, которая в течение многих лет приглашала меня проводить летнее время в ее доме в Вермонте. Мало того, что там были идеальные условия для работы, Беатрис и ее невестка Эми Клеппнер читали мою книгу главу за главой, исправляли все мои ошибки в английском и помогали мне своими советами. Моя сестра Елена провела многие часы над рукописью и сделала ее короче и яснее; сестра Таня прислала мне много фотографий, а сестра Катя делала многочисленные копии с документов, которые ей удавалось найти в библиотеках. Мой сын Эдвард Фриман помогал во всех затруднениях с компьютером, отвечая по телефону из Калифорнии на мои вопросы. Я бесконечно благодарна Елене Георгиевне Боннэр, которая преодолела большие трудности, получая от КГБ дело моей матери — копии ее допросов, несколько писем, вложенных в дело, приговор, подтверждение исполнения приговора, ее последнюю фотографию и, наконец, справку о ее реабилитации. Питер Зуг проделал всю работу, связанную с подготовкой иллюстраций для книги, а Миша Крук оказал огромную помощь в работе на компьютере. Мои русские друзья, которые прочли книгу по-английски, очень помогли мне своими многочисленными замечаниями. Я очень благодарна Марии Шаскольской за ту тщательную работу, которую она проделала, переводя книгу на русский язык. Приехав ко мне в США, она просмотрела мой архив, поправила многие неточности и, работая вместе со мной над рукописью, привела ее в ту форму, которая удовлетворила нас обеих. Кроме того, благодаря знанию семейной истории, она добавила новые фотографии и новые детали. Это много больше, чем я могла ожидать. Законченный русский вариант просмотрел Александр Горфункель и внес много ценных поправок.





Мгались годы За годами



ГЛАВА 1

НАША СЕМЬЯ

МАМИН ОТЕЦ — ПАВЕЛ БРЮЛЛОВ

Мой прапрапрадед Георг Брюлло приехал в Петербург из Германии, как многие европейские мастера, которых русские цари приглашали, чтобы украшать города и дворцы. Георг Брюлло, искусный мастер росписи по фарфору, приехал в Россию вместе со своей семьей в 1773 году. Его предки, французские гугеноты, некогда бежали из Франции в Германию, спасаясь от преследований со стороны католиков. Его потомки, художники и архитекторы, оставили свой след в Петербурге. Один из его внуков — знаменитый художник Карл Брюллов, еще один — мой прадед архитектор Александр Брюллов, создатель многих величественных зданий в Петербурге, строитель Пулковской обсерватории, некогда лучшей в мире. В истории русского искусства Карл, младший брат, обычно заслоняет Александра. Его картина «Последний день Помпеи» известна каждому русскому. Карл Брюллов умер в Италии и похоронен на некатолическом кладбище Монте Тестаччио, где на его могиле стоит памятник работы его брата Александра.

Мой дед, Павел Александрович Брюллов, старший сын Александра Брюллова, родился в Санкт-Петербурге в 1840 году. Он был художником-пейзажистом, членом товарищества передвижников, академиком живописи и какое-то время служил хранителем коллекции картин Музея Александра III (ныне Русский музей). Павел Брюллов был человеком широко образованным — известно, что художники называли его математиком, потому что он окончил математический факультет университета и всегда мог прийти на помощь в бухгалтерских расчетах; математики часто звали его музыкантом, потому что он был выпускником консерватории по классу рояля и по классу виолончели и любил играть в любительских камерных

оркестрах; музыканты же знали его как художника, поскольку он закончил Академию художеств и основным его занятием была живопись.

Дедушкины картины с изображениями деревьев, гор, моря украшали стены домов, в которых жила наша семья во времена моего детства. Я хорошо помню одну, с огромным дубом посреди луга и маленькой рощей на горизонте. Мне казалось, что дедушка написал каждый листок этого огромного дуба, каждую трещинку на его узловатом стволе, и я часто думала, сколько ему, наверное, понадобилось на это терпения. В своей тяжелой золоченой раме картина занимала почти всю стену нашей гостиной, и я любила проводить пальцами по узорным завиткам рамы.

На другой картине, поменьше, в тяжелой черной раме, изображены были огромные округлые скалы у берегов Черного моря, с которых в синюю спокойную воду прыгали маленькие мальчики. Картина называлась «Гурзуф» и занимала боковую стену гостиной. Помню, как мой брат, еще совсем маленький, сидя у мамы на руках, тянется к мальчикам на картине и пытается их ухватить. Было еще много других картин, мама получила их от дедушки в подарок на свадьбу. Они висели на всех стенах, и мы часто разглядывали их, изучая каждую деталь. Мы знали, что мама ими очень дорожит. Впрочем, на стенах были и другие картины — написанные нашей тетей, старшей сестрой моего отца. Екатерина Зарудная-Кавос (тетя Катя) была преимущественно акварелисткой. А несколько портретов, написанных мамой, висели в кабинете у папы.

Но меня больше всего притягивала дедушкина картина, на которой прямо на зрителя мчался паровоз, за ним виднелись вагоны, а из трубы поднимался дым. Картина была не совсем закончена, но про нее рассказывали интересную историю. Мой дед и тетя Катя любили выезжать вместе на природу с мольбертами, чтобы писать этюды. В тот раз они хотели написать поезд, как он виден спереди. Поставив мольберты между двумя путями, они ждали приближения поезда, но когда тот был уже близко, вдруг поняли, что сзади приближается еще один, которого они не слышали из-за шума первого. Сойти с путей ни в ту, ни в другую сторону уже было нельзя, и тетя Катя, хрупкая, довольно нервная женщина, запаниковала. Тогда дедушка схватил ее за плечи и держал, пока они стояли между двух движущихся поездов.

Мне дед запомнился живым, сильным человеком, всегда увлеченным своей работой. Как-то раз, когда он писал картину у нас в саду, начался дождь. Кто-то позвал его в дом, но дед ответил: «Масляные краски воды не боятся», — и продолжал работать. В шестьдесят с лишним лет он сло-

мал правую руку, впрыгивая в вагон конки. Пока рука была в гипсе, он пытался писать левой и научился делать это так хорошо, что и после выздоровления писал попеременно то правой, то левой.

Все биографии деда, которые мне доводилось читать, полны анекдотов о его рассеянности. Любимое дело и впрямь поглощало его целиком: писал ли он картины, слушал музыку, играл на виолончели, решал шахматную задачу или просто погружался в раздумье — весь остальной мир для него больше не существовал.

Он умер в декабре 1914 года, пережив четырех жен. Его первая жена Софья Кавелина, дочь известного историка и сама автор ряда исторических статей, родила ему двух сыновей, Вадима и Александра, и умерла после родов. Второй раз дед женился на Маргарите Лихониной, моей бабушке. Она родила трех детей: Любовь, Бориса и Елену (мою мать). Маргарита Григорьевна умерла от туберкулеза, оставив моего деда с пятью детьми. Третья жена деда, Елизавета Михайловна Носкова, родила ему двух дочерей Лидию и Маргариту. Она сама умерла после родов второй дочери, а маленькая Маргарита умерла двух лет. В то время русская церковь не разрешала вступать в брак более трех раз. Без церковного брака дед не мог дать свое имя четвертой жене — Ксении Романовне Мининой, так что Ксения Романовна осталась со своим девичьим именем и передала его своему сыну Павлу, восьмому ребенку моего деда. Дед очень любил его. Павел был летчиком в Первую мировую войну и умер в эмиграции в Париже.

Все дети моего деда получили университетское образование, говорили по-французски и по-немецки, путешествовали по Европе. От Софьи Кавелиной дед унаследовал имение Иваново, где многие годы все его дети проводили лето и куда сам он тоже часто приезжал.

Некоторые из картин Павла Брюллова находятся сегодня в Русском музее в Петербурге, некоторые — в Иркутском художественном музее. Несколько набросков хранятся в музее города Белева в Тульской губернии, неподалеку от которого было Иваново.

МАМА

Рано потерявшие родных и близких, росшие под присмотром гувернанток, братья и сестры Брюлловы были очень дружны между собой. Лето они проводили в Иваново, а зиму в Петербурге, в квартире, соседней с квартирой их отца. Не зная, чем еще можно занять детей, гувернантка

заставляла их летом проходить полный курс гимназии на год вперед, и мама рассказывала, что ей ничему не довелось научиться в гимназии, кроме какого-то особого способа штопки.

Свою гувернантку она любила. Отца тоже любила, но сблизилась она, только когда она выросла. В детстве ей ужасно нравилось пробираться в его комнаты, брать книги из шкафов в библиотеке и там же под столом читать их при свете свечи, спрятавшись за тяжелой зеленой скатертью, свисавшей до полу.

Ей не хватало ласки и свободного, не расписанного по часам времени, и нам она старалась дать то, чего сама была лишена в детстве. Проявить обычное теплое чувство ей было непросто, она в основном занималась нашим «воспитанием». Я помню, как я любила болеть, потому что только тогда мне доставалась вся ее забота и ласка, о которой я мечтала.

Мама окончила женскую гимназию в Петербурге в 1899 году, где выпуск происходил очень торжественно: патронессой гимназии была вдовствующая императрица, которая и вручала медали лучшим ученицам. Мамина сестра Люба окончила гимназию с высшей наградой — золотой медалью, мама получила серебряную.

После окончания гимназии она поступила на Бестужевские высшие женские курсы². Здесь господствовали революционные настроения, и мама с ее пылкой натурой, конечно, не могла оставаться в стороне от политики. Студенты читали Карла Маркса, Каутского, оппозиционные журналы. Время было бурным: Ницше, Владимир Соловьев, Бердяев, символисты, многие из которых жили прямо здесь, в Петербурге, — Мережковский, Гиппиус, Блок... Их книгами все зачитывались, о них бесконечно говорили во время долгих вечерних чаепитий. Среди студентов университета особой популярностью пользовался исторический семинар профессора И.М. Гревса, заседания которого часто затягивались гораздо дольше положенного времени.

В какой-то момент своей студенческой жизни мама вступила в социал-демократическую партию, позднее, в 1905 году, вышла из нее и вступила в партию социал-революционеров (так называемых эсеров), из которой тоже вышла в 1911 году. С тех пор она больше никогда не принадлежала ни к какой политической партии.

У мамы была любимая двоюродная сестра Наденька — та самая Надежда Владимировна Брюллова-Шаскольская, чье имя выбито на памятной плите на семейном кладбище. Блестящая женщина и убежденная эсерка, На-

денька, хоть и была моложе мамы на три года, имела большое влияние и на маму, и на ее младшую сестру и брата. Муж Наденьки Петр Шаскольский, историк, умер от эпидемии инфлюэнцы (т.е. гриппа) в 1918 году, скрываясь от ЧК. Сама Наденька была арестована, позднее освобождена, вновь арестована и в конце концов расстреляна большевиками в 1937 году. Именно ее дочь Тамара, бывшая учительница, ныне пенсионерка, ветеран Великой Отечественной войны, встречала нас в Петербурге в 1995 году.

От своих родителей мне довелось услышать только об одном интересном эпизоде из маминой студенческой жизни — как мама победила Троцкого. После Кровавого воскресенья в 1905 году полиция получила приказ расстреливать любую демонстрацию за пределами университета. Троцкий, пламенный оратор, приехал на большой студенческий митинг и убеждал студентов выйти на улицы: чем больше они пострадают, тем больше будет население сочувствовать им и их делу. Мама, видевшая своими глазами Кровавое воскресенье, была в ужасе от его рассуждений и мысли о том, сколько студентов может быть убито и ранено. Аудитория уже загорелась от речей Троцкого, и студенты начали вставать, готовясь выйти на улицу, и тогда мама почувствовала, что надо что-то сделать, чтобы их остановить. Она вскочила на кафедру и закричала: «Товарищи! Вспомните — мы обещали, что не выйдем безоружными! У нас нет оружия, нам нельзя выходить!» Студенты растерялись, заколебались, и в конце концов никто не вышел.

Мама тогда была под наблюдением полиции. Под угрозой ареста ей пришлось в конце 1905 года уехать из Петербурга и провести зиму в Иванове. В поместье стоял большой дом со множеством флигелей, к поместью примыкала деревня. Доехать туда по деревенским дорогам можно было только на лошадях — летом в экипажах, а зимой на саних. Отважившийся пуститься в путь без дороги пешком часто проваливался в снег по пояс.

В большом хозяйском доме мама жила одна, и местные крестьяне со своими бедами обращались к ней. Доктора поблизости не было, приходилось лечить возможные болезни. Часто случались обморожения — как-то раз пришел человек, отмороживший пальцы. На руке уже были видны кости, мясо висело и отпадало. От старшей сестры Любы, студентки-медички, мама слышала, что единственный способ предотвратить в таком случае гангрену — ампутация пальцев. Она, разумеется, никогда не

делала ампутаций и даже никогда не видела, как это делается. Но выхода не было, и мама сделала все как нужно и вовремя. Постепенно рука зажила, и человек остался жив.

Живя в Иванове, мама живо интересовалась местной школой и стала в ней преподавать. На следующую зиму она вернулась в Петербург. Университет стал теперь «независимым», и женщины получили право посещать лекции. Студенты часто собирались в коридорах и залах на митинги протеста или перед началом демонстраций.

Пропустив целый год, мама должна была много заниматься. Но она, конечно, не могла оставаться в стороне от окружающей интеллектуальной жизни. Отголоски этого времени я слышала в редких упоминаниях мамы о ее юности, и от этого у меня, даже когда я выросла, было чувство, что моя собственная юность лишена какой-то неотъемлемой части молодых лет — именно этой бурной интеллектуальной атмосферы.

Мама закончила университет 16 октября 1907 года. Какое-то время она еще оставалась под надзором полиции за революционную деятельность, однако теперь, по-видимому, ее больше занимали другие интересы. Уже не политические, а человеческие отношения становились главными, пришло время думать о спутнике жизни.

От мамы остался дневник с очень небольшим количеством записей с августа 1906 по декабрь 1907 года. Это время ее душевных исканий. Она пишет: «У меня голова кругом идет, и все вокруг одного рода вопросов. Не общих “проклятых”, а частных, временных, конкретных. Оттого и злят они, что сознаешь их частность, порой кажется, не начало ли это опускания, только о личных вопросах и думать. Но, с другой стороны, как не думать, раз тут люди, их счастье, их жизнь затронуты. Еще вопрос, откуда больше горя: от проклятых ли условий жизни, социального строя, или отсутствия тепла, человеческого отношения и т.п., в том числе и любви, ответа на нее.

За что меня любят? Я в себе ничего не нахожу. Мне это тяжело порой <...>: пять человек говорили мне, что я им самый дорогой человек. Трое сейчас зовут соединить жизненные пути. Мне их не надо. Я не знаю, как с ними поступать».

Следующая запись, четыре месяца спустя, звучит совсем иначе. Она пишет о предстоящем замужестве: «Я выхожу замуж. Я уже привыкла к этому. <...> Я спокойна и счастлива. Счастлива не интенсивно-напряженным счастьем. “Целый мир не расцвел предо мною”: я спокойна».

Папина пометка в мамином дневнике, сделанная 28 декабря 1928 года, через семь лет после маминей смерти: «Венчались 7 XII 1907 г., вечером. Были Катя, сестра и Пав. Алекс. Брюллов. Уехали на Иматру на 10 дней. Катались на лыжах. Играли в шахматы. Я получил 16 матов. 23 XII 28». Папа часто рассказывал о маминих способностях к шахматам, он ею очень гордился.

Последняя запись в мамином дневнике сделана уже после замужества, в ней слышна некая покорность. Она сидит дома, ожидая своего первого ребенка. Никакого внешнего дела у нее нет.

«Как иногда жаль, что так мало красоты и поэзии в нашей жизни. Работа' — служба, утомление, отдых вдвоем и все. Если бы теперь была весна! А когда она настанет или когда просто можно будет отдохнуть (ему), пропадет уже первый период: настанет "нормальное время".

“Только утро любви хорошо!”

У меня не было этого утра! Я начала сразу с полдня. Или я “скрыто-чувственная натура”?

Я безумно боюсь пошлости, опускания. Боюсь того, чего боялась еще в детстве, в юности, о чем всюду читала и читаю, да еще в жизни встречаю.

Только иногда мысль блеснет: Разве уж *объективно* мы совсем обыкновенные люди... Ведь Зарудные и Брюлловы не дюжинами рождаются. А все-таки в нас их дух попал. Эта мысль для меня соломинка. Только ведь работать надо, я ничего не делаю — вот в чем опускание».

Я родилась меньше чем через год после свадьбы, и все ее внимание было полностью поглощено ребенком.

Столица России все еще жила бурной предвоенной жизнью. Первая Государственная дума была избрана и затем распущена царем, выборы Второй думы прошли в настроении горького разочарования для тех людей, что возлагали столь большие надежды на демократию.

В 1910 году умер Лев Толстой. В день гражданской панихиды аудитории университета опустели — студенты вышли на заполненные народом улицы Петербурга. Те, кому довелось слышать речь Мережковского в Религиозно-философском обществе³, пересказывали ее вновь и вновь, бесконечно обсуждая. Но мои родители жили в то время далеко от Петербурга, в Либаве, и мама только что родила второго ребенка, моего брата Сергея.

Папе приходилось до некоторой степени сдерживать мамин революционный пыл. Он настаивал на том, что следует купить дом в деревне, «по

крайней мере, чтобы было где хранить на чердаке старые стулья», а она сопротивлялась этому, потому что, исповедуя социализм, не одобряла частной собственности.

Настоящим их домом оставался Санкт-Петербург. Все другие дома были лишь временным жильем, куда они переезжали из-за папиной работы или исторических событий.

ПАПИН ОТЕЦ — СЕРГЕЙ ЗАРУДНЫЙ

Мой дед Сергей Зарудный был родом из запорожских казаков — вольнолюбивого воинства, селившегося в тех краях, что потом стали Украиной. В XVII веке запорожские казаки присягнули на верность России. Одному из предков моего деда было пожаловано дворянство.

Дед родился в родовом поместье на Украине, в семье обедневшего харьковского помещика, имевшего девять детей. С четырнадцати лет он жил самостоятельно в Харькове, сильно нуждаясь и готовясь к поступлению в университет без всяких учителей. В Харьковском университете он не довольствовался изучением одной математики, которую выбрал как свою основную специальность. Он читал запоем не только русские книги, но и литературу на французском, немецком, английском и итальянском языках.

Окончив Харьковский университет в 1842 году, он приехал в Петербург, намереваясь поступить на штатную должность астронома в Пулковскую обсерваторию, но судьба распорядилась иначе, и он оказался на службе в Министерстве юстиции.

Это было время царствования Николая I, самого реакционного правителя в России в XIX веке. Но все же общественное сознание начинало пробуждаться. Среди просвещенного чиновничества распространялись прогрессивные идеи, восходящие к европейской либеральной философии. Раздавались призывы к отмене крепостничества.

Было очевидно, что для улучшения юридической системы необходимо отменить крепостное право, но в те времена об этом можно было лишь мечтать.

Первый документ, в подготовке которого участвовал Сергей Зарудный, — циркуляр Министерства юстиции к судьям и прокурорам с требованием прислать отзывы о недостатках гражданских процессуальных законов. Ответы на этот циркуляр мой дед должен был представить министру.

С этих ответов и началось его юридическое образование. Другие чиновники мало интересовались полученными сведениями, а дед углублялся в эти отчеты все больше и больше и в конце концов страстно увлекся вопросами права.

Позднее, находясь в Европе на лечении из-за болезни глаз, дед изучил правовую систему многих западных стран, а потом написал несколько теоретических работ на эту тему. Он даже организовал семинары для выпускников юридического факультета, служивших в министерстве, заложив тем самым основу школы практической юриспруденции. Возрастающий авторитет деда в вопросах законодательства и его исключительная способность к четкой организации и ясному письменному выражению своей мысли были признаны и способствовали его служебному росту. Доклады его были столь образцовыми, что по поводу одного из них у министра юстиции графа Панина, «человека крайне жесткого и несловохотливого, невольно вырвалось такое трогательное замечание: “...если бы я раз в жизни написал такой доклад, то я считал бы, что жизнь моя прожита не напрасно”» *.

После смерти Николая I на трон взошел его сын Александр II, и мечты об отмене крепостного права стали обретать реальность.

Одним из первых назначений, полученных дедом при новом царствовании, было место делопроизводителя в комиссии по расследованию хищений и взяточничества во время Крымской войны. Расследование проводилось в нескольких южных городах и в Москве. Оно выявило ужасающее состояние русской администрации, склонной к взяточничеству и казнокрадству. Все это еще больше усилило убеждение Сергея Зарудного, что Россия нуждается в судебной реформе и в независимости судебной ветви власти от государства.

Деда назначили членом комиссии по подготовке реформы 1861 года, освобождавшей крестьян от крепостной зависимости. За эту деятельность он получил золотую медаль; я помню висевшую в рамке на стене в кабинете отца литографию: Александр II в окружении портретов его единомышленников и сотрудников — внизу, немножко крупнее, чем все остальные, находился портрет деда.

С 1852 года он был делопроизводителем Комитета о пересмотре гражданского законодательства. Дед работал день и ночь, не щадя сил. Ис-

* Джаншиев Г. Эпоха великих реформ. М., 1898. С. 645.

правление российских законов было его заветной мечтой, энтузиазм его не знал предела.

В 1864 году царь начал судебную реформу. Среди многих других нововведений, не слыханных в России до тех пор, были суд присяжных, разделение судебной и административной ветвей власти и создание независимой адвокатуры. В 1866 году дед опубликовал монографию «Судебные уставы с рассуждениями, на коих они основаны», которую считал одним из самых важных своих трудов.

Реформа 1864 года оказалась более радикальной, чем ожидало правительство. Отход от реформы наметился еще до того, как Александр II был убит и начал царствовать его сын Александр III. В нескольких политических процессах прокурорам не удалось добиться обвинительных приговоров, и правительство решило изменить некоторые статьи нового свода законов. Дед делал все, что мог, стараясь противостоять этим изменениям. В 1869 году он был сделан сенатором, но не в кассационном департаменте, который имел отношение к законодательству, а в каком-то совершенно другом. Для него это было горькой пилюлей.

Он все равно продолжал работать над проблемами права, перевел с итальянского на русский книгу Беккариа «О преступлениях и наказаниях» и выпустил ее со своими примечаниями. Кроме того, за несколько лет до смерти опубликовал свой перевод «Ада» Данте с обширными комментариями⁴.

Дед женился на Зое Александровне Мясновó в 1859 году, и у них было восемь детей: Мария, Екатерина, Александр, Анастасия, Сергей, Зоя, Варвара и последний Иван — мой отец, родившийся в 1875 году.

Зоя Александровна, добрая женщина, была гораздо больше своего мужа-сенатора склонна писать прошения и использовать свое положение для обращений к властям. Дед часто отправлял к ней людей, нуждавшихся в помощи. Она, впрочем, была и более консервативна — некоторые идеи мужа или радикальные поступки детей отнюдь не встречали ее одобрения. Но она была любящей женой и преданной матерью и прожила достойную жизнь.

Дети восхищались отцом, и позднее все они называли своих первых сыновей Сергеем в честь деда.

При всей своей занятости в министерстве дед принимал активное участие в воспитании детей. Он сам учил их читать и писать, выбирал им учителей и следил за программой их обучения. У детей в разное время были

английские, французские и немецкие гувернантки: мой отец, так же как и все его братья и сестры, свободно говорил на всех трех языках. Дед знал в совершенстве еще и итальянский и пытался сам преподавать его детям. Девочек учили игре на фортепиано и рисованию; у моего отца был учитель игры на скрипке. Все они, в том числе и девочки, получили высшее образование, только один из них, Сергей, закончил лишь два курса Петровской земледельческой академии, так как был арестован за политическую деятельность.

Зиму семья проводила в Петербурге, а лето в семейном поместье Колодяжное под Харьковом. Дед сам следил, чтобы каждый из детей имел свою клумбу с цветами и свою грядку с овощами, чтобы они изучали жизнь растений и обретали уважение к сельскому труду. Дети участвовали в некоторых деревенских событиях, хотя пропасть между классами была в то время очень большой.

После того как его отстранили от законотворческой работы, дед проводил много времени в поместье, часто оставаясь там осенью на долгий срок, проводя спокойные вечера за чтением и своими переводами, когда вся семья уже переезжала в Петербург. В поместье же он работал в теплицах, а для этого выписывал из-за границы семена и разводил совершенно необычные для этих мест цветы, кустарники и деревья. Его жена не слишком одобряла, что ее муж «сменил перо на лопату». На собственные деньги он собрал большую аптеку и лечил крестьян, поскольку доктор жил далеко и обратиться к нему можно было только в крайнем случае.

Дед был уже серьезно болен, по-видимому, у него был рак желудка, когда жил в Колодяжном вдвоем со своим вторым сыном Сергеем, который в то время находился под домашним арестом в отцовском поместье, ожидая рассмотрения своего дела о причастности к покушению на Александра II. Болезнь вынудила деда оставить Сергея одного и отправиться в город, где врачи рекомендовали ему обратиться за помощью к европейским светилам. Старший сын Александр и дочь Анастасия повезли деда в Ниццу, а бабушка осталась в Петербурге хлопотать о смягчении грозившего Сергею наказания⁵.

Дед умер по дороге в Ниццу и похоронен в этом городе. Это случилось в декабре 1887 года. Александру было в то время 24 года, а моему отцу — самому младшему — только 12 лет.

МОЙ ОТЕЦ

В тринадцать лет мой отец поступил «на службу отечеству» — был зачислен в Морской кадетский корпус.

Я помню по рассказам только несколько эпизодов из его учебы. Одним из его однокашников был Александр Колчак, тот самый, который позднее стал адмиралом, известным исследователем Арктики, а в 1918 году возглавил белое правительство в Омске. Папа соревновался с Колчаком в звании самого быстрого в лазанье на мачту. Он взобрался первым, но остановился перевести дух, и Колчак спустился на палубу раньше него.

Другой эпизод из тех времен — в Морском корпусе приближался день выпуска, и стало известно, что десять лучших выпускников в награду будут отправлены в кругосветное плавание. Отец имел прекрасные отметки по всем предметам, кроме поведения, которое у него оценивалось не выше четырех по двенадцатибалльной системе. Но это было поправимо, если бы на школьных состязаниях по гребле шестивесельная шлюпка, на которой он был рулевым, пришла в числе первых.

Перед самым началом состязаний стало известно, что в них примет участие один из великих князей, и кадетам было велено дать ему выиграть. Сочтя это несправедливым, кадеты договорились грести изо всех сил, а перед финишем, если великий князь не выйдет вперед, остановиться, подняв весла, как бы салютуя, и пропустить княжескую лодку. Так и произошло, тем самым было нанесено оскорбление царскому дому. В наказание начальство корпуса занизило выпускные оценки по поведению всем рулевым. Папе было выставлено три, и в кругосветное плавание он не попал.

30 сентября 1893 года он был выпущен из корпуса и зачислен в гардемарины. Тогда же он начал плавать на одном из военных судов. Мне так жаль, что я ничего не помню из папиных рассказов о море, о штормах, о морских путешествиях, — осталось только общее ощущение опасностей, мужества, становления характера, решительных действий и ответственности за других. Для моего брата Сергея эти рассказы сыграли важную роль, определили его представления о жизни. Мне кажется, что для формирования характера самого папы и учеба, и годы морской службы тоже сыграли решающую роль.

Он плавал на разных кораблях и во внутренних водах России, и в дальних походах до 1899 года, когда, проведя всю ночь на вахте под пролив-

ным дождем, заболел ревматизмом с осложнением на сердце. В возрасте 24 лет ему пришлось оставить флот и уйти в запас.

До тех пор вся его жизнь была посвящена воинскому служению родине. Теперь от него потребовался собственный поиск и понадобились советы друзей и родственников. В конце концов папа остановил свой выбор на изучении инженерного дела. Россия особенно нуждалась в специалистах по металлургии и горному делу, поэтому папа выбрал для поступления *Ecole Provinciale d'Industrie et des Mines* в Монсе в Бельгии, где он мог за короткий срок получить диплом инженера. Денег у него не было, и он обратился к своей старшей сестре Екатерине и ее мужу Евгению Цезаревичу Кавосу с просьбой одолжить ему нужную сумму. Папа всегда с благодарностью вспоминал слова, с которыми ему были вручены эти деньги: «Прыгай! Если сломаешь ногу, мы ее починим!»

В Бельгии он жил как обычный бельгийский студент. Его сосед по комнате любил распевать арии из французских опер, работая над скучными чертежами. До конца своих дней папа помнил некоторые из этих арий — из «Фауста» Гуно, «Кармен» Бизе и другие.

Незадолго до окончания института у отца началась болезнь глаз, от которой он на время ослеп. Пришлось переменить основную специальность на электротехнику, которую было легче воспринимать на слух, — чтобы готовиться к экзаменам, приходилось просить других читать ему вслух. Он сдал все экзамены с отличием и получил диплом инженера-электротехника в 1901 году.

После возвращения в Россию отец работал над постройкой первой электрической трамвайной линии и электростанции в Санкт-Петербурге. До того трамваи двигались по рельсам, но тащили их лошади, назывались они «конки». Я помню такие конки, некоторые из них еще ходили в Петербурге, когда мы приехали туда в 1914 году.

Когда сооружение электростанции и трамвая было закончено, отцу не захотелось заниматься рутинным надзором, и он нашел место на строительстве электростанции в Керчи, на Азовском море. В Керчи его встретил инженер, место которого он должен был занять. Человек этот только что отбыл церковное покаяние, наложенное на него в седьмой раз, — оно накладывалось после того, как один из его подчиненных погибал от несчастного случая. Отец немедленно созвал всех служащих, дал им инструкции, как соблюдать правила безопасности при работе с электропроводами, и обучил делать искусственное дыхание в случае удара током.

Первый, кого спасли эти инструкции, был он сам. Показывая каким-то гостям панель управления всей системой, он держал левую руку за спиной, как полагалось по правилам, но, повернувшись, коснулся панели локтем, замкнув тем самым цепь. Точно следуя его предыдущим инструкциям, сотрудники немедленно отключили ток и спасли ему жизнь. За время его работы там не было ни одного случая гибели от удара электрическим током.

В 1904 году отец вернулся во флот. Он был зачислен штурманом 2-го ранга на императорскую яхту «Царевна» — одну из шести императорских яхт для плавания во внутренних водах. Отец любил рассказывать нам о своих встречах с членами царской семьи в годы его службы на «Царевне».

Царь Николай II как-то обедал в кают-компании. Только что произведенный в офицеры, отец должен был сидеть рядом с царем. Он заметил, что, когда всем наливали вино, перед Николаем поставили особую бутылку. Отец стал рассматривать этикетку, пытаясь узнать, что это за вино. Царь заметил. «Хотите отведать?» — спросил он сконфуженного офицера. Отцу пришлось извиниться.

Служил он также и на большой императорской яхте «Штандарт», предназначенной для заграничных плаваний. Члены семей монархов из других стран посещали эту яхту, и папа рассказывал нам, как он однажды подхватил королеву Дании, когда она оступилась и чуть не упала на корабельной лестнице, как кайзер Вильгельм, с его знаменитыми усами, здоровался за руку с офицерами яхты, выстроенными на палубе для приветствия, и другие истории.

Летом 1904 года «Царевна» стояла в доке в Петербурге. Отец, как самый быстрый, должен был взобраться на мачту и ожидать там сигнала из дворца о том, кого родила императрица — сына или дочь. Предполагалось, что он, увидев сигнал, должен скомандовать начинать салют: сто залпов, если девочка, и сто один, если мальчик. После четырех дочерей царь и вся страна с надеждой ожидали появления наследника трона. Папа рассказывал, как страшно боялся сбиться в счете, — выстрелить надо было сто один раз. Родившийся мальчик был царевич Алексей, младший ребенок и единственный сын Николая II — мальчик, чья гемофилия сыграла такую значительную роль в позднейших событиях в России, включая явление Распутина.

Незадолго до того, в январе 1904 года, японский флот атаковал российские военные суда в Порт-Артуре. Это вызвало огромный патриотический всплеск в России. К концу года уже вовсю полыхала война. Корабли Балтийского флота готовились к отправке к берегам Японии. Отец хотел идти добровольцем, но адмирал, к которому он обратился с просьбой о переводе, отказал ему, поскольку он был офицер императорской яхты, «что есть великая честь».

То, что в глазах адмирала служба на личной императорской яхте была большей честью, чем защита своей страны, чрезвычайно задело отца. 3 января 1905 года он ушел в отставку. Русский флот позднее был разбит при Цусиме, и там погибли многие из товарищей отца по Морскому корпусу.

Оставив флот, отец вернулся к профессии инженера. Ему предложили место на Урале, в Надеждинском Заводе, небольшом городе, соединенном узкоколейкой с основной железной дорогой. Отец должен был отвечать за строительство электростанции. Зная, что большая часть населения неграмотна, отец решил, что ему нужен хороший плакат, который в наглядной форме предупреждал бы об опасности электрического тока. Имевшиеся тогда плакаты обычно были малохудожественны и отцу казались недостаточно устрашающими. Он, естественно, подумал о своей сестре Екатерине Кавос — та сама была художница, в ее мастерской каждую неделю собирались хорошо известные живописцы и вместе работали над каким-нибудь сюжетом. Отец отправился к сестре на Каменноостровский проспект в день такого собрания и предложил присутствующим попробовать свои силы в создании плаката.

Каждый из художников сделал свой эскиз. Отец взял от всех понемногу; в результате на плакате были изображены череп и молния, пронзающая его через левую глазницу. Под черепом две кости — не очень оригинально, но хорошо исполнено. Отец велел выправить рисунок, и к отъезду у него было несколько плакатов. Гравировальную доску он оставил у гравировщика для сохранности, а через несколько месяцев, вернувшись в Петербург, обнаружил свой плакат развешанным по всему городу, — гравировщик отпечатал и продал множество копий. Этот знак «Не влезай — убьет» стал повсеместно известным в России, вошел в учебники по электротехнике, но никто и не подозревает, что создателями его были довольно

известные живописцы. Отец очень гордился своим вкладом в художественное исполнение широко используемого знака.

Прибыв в Надеждинский Завод, отец снял комнату и сразу же приступил к работе. Поначалу все шло гладко: общительный и дружелюбный, он хорошо ладил с другими инженерами и с рабочими.

Это было время больших волнений. Шел 1905 год, стачки и массовые выступления происходили по всей России. В Петербурге во время Кровавого воскресенья моя мать стала свидетельницей массового расстрела, ее сестра была ранена. В результате волнений царь пошел на определенные уступки и согласился на создание Государственной думы.

Активные рабочие организации действовали тогда в промышленных городах. В Надеждинском Заводе они добились некоторых улучшений в условиях труда и жизни рабочих. Рабочий день сократился с двенадцати до одиннадцати с половиной часов, была организована чайная, куда выписывались газеты, и семьи рабочих стали получать медицинскую помощь. Отец сочувствовал этим нововведениям и не скрывал своих дружеских отношений с их инициаторами. Администрация завода всячески сопротивлялась изменениям, но вынуждена была уступить, чтобы не раздражать рабочих. Полиция не вмешивалась, когда демонстранты несли плакаты «Долой монархию! Да здравствует конституция!» Часто раздавались требования о введении восьмичасового рабочего дня.

Безусловно, часть рабочих была консервативна и с подозрением смотрела на все достижения рабочих организаций. Когда до Надеждинского Завода дошли первые слухи о царском манифесте, им не поверили и даже отправились к священникам спрашивать, верно ли это. Те ответили, что не поверят, пока не увидят манифеста своими глазами. Прежде чем приняли официальные документы, прошло несколько дней, и за это время напряжение между двумя группами дошло до предела. Начались жестокие стычки, вслед за этим последовали бунты и еврейские погромы. Несколько рабочих активистов были убиты, многие избиты, чайная и библиотека разгромлены.

Чтобы спасти людей от погромов, был выделен специальный поезд. Но беснующаяся толпа ворвалась на станцию прежде, чем поезд тронулся. Отец был там, он провожал семью своего сотрудника-еврея. Погромщики начали стаскивать людей с поезда. Вспыльчивый по характеру, отец резко вмешался и попытался защитить несчастных, тогда толпа напала и

на него. Он стал гнать погромщиков своей тростью, без которой никогда не выходил из дому. От этого толпа пришла в ярость.

Папины галоши принесли хозяйке дома, где он жил, со словами: «Вот все, что осталось от Зарудного!» Но немного погодя друзья принесли и его самого, избитого, залитого кровью, без сознания, но живого. Толпа продолжала бушевать снаружи, требуя назад свою жертву.

Только тогда вмешалась полиция. Под предлогом обеспечения его безопасности они явились и арестовали отца «за нарушение общественного спокойствия». Он едва мог стоять, но его отвезли в ближайший город и посадили в одиночную камеру.

Отец попросил друзей передать ему в тюрьму блокнот, карандаши и удобное кресло, потому что он все еще страдал от жестоких побоев. Все это ему было разрешено — в то время отношение тюремщиков к «благородным» заключенным было особым. Сидя в тюрьме, он изрисовал весь блокнот видами своей камеры. Прошло некоторое время, пока его просьбы о помощи дошли до столицы, откуда пришел приказ освободить его немедленно, что и было сделано без всякого суда.

За время заключения его болезнь глаз и артрит усилились, спина болела так, что он не мог сидеть. Он жил в гостинице и посылал телеграмму за телеграммой сестре Кате в Петербург, умоляя ее приехать за ним. Наконец после нескольких дней пути она добралась до него вместе с врачом, забрала его в Петербург и выхаживала, пока он не поправился.

В Петербурге его встретили друзья и родные, горячо приветствуя как защитника невинных жертв, пострадавшего от жестокого и несправедливого произвола. Его блокнот передавали из рук в руки.

Отец моей матери Павел Брюллов был одним из художников, регулярно встречавшихся в мастерской моей тети Кати, поэтому мама знала Ивана Зарудного как брата Екатерины Кавос. Она видела его тюремный блокнот и почти завидовала, что ему довелось пострадать, выступив против несправедливости. Именно тогда она и полюбила моего отца.

Я думаю, этот эпизод оказал существенное влияние не только на здоровье отца, но и на его нравственные принципы. Ощувив на себе бессмысленную жестокость распаленной подстрекателями толпы, он не перестал сочувствовать народу, но перестал его идеализировать. Я думаю, этот случай повлиял и на мою мать, умерив ее идеализм.

Они чудесно подходили друг другу, но у нее был более аналитичный склад ума, ей всегда хотелось достичь общего решения проблемы, тогда

как он обычно обращался к конкретным предметам. Он хотел защитить одну семью от толпы, только и всего. Она тоже вступилась бы за обиженных, но при этом ей хотелось изменить всю систему. Когда мы с ней читали рассказы о бедах пьющих крестьян, она учила меня видеть за этим не только их трагическую жизнь, но и ее причины — беспомощное отчаяние человека, борющегося против несправедливого общества. Мама почти всегда сражалась с ветряными мельницами. Отец был склонен считать такую борьбу безнадёжной и искал конкретного случая, где он мог чем-то реально помочь, даже рискуя собственной безопасностью. Как истинный сын своего отца, он верил, что могут существовать справедливые законы и что их могут применять на практике. Своей семьёй он никогда не рисковал.



ГЛАВА 2

СТАРШИЕ ДЕТИ

МАРГАРИТА (Муля)

Я родилась в Петербурге 11 ноября 1908 года по старому стилю.

Меня называли Маргаритой в честь бабушки — маминой мамы.

Как-то раз мама убаюкивала меня, и папа услышал, как она напевает: «Миля, маля, муля...» С тех пор папа звал меня Муля.

Родители поселились в квартире на Васильевском острове в Петербурге. Меня пеленали на том же высоком пеленальном столике, обитом толстым слоем ткани и покрытом сверху белой клеенкой, на котором пеленали когда-то папу и всех его братьев и сестер. Всех их в младенчестве туго пеленали, как и меня. Я хорошо помню этот столик, на котором пеленали потом моего брата и всех моих сестер, кроме самой младшей.

Няню мою звали Анастасия Павловна Павлова. Она знала мою маму с самого раннего детства. Маргарита Лихонина, моя бабушка, была больна туберкулезом, и для мамы требовалась кормилица — здоровая и сильная женщина из деревни, родившая недавно ребенка и имевшая много молока.

Няня рассказывала нам о своем крепостном детстве, о том, как она ходила по полю с другими детьми и выбирала камни из только что вспаханной земли. Она была умной девочкой, но ее никогда не учили читать и писать. После освобождения крестьян она оставила семью и приехала в город, где работала в прачечной и родила незаконную дочь. Девочку отдали в другую семью, а Анастасия оказалась идеальной находкой для моей бабушки.

После того как мама подросла, няня так и осталась в дедушкином доме и нянчила его дочерей от третьей жены, Лидию и Маргариту. Со временем она стала помогать на кухне и через какое-то время стала превосходной кухаркой.

Когда мои родители поженились, они пригласили Анастасию к себе кухаркой, а когда я родилась, она стала моей няней. Она жила в нашей семье и смотрела за каждым младшим ребенком до тех пор, пока не появлялся следующий. Няня прожила вместе с нами до 1935 года. Дочь иногда посылала ей письма, но мы ее никогда не видели. Мы все с раннего детства, как только выучивались грамоте, обязательно писали под нянину диктовку письма ее дочери, которые всегда начинались одинаково: «Здравствуй, дорогая доченька. Как ты поживаешь? Я живу хорошо и тебе того же желаю...»

СЕРЕЖА

По кратким заметкам в папином дневнике я могу догадаться, что у мамы опять возникли проблемы с полицией — ей на три года запретили проживание в Петербурге, и родители были вынуждены уехать: сперва на дачу, а затем в Павловск, на виллу Брюлловых, выстроенную моим прадедом. Там 28 июня (10 июля) 1910 года мама родила второго ребенка, сына, которого назвали Сергеем в честь папиного отца. Думаю, мама была счастлива, что родился сын. Она всегда ощущала неполноправность женщин, и ей была тягостна мысль о том, сколько разочарований придется вынести ее дочерям.

Папа вскоре получил должность в Туле на оружейном заводе. Эта работа позволила ему вернуться к металлургии.

Мне было года три, а Сергею год, когда отцу пришлось уйти оттуда из-за какой-то ссоры с управляющими. Это мое самое первое воспоминание — я помню, очень смутно, какой-то шум и крик. Мама еще не имела права вернуться в Петербург, поэтому вся семья переехала в Иваново, поместье дедушки, и работы у папы не было.

Наверное, папа уехал в Петербург искать работу, потому что я его в то лето совершенно не помню. Помню большой дом с кухней внизу и широкой лестницей, помню просторную комнату наверху, где в углу стояла большая круглая печь, а особенно помню маленький домик по соседству, где жила на покое старая дедушкина кухарка.

Это была беспомощная старушка, за ней ухаживала молодая девушка. Я любила ходить к старушке в гости и хорошо помню комнату, в которой она жила и никуда из нее не выходила: высокую узкую кровать с пуховой периной, в углу икону с лампадкой, стул и маленький стол, за которым

она ела. Она была очень тучной и почти не могла двигаться. Меня к ней почему-то очень тянуло. Я любила убегать к ней из дому потихоньку. Меня начинали искать, и иногда из-за этого поднимался переполох.

Мама стала понимать, что няне уже не справиться со всеми делами и что нужны еще одни руки ей в помощь. Она помнила, что среди ее школьниц была когда-то одна умная девочка, сильно заикавшаяся, — девочке из-за этого было трудно учиться в школе, поскольку устные экзамены считались самыми главными. Родители ее были из местных крестьян, владели большим фруктовым садом и торговали яблоками. Они послали дочку в школу, что делали тогда лишь очень немногие.

Теперь это была уже красивая пятнадцатилетняя девушка, которая помогала неграмотному деду вести торговлю яблоками и матери в домашней работе. В семье было еще несколько детей, и родители охотно согласились на мамино предложение отпустить ее поработать у нас помощницей и горничной. Имя ее было Мария Кузьминична Юркина, или Маня, как мы ее всегда называли. Она вошла в наш дом и осталась с нами навсегда.

Итак, теперь наша семья состояла из папы, мамы, меня, моего брата Сергея, няни, которая ухаживала за малышом и готовила, и Мани. Маня очень любила детей, и я привязалась к ней сразу же.

Думаю, что я очень ревновала к Сергею, потому что он был мальчик. Я знала, что мама очень радовалась сыну. Ему уделяли столько внимания! Я помню, как он однажды подполз к большой черной печке на верхнем этаже и достал из нее золу. Он сидел и ел золу, и рот у него был весь черный от угля. Наверное, я кого-то позвала, чтобы его привели в порядок, потому что мне говорили, что я должна за ним следить, но совершенно не помню никакого беспокойства и тем более жалости — скорее, отвращение и презрение: «Что за глупый мальчишка!» Сейчас я подозреваю, что убегала к старой кухарке, просто желая, чтобы мама обо мне побеспокоилась.

ЛИБАВА

Не помню, когда мы переехали из Иванова в Либаву (теперь Лиеная) в Латвии, которая тогда входила в состав Российской империи. Отца назначили управляющим металлообрабатывающего цеха фабрики, изготовлявшей струны для знаменитых роялей Беккера.

Либава была маленьким городком на берегу Балтийского моря с чистыми, аккуратными мостовыми и тротуарами. По улицам ходили трамваи, вдоль центральных улиц с современными кирпичными домами тянулись элегантные магазины. Еще там были старинные готические церкви, синагоги и узкие улочки. По соседству с городом располагался военноморской форт. Город был вполне европейский со смешанным населением — русские, немцы и латыши. Мне запомнились прекрасный песчаный пляж с маленькими плетеными или парусиновыми кабинками для переодевания и маленькое кафе, где продавался лимонад. Запомнилась еще длинная полоса водорослей, тянувшаяся вдоль воды. Среди водорослей мы искали и часто находили кусочки янтаря. Порой какое-нибудь рыбацье судно подходило близко к берегу и вытягивало сети, полные серебряистой трепещущей сельди.

Купались мы на мелководье у берега. У меня был костюм для купания — цельный, белый в синюю полоску, с короткими штанишками и короткими рукавами, закрытый по самую шею.

Вначале мы жили недалеко от центра, но потом переехали ближе к папиной фабрике. Новая квартира была побольше, с широким застекленным балконом, где часто накрывали на стол. Кое-какую мебель привезли нам из Петербурга. На стенах висело несколько картин, в основном написанных моим дедушкой. Помню лакированные столы красного дерева в гостиной и кресла с зеленым плюшем и резными лакированными подлокотниками, маленький столик, за которым мама обыкновенно читала. Особенно помню огромную турецкую тахту с подушками и длинными валиками у мамы в кабинете. К радости детей и гордости родителей, тахта была покрыта чем-то вроде толстого жесткого ковра ручной работы. На ней могли улечься двое взрослых, головами в разные стороны, так что их пятки только-только касались в середине. Мы на ней строили домики из стульев и подушек, прыгали, играли там с нашей таксой. Такса любила лежать на диване, свернувшись калачиком. Короче говоря, это было самое лучшее место для игры.

С одной стороны дома было поле, а перед домом шоссе-ная дорога, которая вела в гавань. До фабрики, где папа работал, можно было пойти пешком.

Теперь жизнь семьи переменилась, стала городской. Появилась кухарка — латышка Зузанна, или Зуза, она не только готовила, но и ходила на рынок, так что мама вообще никогда не заходила в кухню. Зуза и Маня

очень подружились. Маня всегда потом вспоминала невероятную Зузину опрятность — например, она никогда не уходила вечером с кухни, не отчистив до блеска все медные кастрюли. Маня и Зуза жили вместе в комнатах для прислуги, и Маня вскоре научилась говорить по-латышски. Так появился еще один язык, на котором взрослые могли говорить так, чтобы дети не понимали. Мама и папа для этой цели всегда использовали французский.

Время от времени папа и мама уходили куда-нибудь по вечерам, и мне так нравилось смотреть на маму в черном бархатном платье, с высокой прической и чувствовать тонкий аромат ее духов, когда она наклонялась, чтобы поцеловать меня на ночь перед уходом. Еще мне очень нравилось смотреть на Маню, когда она тоже наряжалась, куда-нибудь собираясь: у нее было темно-красное платье с высоким воротником, она его носила с янтарными бусами. Мне она казалась очень хорошенькой.

В то время меня обычно звали Рита. Когда Маня и Зуза разговаривали по-латышски, я все время слышала это слово и недоумевала и сердилась — почему они все время говорят обо мне? Наконец я спросила, и мне ответили, что по-латышски «рита» означает «завтра». Тогда я объявила, что меня зовут Муля, и напрочь перестала откликаться на имя Рита. С тех самых пор меня больше никто не звал Ритой.

Как-то раз я шла по улице с няней, которая катила по тротуару колясочку с Сережей. Таких колясочек я нигде больше никогда не видела — маленькое деревянное сиденье на двух высоких колесах с двумя длинными ручками, то есть ее везли как тачку, а ребенок сидел лицом ко взрослому, толкавшему коляску, и отпускать ручки было нельзя, а то ребенок упал бы.

Как хорошая девочка, я шла рядом с няней, держась за ручку коляски, и вдруг на противоположной стороне улицы увидела знакомую девочку, которая гуляла там с мамой. Я выпустила ручку и побежала через улицу, полную лошадей, экипажей и трамваев. Няня не могла отпустить коляску и только беспомощно кричала мне вслед. Я подбежала к девочке и попыталась с ней заговорить, но она почему-то не захотела со мной ни здороваться, ни разговаривать. И, прежде чем ее мама успела схватить меня, я рванулась обратно через дорогу. На этот раз там шел трамвай, и я оказалась прямо перед ним. Раздался скрежет колес, крики окружающих... Трамвай остановился, едва не наехав на меня. Пассажиры высыпали наружу. Я себя чувствовала героем и не помню, чтобы у меня появилось какое-то чувство вины, разве что совсем чуть-чуть.

Иногда по вечерам приезжали гости, обычно вечером, когда мы уже должны были быть в кровати. Случалось, что нам разрешали зайти перед сном в гостиную поздороваться с гостями — мне полагалось сделать книксен, а Сереже щелкнуть каблуками. Помню, как-то раз я сконфузила маму перед гостями, зашедшими днем. Мне нравилось раздевать брата, когда мы играли одни, и я привела его в гостиную совершенно голенького. В другой раз мой проступок был гораздо серьезнее. Я решила играть в доктора, раздела Сергея, положила его на тахту и стала «лечить», поливая рыбьим жиром. Я была уверена, что мое лечение никакого вреда не причинит, но взрослые думали иначе — тахта пострадала. Запах рыбьего жира нельзя было вывести никакими усилиями, и в конце концов ее пришлось переобивать, а новая ткань была совсем не такой хорошей, как раньше.

Однажды мы отправились в гости в имение барона (не помню, как его звали), неподалеку от Либавы. На мне было белое кружевное платье поверх розовой шелковой комбинации, с широким шелковым поясом, завязанным сзади большим бантом (кажется, этот пояс хранится у меня до сих пор). Мне много раз объясняли, как надо себя вести, и чувствовала я себя вполне уверенно. Пока взрослые сидели за столом, меня повели посмотреть на новорожденных поросят. В свинарнике была образцовая чистота, чем владелец очень гордился. Большая свинья-мама лежала на боку и кормила своих многочисленных поросят. Они выглядели такими чистенькими и привлекательными, что я не удержалась и одного из них взяла на руки. Оказалось, что он вовсе не такой уж чистенький, и мое хорошенькое выходное платье было совершенно перепачкано. Я помню ужасное чувство неловкости, когда мне пришлось вернуться к гостям в одной розовой комбинации, пока горничная отстирывала и гладила мое платье.

Окна нашей квартиры выходили во двор, туда же выходили окна других домов. В одном из них жила девочка, с которой я дружила. Как-то раз в дождливый день я хотела позвать ее к нам, но из-за дождя не знала, как это сделать. Папа предложил мне написать ей послание из окна. Он взял бумагу и аккуратно выписал по одной букве на каждом листе. Я восхищенно смотрела, как он выставил все буквы на окнах, по одной на каждом окне, чтобы получилось приглашение. Не помню, пришла ли девочка в гости, но помню, что ее мама, так же как и я, восхищалась его выдумкой.

Помнится мне еще одно событие, связанное с обидой, которую я не могла простить папе много лет. Нас в семье никогда не били, родители

были принципиально против этого. Как-то раз папа вернулся с работы усталый и явно чем-то расстроенный. Он хотел, чтобы маленькая дочка к нему приласкалась, поднял меня, посадил на подоконник и попросил, чтобы я его поцеловала. У папы в то время была жесткая борода. Я была не в настроении, не захотела целовать колючую щеку и отвернулась. Он попросил еще раз. Я заупрямилась. Рассердившись, папа дал мне пощечину и снял с подоконника на пол. Жестоко оскорбленная, я убежала прочь.

На каникулы приезжали наши двоюродные братья и сестры. Они были старше меня, и играть с ними было гораздо интереснее, чем с Сережей, хотя и он тоже участвовал в наших играх, когда мог. С замиранием сердца смотрела я на свою девятилетнюю кузину, которая даже на каникулах каждое утро занималась упражнениями, — она училась в Петербурге в балетной школе. Дедушка Павел Брюллов тоже приезжал к нам летом со своими красками, кистями и палитрами, и мы наблюдали, как он раскладывал свой мольберт и почти весь день писал картины на открытом воздухе. Дядя Саша приезжал погостить между судебными сессиями в Киеве, где он в то время выступал защитником на процессе Бейлиса.

Дядя Саша, папин старший брат, был адвокатом. Он жил в Петербурге, но большую часть времени ездил по разным городам России, защищая в суде обвиняемых по политическим делам. Дело Бейлиса стало знаменитым. Бейлис был еврей, работал сторожем на кирпичной фабрике, и в его обязанности входило гонять мальчишек, которые забирались на фабричный двор и часто рушили там аккуратно уложенные укладки кирпичей. И вот тело одного из этих мальчиков было найдено в яме, неподалеку от города. На теле виднелись следы нескольких странных ран. Местные антисемиты распространили слух, что мальчика убили евреи, чтобы использовать в ритуальных целях кровь невинного ребенка. В убийстве обвинили Бейлиса. Его арестовали, но абсурдность обвинения привлекла внимание всего мира. Несколько лучших адвокатов России взялись защищать его, одним из них был дядя Саша. По всей стране проходили выступления и демонстрации черносотенцев, издавалась антисемитская литература, правительство и многие церковные деятели поддерживали обвинение. В своем заключительном обращении к присяжным Александр Зарудный сказал: «Господа присяжные, под судом сегодня не Мандель Бейлис, но российская юстиция!» Бейлиса в конце концов оправдали, он эмигрировал в США и умер в Бостоне. Через несколько лет после про-

цесса нашлись настоящие убийцы, воры и грабители, которые боялись, что мальчик знал про их грабежи слишком много и мог их выдать.

Взрослые в моей семье жадно следили за процессом, возмущаясь позицией правительства. Впрочем, детям не приходилось слышать споры взрослых, и я все это узнала только в студенческие годы.

От дома до фабрики было недалеко, и папа часто брал меня туда и показывал, как льется сталь из печей и как прокатывается раскаленный металл. Я зачарованно смотрела на горячую жидкость, сверкающую, как солнце. Смотреть приходилось через темно-синее стекло, вставленное в деревянную рамку. Большие валки заглатывали громадные куски раскаленной докрасна стали, а с другой стороны выходил тонкий лист металла или тонкая проволока, которую потом сворачивали в огромные катушки. Все это было как в сказке.

ЛЕНА

Моя сестра Лена родилась на второй день Рождества, 26 декабря 1912 года. Я не помню ни Рождества, ни ее рождения. Несколько дней перед этим, должно быть, прошли очень беспокойно, потому что мама, как мне рассказали позднее, подняла на руки Сережу и надорвалась. Девочка родилась на два месяца раньше срока. Нас к маме и к маленькой не пускали, потому что считали, что Лена не выживет, а мама была очень плоха. Все домашние были полностью заняты только ими. Местный доктор приходил каждый день. Няня и даже Маня все время занимались малышкой, укутывали ее в вату, грели и нянчили. Комната, в которой ее держали, была полна каких-то загадочных предметов и для нас абсолютно недоступна.

При этом еще Маня как-то несла зажженную керосиновую лампу, предназначенную, чтобы согреть что-то для маленькой, и вдруг под ноги ей выскочила кошка. Маня споткнулась, лампа опрокинулась на кошку. Несчастная перепуганная кошка нырнула под занавеску, шерсть на ней пылала. Маня пыталась ее поймать, с ужасом думая, что огонь может перекинуться в комнату, где стоит корзинка с ребенком. Загорелись занавески, все метались, кричали, кошка жалобно мяукала... Каким-то образом ее удалось изловить, но Маня заболела на несколько дней от нервного потрясения. Занавески пришлось менять. Сцену этой всеобщей паники я помню очень живо.

Доктор сказал, что мама больше не сможет иметь детей. Для родителей это была очень печальная весть, потому что они хотели иметь гораздо больше детей. Девочку назвали Еленой, в честь мамы.

Мама быстро поправилась, Лена тоже постепенно окрепла, и теперь уже за ней смотрела только няня. В знак большой радости папа подарил маме отрез красивого серого атласа для вечернего платья. Мама пока не имела желания никуда выходить, поэтому не отдала шить себе платье. Атлас так и лежал в ее комод, намотанный на картонную трубку и завернутый в тонкую бумагу. Скоро началась война, и стало не до нарядов.

Мне шел пятый год, а Сергею третий, и родители стали думать о нашем образовании. Мама немножко учила меня рисовать, но гораздо серьезнее был вопрос, каким иностранным языком нам следует заниматься. По-французски говорили в светском обществе, и мои родители с их радикальными установками считали, что нам надо начинать не с него. Выбор был между английским и немецким. Я протестовала против английского, почему-то представляя себе английскую гувернантку «синим чулком», сухой и строгой. Родители не возражали, поскольку по-немецки говорило большинство населения Либавы и, вероятно, было проще найти немку. К тому же мама сама не говорила по-английски.

Мою первую гувернантку звали фрау Валле. Она была средних лет, очень импозантна, и я при ней сильно робела. Фрау Валле сразу же заговорила по-немецки. Я помню, как она ходила по комнате, показывала на разные предметы и называла их по-немецки. Она гуляла с нами по улицам, учила хорошим манерам и водила на пляж, но я ее так и не полюбила. Сережа тоже относился к ней равнодушно. Фрау Валле скоро ушла от нас, не знаю почему.

Второй моей гувернанткой была молоденькая, веселая, очень ласковая фрейлейн Марй. Я ее сразу полюбила, и немецкий мне давался очень легко. Мы с ней гуляли, пели песни, короче говоря, нам было весело.

Маленькая Лена была все еще на попечении няни, но мы с Сергеем чувствовали, что мы уже «большие дети». Начались занятия, в основном уроки рисования. Сергею исполнилось четыре года, и он выказывал большие способности — предметы на его рисунках всегда можно было распознать. Мне дали блокноты и простые карандаши и объяснили, как надо рисовать предметы на глаз, при этом научили некоторым правилам тени и перспективы. Мама показала, как можно, растушевывая тень, сделать так, чтобы предмет казался круглым. Сама мама писала масляными крас-

ками, и я помню сделанный ею чудесный портрет няни с ее крестьянским лицом в морщинках и зачесанными назад волосами. Портрет этот висел несколько лет в папином кабинете вместе с другими мамиными работами.

Но Сережа стал очень самоуверенным. Он нарисовал лицо одного из папных друзей — большой рисунок, круглое лицо с гладкими, разделенными на пробор волосами, очки и маленькие усики, — и все сразу узнали, кто это. Теперь он, видите ли, заявлял, что рисует лучше меня. Наглость какая! Мне же, в конце концов, целых шесть лет, а ему всего четыре, и мне объясняли правила... Мы решили устроить состязание, где каждый должен был нарисовать ведро. Я вложила все свое умение и провела четыре прямые линии, так что получилась трапеция, прибавила сверху полукруглую ручку и осторожно положила тень. А Сережа, который совсем ничего не знал про тени, нарисовал сверху овал, две косые линии, изображавшие стенки, и внизу тоже половинку овала. И такую же ручку, как у меня. Я была убита. Мне пришлось признать его превосходство. С этого момента я перестала рисовать для забавы.

Первую половину лета 1914 года я выздоравливала от бронхита, перенесенного зимой, проводя много времени на пляже, плескалась в теплой воде у берега и не подозревала о том, что вскоре вся наша жизнь, как и жизнь остальных, резко переменится.



ГЛАВА 3

ВОЙНА

Первая мировая война началась 28 июля 1914 года. Настроение в городе было напряженным. Ждали нападения со стороны Балтийского моря. Форт был приведен в состояние боевой готовности. По улицам ходили люди в военной форме. Сергей, одетый в матроску, проявляя огромный патриотизм, отдавал честь всем военным и отказывался говорить по-немецки — «на языке врага». Меня это раздражало: я любила фрейлейн Мари и не могла считать ее врагом.

Дни шли своим ровным чередом, хотя взрослые жадно читали газеты, и переписка с Петербургом стала очень интенсивной. Фабрика, где папа работал, перешла с выпуска рояльных струн на выпуск колючей проволоки для военных заграждений. Развлечения были сведены к минимуму.

Чтобы снять гнетущую напряженность, папа запускал с нами воздушных змеев в поле неподалеку. Как-то раз он соорудил очень большого змея из ткани, натянутой на деревянную рамку высотой около полутора метров. Змей мог взлетать так высоко, что не видно было привязанной к нему бечевки. Папа продевал кусочек бумаги сквозь ее конец, и мы следили, как бумажка поднималась по бечевке до самого змея в вышине. Папа называл это «послать телеграмму», и нам такое занятие страшно нравилось. Тут мы увидели, что на дороге собралось много людей, они смотрели на змея и как-то очень беспокоились. Появилась полиция, стала задавать папе вопросы и попросила впредь воздерживаться от этого. Оказалось, люди заподозрили, что змей немецкий или что папа запускает его, чтобы подать немцам какой-то знак. Именно тогда на войне впервые появились самолеты, а большинство людей их еще никогда не видело.

Немцы начали обстреливать Либаву с моря. Я не знаю, насколько далеко залетали снаряды и пострадал ли город от обстрела, но помню, как зазвенели тарелки на столе на балконе во время обеда, и мы, дети, были в восторге. Видимо, взрослые хорошо скрывали свое беспокойство,

чтобы нас не путать, мы так и остались восторженными наблюдателями. Впрочем, тогда никто не знал, насколько эта война с ее мощными пушками, пулеметами, самолетами, радиосвязью и даже танками будет отличаться от всех предыдущих.

Русские начали отступать и даже оставили военный форт. Но немецкой армии не было заметно. Новости распространялись быстро. На шоссе перед домом стали появляться странные люди. Они шли от форта к городу и несли ведра с горючим, мебель и прочие вещи, явно взятые в форте. Процессия тянулась два дня. Затем внезапно по всему городу были развешаны объявления, что каждого, у кого найдут вещи из форта, будут судить по военным законам. Теперь процессия двигалась в обратном направлении: сотни людей несли те же самые вещи назад в форт, однако бросали их на дороге, не удосуживаясь донести до места. Несколько дней вещи валялись на обочинах, и никто не осмеливался к ним прикоснуться.

Еще через несколько дней мы узнали, что немецкая армия приближается к Либаве. Ходили слухи, что Либава скоро будет занята. Русское население стало готовиться к эвакуации. Часть наших вещей упаковали, но ясно было, что всего взять с собой невозможно. Поезда были переполнены, трудно было найти место даже для людей, не говоря уж о багаже. Наконец как-то ночью папа привез нас — маму, Маню, няню и троих детей — на вокзал и посадил на поезд, идущий в Петербург. Сам он остался, чтобы уладить дела на фабрике и отправить багаж морем. Какая-то часть вещей так и осталась в Либаве.

Я смутно помню переполненный поезд, высокие полки, на которых нам пришлось спать, и возбужденную толпу пассажиров, спасающихся бегством от немцев.

Мы прибыли в Петербург, наполненный беженцами. К счастью, у нас в столице было много родных, и мы смогли сперва поселиться у маминной сестры Лиды, а потом у их брата Вадима. Вскоре приехал папа, теперь мы все — кроме Мани и няни — жили в одной большой комнате в квартире дяди Вади. Маня и няня спали где-то в другом месте — вероятно, в комнате прислуги.

Санкт-Петербург был переименован в Петроград, потому что прежнее название звучало слишком по-немецки, хотя, вообще-то, оно было голландским и выбрал его сам Петр I. Сам факт, что царица была немкой, порождал много слухов, будто она симпатизировала немцам, и переимено-

вание города было чисто политическим актом. За произнесенное публично старое название людей штрафовали. Я гордилась, что запомнила новое имя быстрее взрослых и часто их поправляла.

О Петербурге я помню совсем немного, как обычно мы помним о раннем детстве. Воспоминания приходят к нам разрозненными, всплывают отдельные картины, события, личности. Но то, что помнится, помнится четко и, наверное, много значит для дальнейшего нашего развития.

Однажды меня оставили одну в комнате. Кажется, маме надо было отвезти Сережу к доктору, а маленькая Лена осталась с кем-то еще. Родители очень старались не причинять неудобств семье брата. Мне сказали, что дверь будет заперта снаружи, чтобы я сидела тихо, не шумела, была хорошей девочкой, они придут через пару часов. Как раз перед этим мы вырезали куколок, и весь пол в комнате был засыпан мелкими бумажными обрезками. Мне помнится, как я думала о том, чем заполнить скучное ожидание, и решила, что собирать эти бумажки одну за одной будет подходящим занятием на два часа. Да и для мамы это будет замечательным сюрпризом. Я действительно провела два часа, собирая кусочек за кусочком по всему полу, пока не собрала все до единого. И навсегда запомнила, что надо занять себя, если чего-нибудь ждешь, и что работа, кажущаяся невыполнимой, может быть сделана, если делать ее терпеливо и систематично.

Папе пришлось искать новое место работы, и мама проводила с нами много времени. Она хотела показать нам свой родной город. Мы чувствовали, что она любит его и хочет, чтобы нам он запомнился. Мы ходили с ней по улицам, и она показывала нам знаменитые памятники и здания. Меня очень поразили памятники Петру I. Я играла под ним, таким огромным. Мама читала мне «Медного всадника», и я живо представляла, как этот конь с топотом скакал по улицам Петербурга за бедным Евгением. Были еще памятник Петру I, строящему корабль, и Петру I, спасающему утопающего матроса, — они мне дали другой образ императора: я узнала, что он заболел после этого, и для меня он стал героем. Зимний дворец меня разочаровал: я ожидала увидеть сказочный замок, а увидела просто длинное четырехугольное здание, украшенное только скульптурными рельефами по фасаду и статуями на крыше, которые я и разглядеть как следует не могла.

Гораздо больше мне нравилась царская карета с впряженными в нее белыми лошадьми, когда она проезжала по улицам города. Конки меня тоже развлекали.

В памяти еще остались немногие визиты к родственникам. Как-то мы были в гостях у дяди Бориса. Я особенно хорошо помню, что мы сидели за длинным столом, накрытым белой скатертью. В конце обеда вошла горничная со щеточкой и небольшим совком, чтобы смести со стола крошки, но дядя Борис остановил ее, и явно чтобы позабавить детей, но к возмущению своей жены, вытащил пару белых мышей, пустив их бегать по столу и подбирать крошки. Мы с Сережей страшно радовались, но взрослые были шокированы.

Может быть, чтобы как-то отплатить за этот шок, папа и мама решили подшутить над дядей Борисом. Они пришли к нему в дом, когда хозяйев не было, и прикрепили на их прекрасное зеркало в прихожей черную неровную бумажную звезду, а затем у меня на глазах провели от каждого луча длинные полоски кусочком мыла. Получилось очень похоже на разбитое зеркало. Мы все спрятались в другой комнате и ждали возвращения дяди и его жены. Горничная волновалась и уговаривала моих родителей не оставлять этот страшный знак. И я думаю, она была совершенно права, потому что, когда дядя с женой вернулись, тетя чуть не упала в обморок и ругала моего отца так, что стало ясно: ей эта шутка вовсе не показалась забавной.

Часто ходили мы в гости к дяде Саше, папиному брату. Тогда, в 1914 году, дядя Саша был очень веселым, показывал всякие фокусы; у него был большой черный французский пудель, который прыгал через обруч и отыскивал спрятанные вещи. Сын дяди Саши, тоже Сережа, был моложе моего брата, кажется, на год. Почему-то он ко мне очень привязался и ходил за мной как собачонка, повторяя «Маргариточка!», что меня очень раздражало.

Интересным был визит папы со мной к его тетке, княгине Голицыной (тете Дуне). Она жила со своей горничной. Обе они показались мне ужасно старыми. На тете Дуне было надето что-то темное со множеством кружев, и на голове тоже что-то кружевное. Папа сказал, чтобы я вела себя осторожно, потому что тетя старая и ей не понравится, если шумная десночка будет бегать по квартире, полной всяких хрупких вещей. После того как я поздоровалась, сделав, как обычно, книксен, мне разрешили походить и посмотреть на все эти бесчисленные статуэтки, некоторые в

стеклянных горках, музыкальные шкатулки и другие подобные вещи, каждая со своей особой историей, все для меня недоступные, но завораживающие. Визит был недолгим, но оставил неизгладимое впечатление.

Папа, с помощью своего зятя Кавоса, который обычно ему помогал, нашел место управляющего металлургическим заводом в небольшом заводском городе Выксе. Ближайшей железнодорожной станцией от Выксы был Муром, от него надо было ехать на лошадах. Сырье для завода и его продукция перевозились на баржах по реке. Электричество поступало от маленькой гидростанции на плотине.

Для родителей это отдаленное место жительства имело несколько преимуществ. Во-первых, как управляющий завода отец имел достаточную свободу. Во-вторых, ему предоставлялись большой оклад и дом (при желании, уже обставленный), сад, конюшня с лошадьми, где были кучер и садовник, — все в специальной колонии для сотрудников завода. Там же в распоряжении отца был большой парк, содержавшийся на счет завода. Родители могли все лето принимать гостей, как в своем поместье.

Мама состояла членом Общества по распространению народного образования, она интересовалась школами для детей и взрослых и собиралась организовать вечернюю школу для рабочих и летнюю для детей, чем и занялась, как только мы обосновались на месте. Нас мама собиралась учить дома, считая, что она сама с помощью учителей иностранного языка сможет дать нам полное школьное образование. Во всяком случае, мама считала, что пребывание в Выксе будет временным, потому что вся жизнь определялась войной, и, конечно, мама надеялась не терять связи с родными и друзьями, оставшимися в Петрограде.

Папа, как обычно, поехал первым, чтобы приготовить дом для семьи. И через некоторое время, осенью 1914 года, мама вместе с Маней, няней и тремя детьми добралась до Москвы, где мы все пересели на поезд в Муром. Там нас встретил папа с несколькими экипажами, чтобы везти в Выксу. Приехали мы поздно ночью. Шел дождь. Экипажи были закрыты от дождя, и мы почти ничего не видели по дороге.



ГЛАВА 4

ВЫКСА. 1914—1915

Завод в Выксе был одним из многих сталелитейных заводов, построенных в Центральной России в конце XVII — середине XVIII века. Создавались эти заводы возле рудных месторождений, близ судоходных рек, по которым шел транспорт, до того как построили железные дороги. Плотины на реках, лес и уголь из густых лесов в округе, а также местные залежи торфа обеспечивали все, что требовалось для заводов. В качестве рабочей силы использовались главным образом крепостные.

Управляющие мало заботились об условиях труда — работники всегда имелись в изобилии, люди были привязаны к своему месту сперва законом, потом традицией. Железная дорога, которую провели через Муром, обошла Выксу стороной, и основными путями сообщения с рынками остались по-прежнему реки.

После отмены крепостного права борьба между управляющими и рабочими стала усиливаться. Управление перешло к иностранным инвесторам, которые взяли в аренду земли вокруг заводов и безжалостно вырубали окрестные леса на топливо. К тому времени, как отец начал там работать, местного дерева уже не хватало, и приходилось привозить нефть по реке на баржах.

Выксинские заводы принадлежали компании из шестнадцати владельцев, главным из которых была немецкая семья Лессинг. Очень небольшая доля акций принадлежала российским подданным. Среди них был Мечислав Буйневич, горный инженер, поляк по происхождению. Буйневич служил генеральным директором нескольких заводов, принадлежавших компании. В начале войны немецким владельцам пришлось уехать в Германию, и Буйневич остался ответственным за работу заводов.

Папино положение было непростым. С одной стороны, он служил компании и отвечал за эффективность и прибыльность завода. С другой стороны, рабочим платили очень мало, условия труда, особенно в шах-

тах, были ужасающими, война требовала роста производства; волнения рабочих нарастали. Многим рабочим приходилось одновременно работать и на заводе, и в огородах, чтобы хоть как-то выжить.

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

К нашему приезду дом в Выксе был уже полностью обставлен, частично нашей собственной мебелью, картины развешаны по стенам, даже постели постелены. К моей огромной радости, одной из первых нас встретила там фрейлейн Мари. Я ее не видела с отъезда из Либавы и не знала, что папе удалось ее вывезти оттуда. Антинемецкие настроения были очень сильны, и хотя папа был уверен, что в таком отдаленном и тихом месте, как Выкса, фрейлейн Мари не будет беспокоить ни полиция, ни местное население, все равно приходилось быть настороже. Я была счастлива, что она приехала. Нас, усталых и сонных, уложили спать, и только на следующее утро мы обожали кругом весь дом, сад и двор. На дворе жили лошади и коровы; там же мы познакомились с кучером.

Дом был большой, с множеством комнат. На первом этаже слева от входа был папин кабинет, справа столовая и из нее вход в просторную гостиную, где стояла наша мебель красного дерева (большая турецкая тахта осталась в Либаве) и по стенам висели дедушкины картины. За столовой шел маленький мамин кабинет, где она потом провела много часов за работой и чтением, где мы все вместе мастерили елочные украшения и мама чинила отданные разными людьми механические игрушки — заменяла в них пружины, раскрашивала их, готовя подарки на Рождество для детей рабочих или для детей в приюте.

За маминым кабинетом была большая светлая угловая комната, выходившая окнами в сад. Там устроили нашу детскую, где спали фрейлейн Мари и мы с Сережей. В детской стояли полки для игрушек, низкий столик со стульчиками, комоды для наших вещей и вещей фрейлейн Мари, и все равно еще оставалось много места для игры. Спальня родителей была через коридор, напротив, рядом с ней комната для няни и малышки. Там жила полуторагодовалая Лена вместе с няней, пока не родилась еще одна наша сестра.

Через весь дом шел коридор, подходивший к ванной комнате, где были умывальник, большая ванна и колонка, которую топили дровами. Для

детей мытье в ванной происходило раз в неделю. Наверху было несколько комнат, в некоторых из них стояли умывальники. В одной жила Маня, и там же были комнаты для гостей, наша будущая «классная» и несколько чуланов. В боковом крыле располагались кухня, буфетная и другие служебные комнаты, куда нам обычно путь был закрыт.

Наш дом был самым большим в селении, которое называли колонией. Вокруг нее шел низкий забор с красивыми воротами на въезде. В колонию же входили другие дома, где жили заводские служащие, и парк. Детям рабочих входить в колонию не разрешалось.

Не помню случая, чтобы и мы выходили за пределы колонии. Помоему, мы никогда не видели реки, кроме как по дороге, выезжая куда-нибудь из Выксы. В нашу жизнь она не входила, хотя для существования всей колонии играла важную роль.

Ближайшим городом был Муром. Там происходили ярмарки, и туда ездили за покупками. Ехать надо было на лошадях, и на это уходил целый день, поэтому города дети никогда не видели, только проездом.

Папа привез в Выксу и нашу кухарку — латышку Зузу, для этого ему пришлось устроить ее мужа-плотника на завод. Жили они поблизости, и Зуза проводила почти весь день у нас в доме. Ей помогала местная девушка Аннушка, которая мыла полы, посуду и, кажется, доила коров и кормила кур. Был еще кучер, он же садовник, он же конюх, смотревший за лошадьми, экипажами и санями.

В большом саду вокруг дома вдоль забора тянулась аллея из кленов и акаций; на клумбах цвели цветы; были там и огород и парники. Конюшня находилась на заднем дворе, но туда мы ходили редко, лишь иногда приносили лошади куски сахара и осторожно протягивали их на открытой ладони. Когда родители собирались куда-нибудь поехать, к крыльцу подавали конный экипаж.

Первый раз пойдя с нами в парк, папа обследовал оборудование площадки для игры. Там почти ничего не было, только стояли старые, облупившиеся от дождя и ветра брусья высотой мне по пояс. Папа велел мне отжаться на руках на этих брусьях, но у меня не получилось. Отец возмущен, немедленно заказал набор гимнастических снарядов для парка, а в доме в детской комнате велел повесить кольца. Уже через год я лазила по канатам, как обезьянка, качалась на трапеции и на кольцах, и родители порой пугались моих рискованных выходов.

Где-то далеко шла война, происходили политические схватки, согревавшие большие города. Но я была еще мала, чтобы замечать взрослые проблемы, и наше пребывание на Выксе вспоминалось мне потом, во всех наших позднейших странствиях и бедствиях, как идеальная, безоблачная, но при этом деятельная и полная общения семейная жизнь.

Меня будили в восемь часов. Умывшись, одевшись и заплетя две косы с бантами, я выходила вместе с Сережей в столовую к завтраку. Стол был уже аккуратно накрыт, и так начинался каждый день: с простого завтрака всей семьей вместе и проводов папы на завод.

Летом, если погода была хорошей, мы играли в саду. Зимой полагалось идти на прогулку с фрейлейн Мари. Прогулки эти я ненавидела, потому что у меня всегда замерзали ноги до боли, и я возвращалась домой в слезах. Помню, как плакала, пока с меня снимали ботинки, и как мама или фрейлейн Мари растирали мои посиневшие ноги спиртом. Затем мне стали оборачивать ноги бумагой, но ничего не помогало, ноги мерзли еще больше. Так это у меня и осталось до самого переезда в Сибирь — там ботинок не было и пришлось носить валенки, а под ними — портянки, ноги и перестали мерзнуть.

Фрейлейн Мари сшила полный гардероб на мою куклу, с помощью лобзика выпилила из тонкой фанеры набор мебели и обставила кукольную комнату. Мебель была резная, ящички комодов открывались, там был даже рояль. Все, кто видел, восхищались, но я не знала, как с этим играть, хотя и гордилась своей кукольной комнатой. Когда ко мне приходили девочки, я их тут же вела к кукольному домику, а сама убегала в сад играть с мальчиками. Там мы строили шалаши из веток или домики на деревьях, играли в казаки-разбойники, бегали, лазили по деревьям или просто болтали.

Дома мы больше всего любили играть в кубики, которые сделал для нас столяр по папиному заказу. Все кубики, вернее деревянные кирпичики, были одинакового размера — сантиметра три в высоту, шесть в ширину и двенадцать в длину. Но их было несколько сотен, мы могли строить и строить, и всегда хватало материала. Мы возводили мосты или ставили кубики стоя в длинный ряд — потом можно было легонечко толкнуть самый крайний, и они долго-долго падали один за другим. Зимними вечерами мы строили башни, выстилали их цветной бумагой, гасили для большего эффекта все лампы и зажигали внутри башни свечку.

Были у нас и тряпичные звери — наш «зоопарк». Для музыки у нас кроме пианино был еще «музыкальный ящик» и много металлических пластинок для него.

В памяти моей хорошо сохранились некоторые подробности нашей повседневной жизни. Например, как мы укладывались спать. Одежду надо было аккуратно сложить, шелковые ленты, выплетенные из кос, намотать и намотать на ручку двери, так чтобы утром они оказались словно поглаженные утюгом. Я, как сейчас, вижу эти ручки — ярко-синие стеклянные цилиндры, прикрепленные к двери медными скобками. Мой педантизм иногда даже раздражал маму: снимая платье у портнихи, я настаивала, что его надо сложить аккуратно, или, заходя утром в комнату гостившего у нас моего двоюродного брата, чтобы его разбудить, я принималась складывать его одежду, лежащую на стуле.

Нам не разрешалось ничего оставлять на тарелке. Без этого нельзя было вставать из-за стола, даже если все остальные уже поднялись. Хорошо помню, как я отказалась за обедом доедать котлету. Меня оставили за столом и не разрешили вставать. Я заупрямилась. Наступили сумерки, а я все сидела перед тарелкой с холодной котлетой. Наконец пришла Маня и дала мне стакан воды, чтобы я, хоть запивая, попробовала эту котлету съесть (это было типично по-Маниному — она всегда заботилась о нас, не раздумывая о педагогических теориях). Я разломала котлету на кусочки и проглотила их с водой, не разжевывая, доказав тем самым самой себе, что я не сдалась и котлету «не ела». После этого мне всегда было легко проглотить таблетку.

Как-то раз я пошла в кухню, где Зуза готовила котлеты. Она дала мне лепить и обваливать в сухарях уже приготовленный фарш. За обедом, когда подали котлеты, я обрадовалась и спросила маму: «Тебе нравится?» На что мама удивилась и поинтересовалась, почему я спрашиваю. Я гордо ответила, что сама их делала. Но мама сказала только: «Котлеты хорошие, но Муля! — не надо ходить на кухню и мешать Зузе!» Взрослый мир от нас все еще был строго отделен.

В первую же осень конюх начал учить нас ездить верхом и настаивал, чтобы мы ездили без седла, «чтобы лошадь почувствовать». Меня это пугало, и я никогда не решалась пустить лошадь рысью — только шагом. Сережа боялся даже больше меня.

Был еще один очень близкий нам человек, много думавший о нашем физическом развитии и имевший на нас в целом большое влияние. Зва-

ли его Юзя. Папа пригласил его на какую-то техническую должность на заводе — кажется, счетовода. Родом он был из Польши. Его жену, тихую, застенчивую, хрупкую женщину, мы почти не знали. Сыновья их были значительно старше меня. Помню только, что младший, Геник, был худощавый и бледный, очень похожий на мать, и играл на скрипке. Все говорили, что он очень музыкален. А старший, Владек, был здоровый сильный молодой человек, похожий на отца.

Юзя любил детей. Он интересовался йогой, показывал нам многие упражнения, предлагая нам самим проделать их, и часто говорил с нами о философии йогов. Он рассказывал о перевоплощении душ, о любви к животным, о сдерживании своих дурных порывов. Это был самый добрый человек, какого я знала, но сам про себя он говорил, что имеет множество буйных желаний, которые ему приходится сдерживать, а значит, душа его нуждается еще во множестве перевоплощений, чтобы прийти до совершенства. Еще он рассказывал, как видел однажды во сне, что был медведем во время ледникового периода. Ему снилось, как его разбудили гром и грохот вокруг и как он бежал в панике. Юзя верил, что так живет в нем память прошлых жизней. Родители мои никогда ничего по поводу этих историй не говорили. На меня все они сильно действовали. Думаю, что в целом мы внутренне верили Юзе. Он остался в моей памяти как человек невероятно добрый, прощавший любые враждебные нападки, пытаясь дойти до их причины, и всегда готовый во всем винить себя. Он был полон смирения, но без ханжества — я это помнила потом всю жизнь. Во время Гражданской войны мы потеряли его, но позднее, когда мы уже жили в Омске, он вдруг нашелся тоже в Сибири, в Томске. Томск был известен своим университетом — единственным в то время университетом в Сибири, — там учились Юзины сыновья. В 1921 году Юзя остановился у нас по дороге из Сибири домой, в Старую Руссу. У меня сохранились некоторые из его писем к папе. Написанные ровным, бисерным почерком, письма эти теплы и содержательны. Никто из нас так никогда и не узнал, что случилось с ним и его семьей дальше.

У папы и мамы скоро образовался круг знакомых: папин начальник Буйневич и его жена, местный доктор Иордан с женой, несколько инженеров, которых я вовсе не помню, Юзя, мой кузен Женя Кавос и его жена Верочка. Все они были люди либеральные, не одобрявшие насилия, — любители читать и вести по вечерам долгие политические беседы.

Отношения между ними были дружеские. По-видимому, выходы «в свет» откладывались до конца войны и до возвращения к городской жизни.

Среди взрослых Женя и Верочка были самые младшие. Женя воспитывался в Пажеском корпусе, где его учили рисованию, музыке, языкам, гуманитарным наукам и верховой езде — то есть в целом готовили его к жизни в высшем свете. Он играл на скрипке и писал акварели, как и его мать. Никакого особого таланта у него не было, он просто должен был занять какую-нибудь видную должность в гвардии или в министерстве. Но случилось так, что Женя влюбился в молодую девушку из очень простой семьи и вопреки воле родителей, считавших, что она ему вовсе не пара, женился на ней. После этого он решил, что должен сам зарабатывать, и обратился к моему отцу. Отец подумал, что обучиться черчению Жене будет несложно, а на заводе нужен чертежник. Так Женя очутился на Выксе, они с Верочкой поселились неподалеку от нас и стали частью нашей семьи. Мама стала чем-то вроде старшей сестры для молоденькой и неопытной Верочки. Женя с Верочкой проехали с нами весь путь до Сибири, а завершилась их жизнь в Париже.

В декабре 1914 года до нас дошла печальная весть о смерти маминного отца. Мама даже не могла приехать на похороны в Петербург. Она вот-вот должна была родить своего четвертого ребенка. После смерти деда маме досталась в наследство часть леса из его усадьбы, что приносило определенный доход. Придерживаясь социалистических убеждений и считая, что доход с земли не должен доставаться тому, кто на ней не работает, она сделала так, чтобы весь доход шел на оплату учителей в Иванове, в той школе, которую она помогала организовать.

Рождество

К встрече Рождества мы готовились вместе с мамой — мама ждала ребенка, и времени у нее было много. Все наши елочные украшения она делала сама, а мы следили, как она рисует на тонком картоне детали разных многогранников, потом вырезает их, сгибает, склеивает, покрывает тонкими листами цветной бумагой и затем проклеивает тонкими золотыми полосками по ребрам. Мне даже сейчас эти игрушки кажутся гораздо интереснее и краше, чем стеклянные шары. Мама склеивала разноцветные бумажные цепи, мастерила маленькие ведерки, тачки, барабаны — все

из картона, покрытое яркой бумагой и с золотыми полосками по краям. Была там крохотная книжечка с хорошо знакомыми детскими стихами, вписанными на ее страницах маминым мелким, но четким почерком. А самым восхитительным был домик со слюдяными окошечками. Внутри можно было разглядеть часы на стене и стол, на котором танцевали «рыба с раком и петрушка с пастернаком»⁶ (был такой стишок). Мама заворачивала в золотую фольгу орехи и прикрепляла тонкие нитки, чтобы их вешать на дерево.

Рождественскую елку, высокую, под самый потолок, родители наряжали потихоньку от нас в Рождественский сочельник. В гостиную нам ходить не разрешали до самого вечера, и мы, нарядные, вместе с несколькими друзьями должны были сидеть в детской и в радостном предвкушении ждать праздника. На улице было уже совсем темно, когда нам наконец разрешали выйти из детской. Двери в гостиную торжественно распахивались, папа играл громкий марш, и мы наконец могли увидеть елку, всю усеянную огнями настоящих свечек. Зрелище было потрясающим. Мы торжественно шли вокруг елки и пели по-немецки рождественские песни, которым нас научила фрейлейн Мари. Потом начиналось разглядывание всех украшений и тщательное выискивание своих любимых, чтобы восхититься ими еще раз, теперь уже в свете свечей. Всякие съедобные украшения с дерева можно было снимать и съедать. Затем каждый получал подарок — книгу или игрушку — с предупреждением, что надо делиться им с остальными. Взрослые тоже получали от нас подарки, обычно что-то сделанное нами самими.

Маня и няня на праздник шли в церковь, но к нам церковь приходила сама — то есть являлся священник после службы. Мы стояли смиренно и смотрели, как он, в праздничном облачении, с большим золотым крестом на груди, помахивал кадилом, читал нараспев молитвы, а потом обходил дом, кропя везде святой водой. Папа и мама относились к нему уважительно, но мне всегда казалось, что он приходит, в общем-то, без приглашения, просто так полагается. Я ощущала какую-то неловкость, может быть, потому, что мне никто не объяснил, как себя при этом надо вести, а может быть, потому, что я чувствовала мамино неоднозначное отношение к этому приходу. Чувствовалось, что для папы все это гораздо естественнее.

Потому ли у мамы не было четкого отношения к религии, что ее отец, пусть и женись четыре раза на православных, продолжал оставаться лю-

теранином (правда, по-видимому, не соблюдая никаких обрядов)? Всех его детей, впрочем, крестили в православие, как и требовалось, если один из родителей был православным. А может быть, у мамы сказывалась ее неприязнь к полному единодушию церкви и монархии? Атеисткой она не была — я это чувствовала, она охотно следовала всем ритуалам, и похоже, ей это нравилось, но она никогда не учила меня молиться на ночь, никогда не упоминала слов «Бог» или «Богородица». Она, скорее, учила меня продумывать вечером мой день, все дурные и хорошие поступки, и принимать решение впредь вести себя хорошо. Она купила для нас прекрасную детскую Библию с иллюстрациями и давала нам читать в ней истории Ветхого и Нового Заветов, но без всяких комментариев с ее стороны. Может быть, все это мама делала, зная, что Закон Божий изучается в гимназиях как официальный предмет и что рано или поздно нам предстоит сдавать по нему экзамен? Во всяком случае, пока она нас от этого оберегала. Мы умели только креститься, и я не уверена, кто нас этому научил, может быть, Маня или няня.

ТАНЯ

Первым признаком, что скоро что-то должно произойти, стало появление в доме Бабушки.

У мамы была любимая подруга Тоня, которая умерла незадолго до ее свадьбы. Бабушка, Тонина мама, после кончины дочери относилась к нашей маме как к родной. Акушерка по профессии, она старалась быть с мамой при рождении всех детей. Наши родные бабушки обе умерли еще до нашего рождения. Заменой для нас стала Бабушка, поэтому мы ее так и звали. Настоящее имя ее было Елизавета, ни отчества ее, ни фамилии я не помню.

Роды прошли легко, и с мамой все было в порядке. Девочка родилась 12 января, в Татьянин день, традиционный праздник студентов Московского университета. Ее и называли в честь этого дня Татьяной, то есть ее день рождения и именины совпадали, в отличие от всех нас. Это означало, что у нее праздновался только один день в году, а не два, как у остальных, но зато ее день все хорошо знали без напоминаний.

Таню крестили, по обычаю, дома. Нас всех крестили вскоре после рождения, потому что свидетельство о крещении было единственным сви-

детельством о рождении. Священник и дьякон пришли с большой купелью. Вся семья, включая и друзей и слуг, собралась в гостиной. Зажгли свечи, от кадила пахло ладаном. Сперва прочли и пропели молитвы. Девочку раздели, священник взял ее на руки и полностью погрузил в теплую воду в купели. Я громко ахнула. Малышка заплакала, но ее быстро завернули в теплое одеяло, и она успокоилась на руках у крестной. Нас поздравили, и все вместе со священником сели за праздничный обед. Это были первые в моей жизни крестины, которые я помню.

Лену переселили в ту же комнату, где жили мы с Сережей, а няня полностью была занята новорожденной. Бабушка все время была с мамой — и при родах, и на крестинах, и потом во время Великого поста до самой Пасхи.

МОИ ПЕРВЫЕ ИСПОВЕДЬ И ПРИЧАСТИЕ

На Страстной неделе перед Пасхой Бабушка решила, что мне пора исповедаться первый раз. По правилам православной церкви, детям до шести лет можно просто причащаться, а позже — только после исповеди. Мама никогда ничего не говорила об исповеди, и я очень смутно представляла себе, что это такое. Бабушка же решила провести всю Страстную неделю в женском монастыре.

Иверский Выксинский женский монастырь находился недалеко от Выксы. Он был основан в 1864 году как приют для престарелых монахинь, а позднее стал общежительным, а в 1888 году — монастырем. Монастырю принадлежало много земли, в нем было четыре церкви, одну из которых только-только достроили, приют для престарелых монахинь, больница, школа для девочек-сирот, два дома для гостей и дом для паломников на 250 человек. Кроме того, в монастыре существовали разные мастерские: иконописная, золотошвейная, мебельная, портняжная и мастерская, где изготавливали ризы для икон. Были там и огород, и съестная лавка, и лавка, где продавались иконы и золотое шитье. В нескольких скитах жили монахини-отшельницы. Снаружи, за белеными кирпичными стенами монастыря, располагались конюшни, пруд, кирпичный завод и большой лес, в котором находилась пасека. Говорят, что в советское время монастырь был разорен и больше не существует, но трудно поверить, что эти мощные каменные строения удалось разрушить.

Подъезжая к монастырю, я немножко побаивалась. Земля была вся покрыта снегом, вокруг высоких белых стен монастыря стояли темные сосны. Здания внутри были все побелены, по двору бесшумно двигались монахини, одетые во все черное. И казалось, что все кругом — кроме куполов церквей с их золотыми крестами — или черное, или белое.

Бабушка сняла для нас комнату в доме для гостей. В этом же здании находился приют для сирот. Мы ели вместе с монахинями и ходили через двор в церковь, где дважды в день служились долгие богослужения Великого поста. В первый же день я решилась открыть дверь нашей комнаты и вышла в коридор. К изумлению моему, коридор был полон девочек. Все они были одеты в одинаковые темные платья, некоторые — ровесницы мне, некоторые постарше. Они бесшумно ходили по коридору, а если и разговаривали друг с другом, то так тихо, что из комнаты их не было слышно. Я никогда не видела таких тихих детей. Бабушка сказала, что они из приюта и что у них сейчас перемена между уроками. Мне было их бесконечно жалко — что у них нет семьи и их заставляют быть такими смирными.

Вечером мы пошли на первую церковную службу в моей жизни. Сумерки уже сгущались, и скоро совсем стемнело. Церковь внутри была вся озарена, свечи горели перед иконами и на больших подсвечниках, где посредине стояла большая свеча, а вокруг много тонких свечек, — и все они отражались в позолоченных окладах икон. Ни стульев, ни скамеек не было, все стояли — и монахини в черных одеяниях, и монахини-затворницы в белых одеждах, густо покрытых черной вязью молитв и слов из Библии, и девочки из приюта. Священник и причт были все в черном с серебром. Звучало медленное покаянное пение, колокола звонили тоже медленно и печально. Вся атмосфера меня немного напугала, особенно страшно было видеть «живые мощи» — монахинь-затворниц, у которых капюшоны спускались низко на лица, так, чтобы их никто не видел. Я стояла смирно, как могла, в течение всей службы, и вид приютских девочек мне помогал. Правда, я очень устала и ночью крепко спала.

Утренние службы, хотя и более долгие, казались не такими тяжелыми. Я уже стала привыкать стоять так подолгу. После службы бывал обед, а потом я просто тихо сидела в комнате и рассматривала книжки с картинками или проводила время вместе с другими девочками. Когда вечерние службы бывали очень поздними и долгими, Бабушка ходила одна, а

меня оставляла ужинать вместе с приютскими девочками. Девочки накидывались на грубую постную еду, которая мне казалась почти несъедобной, и только общая атмосфера смиренного послушания заставляла меня есть вместе со всеми. Девочек мне было ужасно жалко.

Наконец наступил вечер, когда надо было идти на исповедь. Я очень волновалась. Единственное, что мне сказали заранее, что на все вопросы священника, не согрешила ли я, надо отвечать «согрешила», потому что я не могла быть уверена, что нет.

Священник, одетый в черную рясу, с длинной, густо затканной полосой, свисавшей спереди и сзади, и с золотым крестом на тяжелой цепи, сидел на стуле, а я стояла перед ним, чувствуя себя очень маленькой и очень робкой. Тихим и добрым голосом он задал мне несколько вопросов, стараясь развеять мой явный страх: «Лгала ли? Имела ли дурные мысли?» и т.д. Я отвечала как положено. Затем он спросил: «Еще какой грех хочешь исповедать?» К этому я была совершенно не готова. Я задумалась и в конце концов сказала: «Я утром, перед завтраком, ворую сахар из сахарницы на столе». — «Ну вот, теперь ты понимаешь, что это нехорошо, ты больше так не будешь? — спросил священник. — Вот видишь, даже если ты думаешь, что никто не видит, Бог-то видит!» Он накрыл мою голову расшитой полосой материи, прочел молитву и отпустил меня. Я ушла, чувствуя себя освященной, очищенной от всех моих грехов, с совершенно чистой совестью. Правда, теперь я знала: что бы я ни делала, даже тайно от других, Бог все равно за мной следит, — от этого становилось страшновато.

После исповеди мне полагалось не есть до самого причастия на завтрашней утренней службе. Я вернулась в нашу комнату, чувствуя себя ужасно голодной. От голода у меня кружилась голова, но единственная вещь, которую Бабушка могла мне позволить, был крепкий сладкий чай. Мне он помог, хоть я такой чай ненавидела.

Утром, одетая в самое лучшее платье, я подошла к причастию. Мы простояли всю службу, мне все больше и больше хотелось есть, я чувствовала, что вот-вот упаду. Наконец все причащающиеся, включая и нас с Бабушкой, подошли к священнику, который всем нам по очереди дал по ложке тепловатого красного вина с кусочком просфоры в нем. Мне разрешили взять кусок просфоры — так замечательно было съесть хоть что-то, а хотелось съесть всю просфору целиком! Бабушка взяла еще одну,

чтобы отвезти домой. Матушка настоятельница поздравила меня и подарила мне красивую фарфоровую чашечку с блюдцем из тонкого, почти прозрачного фарфора, расписанную розовыми цветами с золотым ободком сверху.

Вместе с Бабушкой мы пошли на Пасхальную заутреню. Церковь вся сияла огнями, священники были одеты в белые, расшитые золотом одежды. Церковные колокола звонили громко и радостно, радость заливала все вокруг. Так чудесно заканчивалась трудная неделя. Хотя я и поспала немного, прежде чем меня разбудили, чтобы идти в церковь, но я все равно устала и начала засыпать и совершенно не помню, как я возвратилась к нам в комнату.

Утром мы вернулись домой в экипаже, который за нами прислал папа. Так замечательно было бегать, громко говорить и чувствовать себя самой собой! Дом весь был наполнен восхитительными запахами пасхальных блюд. Традиционно мужчины наносили в такой день визиты всем друзьям, и стол был накрыт для гостей, которые могли прийти в дом. Там было все, что полагалось ставить на пасхальный стол, — высокие кулички, глазированные сахаром, с воткнутыми в них бумажными розами, две пасхи, одна белая и одна розовая, по специальному брюлловскому рецепту, большая горка крашеных яиц, ветчина, отбивные котлеты, где каждая косточка была обернута гофрированной бумагой, несколько бутылок вина и, конечно, неизменный самовар с жаркими углями в нем. Вода для чая была всегда наготове, и мирное шипение самовара создавало теплую, гостеприимную атмосферу.

Священник пришел к нам домой благословить пасхальные яства. Во всем царило праздничное настроение радости и отдыха.

Меня поразил контраст между этой счастливой семейной атмосферой и спертым воздухом припота. Я все время видела перед собой бледные лица сирот. Я чувствовала себя по сравнению с ними такой счастливницей, что поделилась своими мыслями с мамой, и она обещала, что пригласит к нам девочек весной на прогулку. Так она и сделала, когда потеплело. Девочки были счастливы побегать и поиграть в парке, и хотя за ними присматривала строгая монахиня-надзирательница, видно было, что они все-таки не забыли, что такое веселье. И на душе становилось легче.

Что случилось с этими девочками после революции, вскоре пронесшейся по стране?

Лето 1915

Летом мама организовала у нас в парке летний лагерь для детей из деревни и из колонии. Вместе с комитетом из жителей колонии она устроила большой праздник, чтобы собрать для лагеря деньги. Там продавались напитки, шары, флаги и разные безделушки. Мама смастерила маленькие кувыркающиеся фигурки, а я ходила по парку, показывала их и продавала. Игрушка была сделана из картонной трубочки сантиметра два в диаметре и сантиметров пять длиной, со свинцовым шариком внутри. Трубочка закрывалась с двух концов, к одному концу были прикреплены бумажная голова и руки, а к другому — ноги. Если игрушку ставили на наклонную поверхность, то она начинала кувыркаться. Я их продавала по пять копеек.

В одном конце парка были устроены «полеты на аэроплане». О самолетах тогда почти никто ничего не знал, так что «полеты» производили на детей большое впечатление. Желаящему «полетать» крепко завязывали платком глаза и вводили в палатку, где его ставили на доску, лежащую на двух табуретках сантиметрах в тридцати над землей. По двум концам доски стояли люди, которые должны были ее поднять. Помощник вставал прямо напротив «летающего», и тот должен был положить руки ему на голову, чтобы держаться. Затем двое по краям доски начинали ее поднимать и раскачивать, в то время как помощник приседал все ниже и ниже, пока в конце концов голова его не достигала земли и играющий ее отпускал. При этом бедному испуганному ребенку расписывали, как высоко он залетел. Когда доску ставили на место и снимали с глаз платок, можно было понять розыгрыш, но, выходя оттуда, никто не признавался, что его одурачили, так что «полеты» продолжали пользоваться большим успехом.

На другом конце парка располагались кукольный театр и будка с «волшебным фонарем».

Праздник удался, и комитет смог нанять хорового дирижера и инструктора по гимнастике, а также разработать хорошую программу на целое лето. И я и Сережа там тоже участвовали. Деревенские дети были довольно-таки буйными и иногда грубыми. Я была помладше их и немножко побаивалась с ними играть.

Я пошла в хор и очень его любила. Но как-то раз мы шли вместе с нашим дирижером и с фрейлейн Мари, и та спросила: «Ну, как Мулины

успехи?», на что наш руководитель, посмотрев на меня, сказал: «Ну, ей не помешает немножко больше заниматься дома». Я поняла, что пою плохо. На этом все кончилось — на протяжении всего детства и юности я больше никогда не пела в чем-либо присутствии.

Прошел уже год с начала войны, и страна втягивалась в нее все глубже. В далекой от нас столице молодежь из числа наших родственников и друзей так или иначе занималась деятельностью, связанной с войной. Дамы сворачивали бинты и вязали носки для солдат; молодые девушки шли в сестры милосердия. Многих из выксинских мужчин призвали в армию, а завод выпускал в основном военную продукцию. Но ход жизни в нашем доме почти не нарушался.

В гости к нам в основном приезжали художники и скульпторы. Для них это было возможностью поработать в новой среде. Я наблюдала, как один скульптор лепил папин бюст из глины, затем покрывал его гипсом, снимал хрупкую форму, когда она затвердевала, и отливал гипсовую копию. О том, чтобы отливать скульптуру в металле, во время войны никто и подумать не мог — металл был необходим для военных нужд. Я живо помню, как кусок за куском снимали форму и в конце концов показалась идеальная гипсовая копия вылепленного из глины портрета. Маме этот бюст очень нравился. Он потом путешествовал вместе с нами до самого Урала.

Один художник начал учить меня рисовать. Я так и не продвинулась дальше вычерчивания больших квадратов и треугольников. Потом полагалось их слегка закрасить акварелью и следить, чтобы краска ложилась равномерно. Мне это умение пригодилось, когда позднее пришлось делать раскрашенные чертежи в институте.

Сергей же делал в рисовании большие успехи. Он изображал сложные сцены сражений, с многочисленными рыцарями в доспехах, а на отдельных листках бумаги делал наброски для своих картин. Я не могла не восхищаться, когда он рисовал боевые знамена с надписями на них, причем часть надписи была скрыта, потому что знамена разевались на ветру. Ему было всего пять лет, и все считали, что он унаследовал брюлловский талант и тоже станет художником.

Как-то раз мама принесла домой необыкновенные картины деревенского мальчика, написанные маслом на доске или на холсте. Мальчик писал сложнейшие натюрморты: стакан с водой, в котором стоял цветок, и вода была прозрачной, но тоже была при этом видна; или зажженную свечу на подсвечнике и несколько предметов вокруг, освещенных ее све-

том. Другие картины я не помню, но все они были примечательны, особенно удивительно было, что мальчик сам делал для них краски. Откуда все это приходило ему в голову? И как он всему научился?

Неизвестно, что про него знала мама, но, во всяком случае, она считала, что мальчик очень талантлив и нуждается в помощи. Она привела его к нам домой, дала ему масляные краски и холсты и позволила копировать дедушкины картины. В то время так учили рисовать — копируя мастеров. Он к нам приходил много раз и старательно работал над своими картинами — тихий, простой деревенский мальчик со светлыми волосами, одетый, как все деревенские дети, в длинную рубашку навыпуск, подпоясанную веревкой, штаны и лапти. Он был необщителен, с нами не разговаривал, сосредоточившись на своей работе. Мы с Сергеем смотрели на него с восхищением и старались ему не мешать. Вскоре он уехал, мама устроила его в какую-то художественную школу, возможно в Москву — я не знаю. Не знаю я ни его имени, ни дальнейшей судьбы. Может, он стал знаменитым художником, а может, погиб в революционном хаосе, как это случилось со многими талантливыми юношами.



ГЛАВА 5

ВЫКСА. 1916—1917

Мы начинаем учиться

Однажды в начале сентября 1915 года утром, сразу после завтрака и традиционного прощания с папой, мы с Сережей отправились вслед за мамой в нашу новую классную комнату, где была поставлена школьная парта, стол для мамы и классная доска. Это был наш первый день в школе. Здесь мама становилась строгой учительницей.

Сереже было только пять лет, однако мама считала, что ему пора привыкать к школьной жизни, и поэтому приехала его вместе со мной. Впрочем, учеба у нас шла совсем по-разному. Сережа по большей части рисовал или играл со всяким обучающим материалом, а я училась читать и писать. Буквы я уже знала, но читать училась медленно. Помню, мама говорила, что учила нас по системе Монтессори, и помню также длинные ряды отдельных элементов разных букв, которые я писала в тетради стальным пером, обмакивая его в чернила. Тетрадь была расчерчена горизонтальными и вертикальными линиями, которых надо было тщательно придерживаться, выводя толстые линии — нажим — вниз, и тонкие — волосные — вверх. Тогда же мама начала учить меня французскому языку, и я должна была выкладывать на парте из разноцветных букв двух разных алфавитов, вырезанных мамой из бумаги, французские и русские слова. Каждая буква имела свой цвет. (Может быть, именно поэтому я до сих пор представляю себе разные буквы окрашенными в разные цвета?) Как бы то ни было, обучение требовало внимания и сосредоточенности.

Звуки громкого марша на рояле означали, что папа вернулся с работы на обед. Мы бежали вниз к папе, радуясь окончанию томительного учения. Обед для всей семьи накрывали в столовой за длинным столом.

Фрейлейн Мари обедала с нами, и поскольку считалось невежливым разговаривать на непонятном ей языке, за столом полагалось говорить по-немецки (впрочем, мама и папа могли говорить и по-французски, особенно когда детям что-то понимать не полагалось). Маня прислуживала за столом, а фрейлейн Мари следила за нашим поведением. Разговор велся общий, так что и я и Сергей могли в нем участвовать. Лена была еще мала, она ела отдельно. Фрейлейн Мари немного огорчалась, что я не учусь читать и писать по-немецки, и предложила мне сделать рождественский подарок папе с мамой — научиться писать немецкими готическими буквами. По секрету от мамы я потратила много времени, исписав целую тетрадь упражнениями. Думаю, что мама этому подарку не обрадовалась, хотя очень меня благодарила и хвалила. Она, конечно, понимала, что я учу три разных алфавита сразу, почему и успехи в чтении достигались медленно.

В какой-то момент — примерно через год или около того — мне предстояло запомнить таблицу умножения. Это оказалось для меня и вовсе невозможным. Я сидела на чердаке часами, думая о чем угодно, только не о цифрах, которые казались мне бессмысленными. Наконец я запомнила таблицу квадратов, научилась умножать на пять и на девять и поняла, как высчитать всю остальную таблицу, прибавляя или вычитая из этих чисел, что я и делаю до сих пор. Как я завидовала Сереже, которому не надо было над всем этим мучиться!

Как-то раз мама сказала, что мне не сосчитать до миллиона. Восприняв это как вызов, я заявила, что смогу, и принялась считать на счетах. Я считала час за часом, почти не прерываясь на еду и игру. К концу второго дня я дошла до одиннадцати тысяч, сдалась и с тех пор всегда помню, как это много — миллион.

«МЕЧТА»

Папа был управляющим одного из местных заводов. Главный директор всех заводов Буйневич жил в соседнем селе. Он и его жена скоро поружились с моими родителями и часто к нам приезжали. Их единственный сын учился в кадетском училище в Москве, и благодаря этому мы больше знали о том, что происходит в центре.

Шел второй год войны. Немцы захватывали все больше и больше российской территории. У папы в кабинете на стене висела карта, где линия фронта отмечалась цветными булавками. Правительство призывало сдавать в пользу государства золотые вещи, и мама, бывшая, несмотря на всю ее борьбу против самодержавия, патриоткой, собрала и сдала все золото, кроме обручальных колец и нательных крестов. Единственная брошь, которую она оставила, — тонко выделанный золотой ангел с крылышками, стоящий на роге изобилия, полном винограда, — хранится сейчас у меня. Брошь эту маме привез из Италии ее отец, и художественная ее ценность, как мама чувствовала, была гораздо выше ценности золота.

Завод на Выксе по большей части работал на военные нужды. Сталь марок, обычно привозившихся из Германии, теперь надо было производить в России, и, как правило, она и требовалась в небольших количествах. Папа решил сделать специальную печь для производства такой стали. Обычно для этого использовались мартеновские печи или конверторы Бессемера. Мартеновская печь переплавляла твердые чушки и большое количество ржавого железного лома, чтобы соединить железо чушек с кислородом. Цикл производства длился обычно шесть—восемь часов, и каждая загрузка должна была быть большой. Для производства маленьких объемов специальных сортов стали использовался конвертор Бессемера, который надо было загружать расплавленными чушками, и цикл производства был очень коротким. Но здесь, чтобы точно определить момент выгрузки стали, оператор пользовался спектро스코пом. От оператора требовалось высокое умение, и, кроме того, требовалась особая воронка, чтобы загружать в конвертор расплавленный металл.

И вот отец придумал такую печь, которая могла производить особую сталь в малых объемах, используя твердые чушки. Цикл производства длился около двух часов, печь работала на сырой нефти или на угле и не требовала опытного оператора. Буйневич согласился, чтобы отец построил и опробовал ее.

Папа приносил домой образцы стали, сломанные на специальном опытном устройстве, определявшем их на прочность и твердость, и показывал нам, как разные марки по-разному выглядят на поверхности слома.

Весь дом переживал папину радость, когда что-то удавалось, и огорчение, когда что-то не ладилось. Сам папа был уверен, что печь его может производить любую сталь без ограничения. Назвал он свою печь «Мечтой». Своё имя он ей не хотел давать. Личная слава его не интересовала,

он знал, что изобретение его может послужить общей пользе. Он больше думал о далеких маленьких железнодорожных мастерских, раскиданных по всему огромному пространству России: им обычно приходилось подолгу ждать такую сталь, а с помощью папиной печи ее можно было производить прямо на месте. Много лет спустя в советских учебниках по железнодорожному оборудованию эта печь предлагалась к использованию под названием «печь типа “Мечта”».

В 1915 году это имело особое значение, потому что нехватка специальной стали стала приводить к упадку промышленности. Одну такую марку стали использовать для производства болтов, скрепляющих рельсы на русских железных дорогах. Пробная выплавка в мартеновской печи дала большое количество непригодного металла. Пробная выплавка в «Мечте» была успешной. Сталь получилась отличная, производство простое, а чушек для этого требовалось так мало, что на них мартеновская печь даже не заработала бы. И цена производства оказалась ниже. Несколько образцов этой стали, разломанной на специальном опытном устройстве, папа принес домой. Кристаллическая структура на разломе образовала явно видный крест. «Благословение Божье на работе вашей!» — сказала папе наша старая няня. Он так был тронут этими словами, что записал их в дневнике, а образец сохранил.

Потребность в подобном производстве была тогда столь велика, что отцу пришлось построить больший вариант своей печи. В конечном счете «Мечта» стала поставлять сталь нужных марок для всей страны.

Только тогда, когда заказы на «Мечту» стали поступать с других заводов, отец решил, что надо получить на нее патент. 5 декабря 1916 года — за два с половиной месяца до революции в Петрограде — он отправился в Муром подать заявку на изобретение.

Много лет спустя я нашла в папиных записках машинописный листок, датированный 1 января 1917 года:

Мистическое о мечте

При первом ее пуске в ход в 11 час. ночи 28 окт. плавка на чугун прошла неудачно (доктору опалили галошу). Содержимое пришлось вылить на землю. Специалисты упрекали качество переплавляемого чугуна, в нем-де и вся неудача. На другой день оказалось, что на землю вылит не чугун, а... мягкое железо. Я назвал Мечтой...

Я вообще не люблю изобретателей и изобретений, никогда не был знаком с приобретением патентов и не имел никакой по сему поводу литературы, ни сношений с патентными бюро. В начале ноября, решив брать патент и досадуя на отсутствие сведений для сего дела, совершенно неожиданно в почте получаю книжку о том, как брать патенты, адресованную на мое имя от неизвестного мне патентного бюро без всяких указаний...

19 ноября 1916 года я получил запрос о печи от незнакомого мне капитана 2 ранга Баранова, он ссылается на незнакомого мне механика — Демченко — после чего я и решил брать патент...

Мы решили ехать в Муром заявлять патент в субботу 5 дек. 1916 года. На листке календаря от 5 дек. я прочел

Мечта

Лети вперед, моя мечта, как вольный сокол, ты свободна и высока, и благородна, и неподкупна, и чиста.

Лети туда за грань веков, где мир иной, где люди — братья, где нет мертвящего проклятья и нет нужды и нет оков...

И если в горький час печали я буду плакать одинок — пусть мне блеснет из темной дали Твой животворный огонек.

И, воскресив былую веру, на муки новые готов, я гордо брошу вызов смелый в стан человечества зрагов....

Слова правды: В нас не силы мало, а воли. Многое мы называем невозможным лишь для того, чтобы найти оправдание нашему малодушию. 5 декабря по Брюсу ветер.

... я спрятал листок, храню его до сих пор

.....

На днях вот что пришло мне на ум: № охранительного свидетельства «Мечты»

6 8 1 6 8

если под цифры подставить буквы алфавита, то получается

Е З А Е З

странно... что бы это значило: все буквы — мне дорогие, напоминающие инициалы моего друга... все имеют отношение к моей фамилии... не понимаю

За всем рационализмом инженера у папы таилась сентиментальная жилка и определенная склонность к поэтическому символизму.

ПРИЕЗДЫ ГОСТЕЙ

Всю зиму 1915/1916 года папа был занят своим изобретением, а мама учила нас и преподавала в деревенской школе. В гости к нам приезжали петербургские родственники. Папина сестра, тетя Варя Лисовская, со своим сыном подростком Сашей гостили около месяца. Это было для меня внове — почувствовать себя не самым старшим ребенком в семье. Появился кто-то, на кого можно было смотреть снизу вверх, но не взрослый. Я Сашу, кажется, вовсе не интересовала. Он ездил с папой на завод, катался верхом на наших лошадях с седлом (что мне не разрешалось) и обычно старался держаться со взрослыми. Их отъезд мало что для меня значил, но благодаря их визиту Петербург, родной город моих родителей, стал теперь казаться ближе.

Вслед за ними приехала погостить другая папина сестра — тетя Катя. Обе ее дочери не смогли приехать, поскольку были заняты в Петербурге делами милосердия в связи с войной. Тетя Катя была стройной и грациозной, волосы у нее как-то непослушно вились — мне она казалась красавицей. Я сразу полюбила ее нежный голос, мягкое, ласковое обхождение с детьми и взрослыми, ее красивые платья и украшения. Она часто носила брошь, подаренную ей моим дедушкой, Павлом Брюлловым, с которым она была очень дружна, — миниатюрную золотую палитру с разными драгоценными камнями, как разными красками, на ней. Весь день тетя Катя работала — писала акварелью. Тогда-то она и нарисовала портрет Лены, который у Лены хранится до сих пор. Тетя Катя вечно искала свое пенсне, которое оказывалось у нее на носу, отчего дети страшно веселились.

Добрая и ласковая, тетя Катя сумела помочь нашему отцу в трудный для него момент. Отец был очень вспыльчив и в ходе испытания своего изобретения часто ссорился с Буйневичем, от которого полностью зависел в денежном отношении. Одна из этих ссор вылилась в большой скандал. Отец обычно никогда не держал зла и быстро все прощал, но на этот раз ссора длилась несколько дней. В конце концов как-то надо было мириться, и тетя Катя придумала, в какой форме папе надо извиниться: она нарисовала картинку с двумя дерущимися петухами — один толстый, с головой Буйневича, другой тощий, с головой нашего отца и свирепым выражением лица. Потом, когда ссора кончилась, оба они долго смея-

лись над картинкой. У меня сохранилась фотография только половины рисунка — петуха с папиной головой.

Тетя Катя, папина любимая сестра, была старше него на 14 лет. Она окончила Петербургскую академию художеств, училась живописи в Париже и в Риме, вышла замуж за известного архитектора Евгения Цезаревича Кавоса и жила в большом доме его же постройки на Каменноостровском проспекте. Дом Кавосов стал местом частых встреч таких известных художников, как Репин, Серов, Бенуа, Павел Брюллов, Лансере, писателей, поэтов, актеров, композиторов и музыкантов⁷. Сама она участвовала во многих выставках, писала портреты известных артистов. Некоторые из них находятся в разных музеях России. Невероятно активная в общественной жизни, она делала наброски в судах во время процессов, в Государственной думе во время заседаний, на концертах и в театрах, они печатались потом в иллюстрированных журналах. Имея левые взгляды, тетя Катя входила в Союз русских художников⁸, который собирался иногда у нее в доме. Во время революции 1905 года этот Союз поддерживал требования рабочих. В воспоминаниях ее сестры Зои, хранящихся в Российском государственном архиве литературы и искусства, я прочла, что однажды тетя Катя прятала у себя на даче в Финляндии Розу Люксембург, а Максим Горький приезжал туда, чтобы повидаться с Розой. Тетя Катя обеспечивала существование мастерской для художников, не имевших своих мастерских; там давали уроки тем, кто не мог поступить в академию. Для сбора денег на эту мастерскую она устраивала многочисленные выставки, лотереи и ярмарки, на которые многие ее знакомые художники давали свои работы. Еще она посещала тюрьмы, где писала портреты политических заключенных.

Со своей семьей тетя Катя поддерживала тесную связь, в том числе с моим отцом во всех его заключениях и с братом Сергеем во время его ссылки в Сибирь и потом, когда он жил в Новгороде и в Крыму. Она поистине была ангелом-хранителем семьи. До своей женитьбы папа часто бывал в доме у Кавосов; после смерти родителей дом сестры стал для него почти родным домом. Я уже упоминала, что именно к мужу тети Кати папа обращался за советом и за помощью, когда искал новую работу, и всегда их получал. И именно тетя Катя привезла его к себе и выхаживала после событий в Надеждинском Заводе. Будучи самым младшим среди восьми братьев и сестер, отец относился к своим четырем племянникам,

детям Кавосов, как к младшим брату и сестрам. Служа во флоте, он, когда мог, брал своих племянников на судно, показывал им его и учил залезать на мачту. Его матросы сшили для них морскую форму.

Тетя Катя прогостила у нас два месяца и вернулась в Петербург к своим занятиям, связанным с делами милосердия.

Поездка в Москву

Зимой 1915/1916 года Сережа заболел ангиной и пролежал долгое время в постели. Для своих лет он был слишком слабым, и местный доктор сказал, что ему надо удалить миндалины. Условий для такой операции на Выксе не было, и мама решила, как только потеплеет, отвезти его в Москву. Сережа требовал, чтобы я поехала вместе с ними; мама, которая не собиралась меня брать, отказывалась, а мне это было довольно-таки безразлично. Я готова была остаться дома, но в самый последний момент, когда все уже было упаковано, Сережа расплакался и плакал так горько, что мама сдалась. Мои вещи спешно упаковали, и мы отправились. Коляска должна была довезти нас до железнодорожной станции в Муроме в тридцати верстах от нас.

Дорога тянулась долго, и мама, как обычно, рассказывала нам разные истории, чтобы мы не скучали. Некоторые она придумывала сама, и мы их любили больше, чем прочитанные. Одну из них я запомнила надолго.

«Жил однажды бедный мальчик. Семья его была так бедна, что ему приходилось работать, чтобы помочь отцу прокормить остальных. Он был очень добрый, помогал своим братьям и сестрам в их работе по дому, всегда был готов каждого утешить, делился всем, что у него было, даже самым малым куском.

И вот однажды тащил он кучу сухих веток, чтобы развести огонь в очаге, утомился, сел и заснул, а проснувшись, увидел перед собой странного человека, который сказал ему: “Хочешь стать богатым? Я дам тебе все, что захочешь — большой прекрасный дом для твоей семьи, красивую одежду, вкусную еду, и тебе вообще не придется работать”. Мальчик изумился и спросил: “Почему ты мне все это даешь? Как я тебе отплачу?” — “Очень просто, — сказал человек. — Мне нужно только твое

сердце. Я дам тебе взамен прекрасное алмазное сердце, и ты совсем не заметишь разницы”. “Я стольким людям смогу помочь, имея такое богатство! — подумал мальчик. — Вот будут счастливы мои отец и мать, им не придется тяжело работать и у них будет все, что нужно. А мои младшие братья и сестры! Вот здорово будет, когда они смогут нарядиться в красивые платья и вкусно поесть! Мне же нетрудно отдать сердце этому человеку, а как будут рады все вокруг!” И согласился. А человек взял его сердце и дал ему взамен алмазное.

И тут же появился перед ним прекрасный дом, послышалась музыка, из дома вышли слуги, приветствуя его. Они несли прекрасные одежды и роскошные яства. И мальчик зажил в довольстве, и все, чего он только желал, ему сразу же приносили. И пришел к нему его отец и попросил о помощи, а мальчик отказал ему: “С чего это я стану для тебя что-нибудь делать, старик? Мне все нужно самому, не желаю я видеть твоих чумазых мальчишек и девчонок в моем прекрасном доме! Уходи прочь!”

Так он и жил. Все у него было, но никто его теперь не любил и он не был счастлив».

Мамина сказка на этом не кончалась, она продолжалась дальше, и все кончалось хорошо, когда мальчик отдал назад свое алмазное сердце и получил опять свое настоящее. Он потерял все свои красивые вещи и вернулся в свою бедную семью, опять стал добрым, и все они жили счастливо. Сказка эта меня очень трогала.

В Муроме мы сели на поезд со всем нашим багажом. В купе мама скоро уложила нас спать, а на следующее утро мы с Сережей прилипли к окну. Поезд, постукивая, шел по широкой равнине, мимо проплывали деревни, поля, реки, леса... «Смотрите, Москва!» — вдруг сказала мама, и мы увидели вдалеке золотые купола с крестами, ярко горевшие на солнце. Домов еще не было видно, и казалось, что город состоит из одних церквей.

Я помню прогулки по Кремлю и Царь-колокол на каменном постаменте, а рядом с ним отколотый кусок. Дыра в колоколе была похожа на витрину, и мне все думалось, почему из него не сделают магазин или будку для справочного бюро.

На обратном пути кучер встретил нас в Муроме. Дорогу развезло, и коляска с задернутыми занавесками была так залеплена грязью, что мы даже не могли носа высунуть наружу. Я была счастлива наконец оказаться дома.

НАВОДНЕНИЕ, КОТОРОГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ

Однажды утром к нам в классную комнату вошла перепуганная Маня и позвала маму. Мама вышла, тут же вернулась и велела нам быстро идти вниз, надеть пальто и выходить из дома вместе со взрослыми. Папа был на заводе, и связаться с ним было невозможно. Оказалось, до Мани дошли слухи: весенним половодьем снесло основную плотину на реке выше по течению, и весь город скоро будет затоплен. Старики на Выксе еще помнили страшное наводнение 1881 года, когда рухнула основная плотина и на селение обрушилась огромная волна, смывшая все постройки, даже заводские здания, и унесшая много жизней.

Вместе с мамой, Маней, фрейлейн Мари и няней, которая несла маленькую Таню, мы вышли из ворот колонии и двинулись к единственному в окрестности высокому холму. Вместе с нами шла толпа народу. Все были молчаливы и встревожены. Некоторые вели на веревке ягнят, овец, телят, толкали тачки. Дети шли притихшие.

Наступила полночь, разделили еду, поели. Никаких признаков наводнения не было, даже на горизонте. Люди потянулись обратно в деревню. Наконец пришел от папы посыльный сказать нам, чтобы мы возвращались и перестали беспокоиться.

А случилось вот что: читая в газетах пугающие военные известия, люди часто воображали, что цензура скрывает от них что-нибудь еще более страшное. Поэтому телефонные операторы, подслушивающие разговоры, служили ценным источником информации. В этот раз оператор услышал, как инженеры говорили о необходимости следить за дамбой, понял все по-своему, кому-то сказал — и пошли слухи. Никто этих слухов не проверил, и они разнеслись, как лесной пожар.

РОЖДЕНИЕ ЗОИ

В день маминых именин 21 мая папа засыпал весь стол в столовой белой сиренью. На обед мы ели первый урожай белой спаржи, выращенной по маминым указаниям в парниках, закрытых от света мешковиной. Не знаю, предчувствовали ли мои родители те катастрофические события, которым суждено было вскоре разразиться, но мама опять ждала ребенка — по плану, то есть через два года, потому что, говорил папа, меньше, чем два, трудно для мамы, а больше двух — плохо для детей. Мои родители собирались иметь двенадцать детей.

Мама никогда не забывала, как горько жилось без родительской нежности и заботы в ее собственном детстве и как много было всего этого в детстве у папы. Мечтая дать нам то, чего была лишена сама, она думала, что здесь, в глуши, вдали от больших городов, но не теряя связи с родными, приезжавшими в гости, можно на какое-то время создать счастливый дом для детей. После войны мама собиралась перевезти нас обратно в город. Занимаясь нами, она в то же время не хотела оставлять своей деятельности, как она считала, во имя счастливого будущего всех детей страны, то есть продолжала и работать в школе, и учить нас дома. Так в 1916 году мы провели еще одно счастливое лето. Гостей уже стало меньше, но течения нашей жизни это не нарушало. Своими тревогами, связанными с войной, взрослые с нами не делились.

С осени мы с Сережей опять стали заниматься с мамой.

Мы с Сережей играли в шахматы. Он всегда ужасно расстраивался, когда проигрывал. Я считала свой выигрыш справедливым, потому что мне было уже почти восемь, а ему только шесть, но Сережа был хорошим бойцом. Каждый раз, проиграв, он хватал доску и швырял все фигуры на пол, и мне приходилось их подбирать, потому что он отказывался это делать. Через какое-то время я с ним играть в шахматы перестала, и тогда мы стали спорить о политике. Я утверждала, что я социалистка, а он заявил, что монархист. Дело доходило чуть ли не до драки. Я просто не могла понять, как кто-то мог быть монархистом — ведь так несправедливо, когда у одного есть власть над всеми! Но Сережа именно этим и был зачарован — он даже на конституционную монархию не соглашался, только абсолютная!

Мы затеяли игру, которая занимала нас несколько месяцев, — придумывать общую историю. У каждого был свой герой, про которого можно было рассказывать что угодно — что он совершал, думал, чувствовал и пытался делать по отношению к герою другого. Нельзя было придумывать, что с тем происходило, — об этом должен был рассказывать хозяин другого. Например, мой герой мог ранить Сережиного, но рассказывать, как тот страдал от раны и была ли она смертельной или нет, должен был Сережа. Разreshалось вводить сколько угодно других персонажей, тогда рассказ становился очень сложным и длился несколько дней. Конец рассказу наступил, когда мы узнали про то, что есть такие маленькие вещи, как бактерии, вирусы и атомы, и такие огромные, как Солнечная система и космос. Я сделала своего героя таким маленьким, что Сережин не мог его видеть или почувствовать, теперь мой герой мог делать все, что

ему вздумается. Сережин герой не мог с моим сражаться, и игра потеряла смысл.

В ноябре 1916 года, как обычно, приехала Бабушка, чтобы побыть с мамой перед рождением ребенка. Мама очень располнела и старалась ходить, чтобы сбросить вес, но безуспешно.

Зоя родилась 30 ноября 1916 года. Опять девочка! Назвали ее в честь папиной мамы.

Шел третий год войны. Устаревшая государственная система трещала... В стране росло недовольство, усиливались забастовки на заводах и дезертирство с фронта.

Почему отец решил уехать с Выксы, я поняла только сейчас, когда мне довелось прочесть изданную в 1967 году книгу о Выксинском заводе*. Завод имел массу проблем: перевозка по реке готовой продукции и необходимой для производства нефти была жестко привязана к определенному времени года, потому что река зимой замерзала; оборудование, особенно в шахтах, безнадежно устарело, что постоянно приводило к производственным травмам. Сам факт, что владельцами завода являлись немцы, заставлял посредников относиться к предприятию с подозрением. В начале 1916 года начались переговоры о продаже завода, кончившиеся неудачей. Наконец в феврале 1917 года заводы перешли в ведение Управления железных дорог Министерства путей сообщения.

Папу попросили взять на себя управление большим и очень важным заводом в городе Белорецке на Урале. Завод остался без директора, так что для отца это открывало перспективы по службе и в то же время означало выполнение патриотического долга во время войны. Завод был также заинтересован в установке одной-двух печей «Мечта» для выполнения военных заказов. 26 февраля 1917 года — в день начала революции — папа уехал в Белорецк.

РЕВОЛЮЦИЯ

До нашей спокойной провинции радостная весть о Февральской революции докатилась через несколько дней после ее начала. К этому времени папа уже уехал в Белорецк. Я знала, что мама была среди ораторов,

*Славная история: Очерки по истории Выксинского металлургического завода. Горький, 1967.

говоривших речи с наскооро сколоченной трибуны, покрытой красным полотнищем. Выступала она и как директор рабочей школы. Я уверена, что симпатии ее принадлежали социалистам, но не радикальным. Говорили, что она была вдохновенным оратором. Папино восхищение и любовь к маме, наверное, передались и мне — она была моей героиней.

Хотя мне уже исполнилось восемь лет, родители редко говорили со мной о политике. Я знала, что мама приветствовала весть о революции и была полна надежд, что отмена самодержавия станет первым шагом к созданию более справедливого общества. Она считала, что повальное пьянство в народе поддерживается тем, что сами власти не только производят водку, но и ведут всю торговлю ею, получая высокую прибыль. Она боролась с пьянством как могла и тратила много сил на организацию рабочих школ и работу в различных комитетах.

Первой вестью о революционном насилии и жертвах стала трагическая телеграмма, полученная Буйневичами, — их единственный сын погиб во время вооруженного восстания в Москве среди других юнкеров. Стали до нас доходить и другие известия о жестоких столкновениях. Рассказывали об офицерах, с которых срывали знаки отличия и даже забивали до смерти камнями. Многие помещики были убиты, дома разграблены и сожжены. Идеи свободы воспринимались разными людьми по-разному.

Страны-союзницы быстро признали Временное правительство. В начале марта донеслась радостная весть — вышел декрет, отменяющий смертную казнь. Я помню, как сильно мои родители, а особенно дядя Саша, ратовали за отмену смертной казни.

Выксинский завод при новом управляющем продолжал активно работать и выплавлять сталь, в основном для военных нужд. Установили приемлемую продолжительность рабочего дня, и стачек не предвиделось.

Отъезд из Выксы

Вскоре мы должны были уехать с Выксы вслед за папой.

Ученики маминой вечерней школы собрались, чтобы проводить ее, и подарили большую общую тетрадь с металлической пластинкой, на которой было выгравировано: «От благодарных слушателей курсов Выксинского отделения Общества по распространению народного образования Нижегородской губернии».

Тетрадь эта позднее пропала, но пластинку я храню до сих пор.

Переезд был, конечно, труден. Папа и мама решили, что ехать по реке для семьи будет безопаснее. Транспорт и так был перегружен, а теперь еще с фронта массой шли дезертиры, которые часто силой занимали места в поездах и на пароходах. Только что созданная, еще бессильная, новая милиция справиться с ними не могла.

Представляю, какая монументальная работа предстояла взрослым по упаковыванию всех наших вещей. Плотники сколачивали огромные ящики для картин, посуды, постельного белья и одежды. Много мебели пришлось оставить.

В один из апрельских дней 1917 года, спустя лишь два месяца после революции и вскоре после начала весенней навигации, мы все отправились в путь — пять детей (я, восьми с половиной лет, Сережа, почти семилетний, Лена, четырех с половиной лет, двухлетняя Таня и четырехмесячная Зоя), мама, Маня, няня и фрейлейн Мари. Мы добрались до Мурома и сели там на пароход, идущий по Оке.

Фрейлейн Мари с нами всегда говорила по-немецки, и мы опасались, что ее арестуют, поскольку всех немцев во время войны интернировали. Однако страхи наши были напрасными. Всем на удивление, оказалось, что она вполне сносно говорит по-русски.



ГЛАВА 6

УРАЛ

По дороге

В Нижнем Новгороде мы пересели на большой пароход, который ходил по Волге. Стояла весна, река разлилась, вышла из берегов и затопила все окрестные поля. Считалось, что это очень хорошо для будущего весеннего сева. Для нас разлившаяся река была чем-то невероятным: по обеим сторонам корабля земли не было видно! Пароход осторожно продвигался по руслу реки, а нам казалось, что мы плывем по морю.

Через несколько дней пароход доплыл до устья Камы и поплыл по ней вверх. Берега стали ближе, и были хорошо видны холмы, леса и редкие деревни. С Камы пароход повернул на реку Белую и в конце концов дошел до Уфы, где папа встретил нас.

Теперь наш путь лежал к Уральским горам по железной дороге. Поезд наполовину состоял из товарных вагонов, с которыми нам пришлось так близко познакомиться потом, а наполовину из обыкновенных пассажирских вагонов. В один из них мы все и сели.

Очень скоро начались горы. Мы раньше никогда не видели гор и смотрели на них как зачарованные. Довольно быстро доехали до маленькой станции Вязовая, где надо было выгрузиться в страшной спешке — поезд останавливался совсем ненадолго. Отсюда в Белорецк шла узкоколейка. Поезд на узкоколейке был гораздо меньше, с маленькими вагонами. Трясись и грохоча, мы проехали еще 150 верст и наконец приехали в Белорецк.

БЕЛОРЕЦК

Белорецк — заводской город. Здесь был сталелитейный завод, для которого руда добывалась на близлежащей горе Магнитной, знаменитом месторождении железа. Говорили, что у человека, залезшего на гору,

останавливались часы — такое сильное там было магнитное поле. Теперь поблизости от этого места вырос большой индустриальный город Магнитогорск.

Дом наш тут был меньше, чем на Выксе. При нем имелись сад и конюшня. Дом стоял на высоком берегу реки Белой, той самой, по которой мы плыли в Уфу. Здесь река была уже и мельче, и плыть по ней можно было только на лодке. Сверху было видно, что берега и дно реки покрыты мелкими камешками. Спуска к реке от дома не было.

С самого начала отец занялся сооружением пристройки к дому со стороны реки, отчего гостиная стала больше, с окном во всю стену, откуда открывался вид на реку. Нам нравилось ходить по недостроенной комнате, пахнувшей свежим деревом, и смотреть через огромное окно на реку, где местные мальчишки ловили раков. До нашего приезда они ловили их просто так, для развлечения, но, обнаружив, что мы их едим, стали приносить раков целыми ведрами и смеялись, потому что для них это было что-то совсем несъедобное.

Жизнь понемногу устраивалась, но шла она уже не так легко и удобно, как на Выксе. У нас не было отдельной классной комнаты, и сад был совсем не такой уютный, как там. Кроме того, Маня и няня были заняты гораздо больше, пока не приехала Зуза со своим мужем, которого папе удалось перевести на работу в Белорецк. Они поселились по соседству, но теперь Зуза ждала ребенка и уже не могла столько времени проводить у нас в доме.

Наш кузен Женя Кавос тоже переехал в Белорецк. У них с женой Верочкой рос сын Бум. Поселились они недалеко от нас, и я часто к ним ходила. Мама стала работать в местной вечерней школе.

Настроение в городе было беспокойное. Среди рабочих было около сотни большевиков, выступавших против Временного правительства, отец же работал в согласии с теперешними властями. Рабочие часто собирались по вечерам на митинги, где выдвигали требования, неприемлемые для администрации.

В июле из столицы пришли еще более тревожные новости. Попытки Временного правительства продолжать войну с Германией наталкивались на общую усталость от войны. Армия быстро теряла дисциплину под воздействием большевистской агитации. Дезертирство усиливалось, транспорт был в беспорядке, в городах стало не хватать еды. В Петрограде происходили массовые демонстрации, некоторые из большевистских лиде-

ров были арестованы. Во главе Временного правительства стал Керенский. Александр Зарудный — наш дядя Саша — занял пост министра юстиции.

События, происходившие в столичных городах, эхом докатывались до Урала. Помню, как мама однажды критически отозвалась о Керенском. Я была потрясена: я считала, что все люди в новом, революционном правительстве — великие герои. «Ты что же, думаешь, ты смогла бы лучше сделать, чем Керенский?» — спросила я маму. Помолчав немного, она серьезно сказала: «Да, могла бы лучше», что меня совершенно поразило.

В Америке русскую революцию горячо приветствовали. Война теперь обрела смысл, как средство «сохранить мир для демократии». В апреле 1917 года Америка объявила Германии войну.

Стремясь удержать Россию в состоянии войны, президент Вильсон в июне отправил специальную комиссию в Петроград через Владивосток и Транссибирскую магистраль, которая составила вполне оптимистический отчет. Лишь один член комиссии был далек от оптимизма — он пробыл в России дольше других и пришел к мнению, что Россию уже ничто не спасет. Это был Чарльз Крейн — промышленник, либерал и русофил. Тот самый Чарльз Крейн, что позднее сыграл важную роль в истории нашей семьи.

Приближались выборы в Учредительное собрание, назначенные на ноябрь. Мама принимала активное участие в избирательной кампании, агитировала рабочих принять участие в голосовании. Партия эсеров, которой мама сочувствовала, имела сильную поддержку среди крестьян благодаря своей программе раздела земли. Их лозунги были «Землю трудящимся!» и «Всеобщее, равное, прямое и тайное голосование». Однако здесь, в Белорецке, население в основном состояло из заводских рабочих, среди которых более популярны были большевики, выступавшие за «диктатуру пролетариата» и обобществление земли. Мои родители, похоже, оказались на «неприятельской территории».

Как-то утром, проснувшись, мы застали весь дом в тревоге и напряжении. Папы не было дома, он вернулся к полудню, расстроенный и усталый. Оказалось, что среди ночи его срочно вызвали на завод — произошел взрыв доменной печи, погибло много рабочих. Мастер цеха был страшно избит, и отец ходил навестить его в больнице.

Потом мы узнали, что забастовали рабочие, работавшие на этой печи. Все объяснения администрации, что нельзя сразу прекратить топить доменную печь, поскольку ей надо дать остыть, были бесполезны. Печь

взорвалась. Бастующие рабочие, обе смены, по шесть человек в каждой, демонстративно бродили в этот момент около печи. Все двенадцать попали под град раскаленных кирпичей и горячей расплавленной руды. Все двенадцать погибли.

Весь город был в трауре. Состоялись массовые похороны и панихиды в церквях. Отец на всех присутствовал. Рабочие все еще не понимали, что взрыв случился как неизбежное следствие того, что остановили загрузку печи топливом. Опять начались митинги и переговоры с рабочими. Отец почти не приходил домой.

Рабочие были настроены воинственно, а большевики, старавшиеся настроить их против администрации, хорошо понимали, что жертвы только увеличивают недовольство, и подстрекали к новым забастовкам. При этом доменная печь опять заработала, потому что все производство зависело от выплавки чугунных чушек, а продукция завода была необходима, так как шла на военные нужды — война еще продолжалась. Несмотря на все предупреждения, можно было ждать повторной забастовки с неизбежным новым взрывом.

В середине дня завывли гудки — жуткий, убийственный звук, — и стало ясно, что спять что-то случилось. Мимо нашего дома к заводу бежали люди. Мы стояли на пороге, стараясь понять, что стряслось. Мама стояла тут же, бледная и встревоженная, в смертельном страхе за отца, который тоже был на заводе.

Уже в сумерках отец вернулся домой. Сказал, что печь взорвалась опять и опять вся смена — шесть человек — погибла. Рабочие из других цехов, вновь подстрекаемые агитаторами, ворвались в контору администрации и избили главного инженера. Сейчас он в больнице.

Снова похороны. Подавленное, зловещее настроение. Чтобы успокоить рабочих, были сформированы комитеты и прошли митинги. Печь починили, и она опять стала работать.

ОКТАБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Октябрьская революция, в ходе которой к власти пришли большевики, началась 25 октября 1917 года. Но все-таки сохранялась надежда, что Учредительное собрание примет конституцию и в России появится всенародно избранная власть.

Из Петрограда пришли вести, что 15 ноября умерла тети Катя. Известия о голоде настолько подействовали на нее, что она уморила себя голодом, будучи «не в состоянии есть, когда так много людей голодает». Помню заупокойную службу в церкви: бледный Женя, печальные лица мамы и отца.

Вскоре после этого заболел Женя. Говорили, что это тиф, хотя, наверное, это был полиомиелит. Женя справился с болезнью, но у него отнялись ноги, и всю оставшуюся жизнь он ходил на костылях.

Мой девятый день рождения и Рождество прошли в атмосфере далеко не праздничной, хотя мама с папой старались развлечь детей и зажгли для нас елку. Казалось, что-то ужасное надвигается, но никто не знал что.

И я ясно помню чувство безысходности, когда жуткий вой сирены раздался в Белорецке в третий раз — печь снова взорвалась, опять из-за забастовки. В городе началась паника. Мама ужасно боялась, что на этот раз пострадает отец. К счастью, опыт предыдущих взрывов чему-то научил людей, и около печи никого не было, поэтому никто не погиб, хотя некоторые серьезно обгорели. Но даже облегчение от вести, что все живы, не могло развеять чувства обреченности.

На всю жизнь я запомнила, как по улице мчался забинтованный с головы до ног человек. Он, видимо, страдал от невыносимой боли и сбежал из госпиталя. Бинты развевались за ним на бегу.

Выборы в Учредительное собрание прошли в декабре. Оно открылось в Петрограде 5 января 1918 года. Большинство составляли не большевики, а члены других партий, поэтому Собрание на следующий день было разогнано. Законно избранные депутаты вернулись домой и образовали очаги оппозиции по всей стране.

В Белорецке большевики теперь имели поддержку из центра и начали забирать власть в свои руки и в городе, и на заводе. Руководил ими старый революционер П.В. Точисский. К февралю они уже целиком контролировали город и шаг за шагом приближались к полному контролю над заводами.

Ночью 17 февраля 1918 года к нам домой пришло несколько человек. Они обыскали весь дом, вытаскивали ящики стола, шарили в шкафах, рылись в бумагах. Проснувшиеся от шума дети перепуганно смотрели, как эти люди арестовали и увели маму и отца.

На следующий день Маня узнала, что мама и папа отправлены в уфимскую тюрьму. Весь дом остался на Мане. Друзья наших родителей стара-

лись помочь ей советами. Ей ведь было всего двадцать три года, и раньше она никогда ничем не распоряжалась. Няня хорошо справлялась с кухней и с маленькой Зоей, но она была неграмотна и от нее было мало помощи в более сложных вещах. Фрейлейн Мари вышла замуж за чешского офицера и уехала с ним из Белорецка. Зуза, кухарка, только что родив ребенка, тяжело болела после родов. Женя и Верочка старались изо всех сил, но Женя был парализован, у Верочки на руках маленький ребенок и беспомощный муж, да и, кроме того, Верочка отнюдь не была активным или ответственным человеком — в трудных ситуациях она всегда опиралась на маму. В довершение всего младшие дети заболели коклюшем, и няня просто сбивалась с ног.

Следующие два месяца мы прожили в том же самом доме. Маня и няня старались поддерживать обычную повседневную жизнь.

18 марта 1918 года в городе была установлена советская власть.

Маня не знала, что делать. Сообщения со столицей почти не было. Я уверена, что она пыталась писать нашим дядям и тетям, которые и сами были беспомощны в Петербурге среди вихря арестов и смены правительств.

Новое советское правительство 3 марта 1918 года заключило односторонний мир с Германией. Этот мир означал для России потерю большой части ее территории. В стране началась Гражданская война.

Мы были отрезаны от мира в маленьком городке, от которого до магистральной надо было ехать по узкоколейке, да и та была в ведении местных властей, и поезда ходили от случая к случаю.

В марте пришла весть о смерти Жениного отца. Опять панихида, на этот раз без мамы и папы. Женя на костылях, и по лицу его текут слезы. Я потрясена — не знала, что мужчины могут плакать! Женина печаль так меня захватила, что я ни о чем больше не могла думать. Я писала ему многочисленные записки. Сейчас, когда ни мамы, ни папы, ни даже фрейлейн Мари не было, я чувствовала себя одиноко и целиком жила этим чувством к Жене. Я убегала из дому и потихоньку от всех бежала к ним и из-за двери слушала целый час, как он играет на скрипке, а Маня в это время с ума сходила, разыскивая меня. Это было чувство, очень близкое к влюбленности, какое бывает у девятилетних детей.

Женя, наверное, тоже был тяжело подавлен: за один год он потерял и мать и отца. Мои родители — его покровители и советчики — были арестованы, он сам превратился в инвалида и не мог помочь жене и маленькому сыну. В довершение всего он узнал, что три его старшие сес-

тры вынуждены были бежать из Петербурга, ничего не взяв с собой, и сейчас жили беспомощными изгнанниками в эстонском городе Ревеле.

Аресты в городе продолжались. Ходили слухи, что Точисский, ставший полновластным хозяином над жизнями людей в городе, теперь предпочитал допрашивать арестованных самолично, а не отправлять их в Уфу, а потом сам же и расстреливал у себя в подвале. Какое счастье, что маму и папу арестовали еще до того. Точисского убили во время восстания в июле (и говорили, что его жена и дочь отказались забрать его тело для погребения).

Мама и отец ехали от Белорецка до уфимской тюрьмы с 18 февраля до 3 марта. Позднее, уже освободившись, отец записал в дневнике, как они прибыли в тюремную камеру: «Когда 3 марта н[ового] ст[иля] часов в 7 вечера нас 6—9 человек привели в камеру номер 6 — то камера была уже раньше полна, сиречь все 22 койки были заняты. Мне уступили складную кровать в конце стола, а все остальные ночевали на полу. Нас угостили вкусным чаем с закусками, послушали наши рассказы и в 11 часов заставили замолчать и заснуть. — В камере была весьма интересная и разнообразная компания интеллигентных людей в рубашках с расстегнутыми воротниками, ибо было жарко. Пили чай, который нагревался тут же на железной печке, дающей сильный жар. Ночью же становилось холодно, и я, впервые тепло накрывшись, почувствовал холод снизу, — так сказать из матраса, который заменялся тонким холстом раздвижной кровати. Пришлось подложить под простыню брюки и пр., чтобы немножко загородиться от холода снизу. — Я пришел в камеру несколько позже других, и очевидно о моем приходе уже все были осведомлены. Меня встретил, представившись, инженер Гаврилов Александр Алексеевич, секретарь Торгово-промышленного союза и городской электрический инженер — он же начал меня знакомить со всеми жителями камеры: горный инженер Николай Владимирович Коншин (брат управляющего Государственным банком) — Председатель Торгово-промышленного Союза, адвокат Полидоров, три директора банка: Государственного — Александров, Крестьянского — Снигирев и Торгового — Торчинский; чиновники банков саботажники Журавлев Михаил Мефодьевич — очень веселый рассказчик про военные дела и «мотивировки», Лебедев, Хрустальков Михаил Григорьевич — дал мне матрац одеяло и подушку, Рубинштейн, Шлаков, Беляев Ал. Иванович, крестьянин, богатый, Прокопьев Алексей Кирилло-

вич, его дочь, мадонну революции, защищал Саша в 1906 г., купец Катаев, Иван Иванович Покровский ярый с[оциалист]-р[еволюционер] центра, бывший председатель земельного комитета».

Продолжение написано позже: «Остальных не помню. Была по соседству еще камера 17, наполненная уфимцами. Впоследствии их присоединили к нашей 6-й камере. Там были, между прочим, молодой гимназист Молле — сын очень богатых родителей, имеющих один из лучших домов в Уфе. Затем очень симпатичный спичечный фабрикант Дудоров, очень много впоследствии помогавший нашим белорецким провизией. Купцы Веденеевы, Кузнецов. Наша камера посвежела, поменяла свой состав: добавился граф Петр Петрович Толстой, редактор “Уфимской жизни” (потом “День”), бывший член 1-й Государственной думы, кадет. Очень милый и интеллигентный человек. Мы познакомились и с его женой. Он занимался изучением английского языка по прекрасному самоучителю, составленному, по-видимому, немцами. Достиг успеха».

И мама и отец были в своих камерах старшими — если не по возрасту, то по положению, — соответственно они должны были оказывать и моральную и финансовую поддержку своим сокамерникам. Папа об этом прямо не пишет, но это видно из надписей на обороте подаренных ему фотокарточек.

В дневнике он рисует камеру, двор, план тюрьмы и пишет: «Вот теперь последняя попытка вести дневник или хотя бы даже записать краткий период жизни, который для потомства не будет лишен интереса, ибо совпадает с революцией». Но записи его разрозненны. Он много читает, все по-французски и про Французскую революцию, переписывает в дневник длинные отрывки из прочитанных книг, очевидно те, что привлекли его внимание сходством с его собственным опытом. Здесь же французские стихи — монологи жертв революции, их возвышенные мысли.

Папу и маму выпустили 1 апреля 1918 года — раньше, чем многих других арестованных. Большинство остальных отпустили в середине мая после короткого суда. Они снялись все вместе в студии уфимского фотографа.

В Уфе отец случайно встретил Иосифа Борисовича Ротмана, того самого человека, семью которого он провожал на поезд, помогая им бежать от погрома в Надеждинском Заводе. Ротман предложил сдать нашей семье три комнаты в своей квартире.

О возвращении отца в Белорецк не могло быть и речи. Мане пришло письмо, что надо собирать всю оставшуюся семью и имущество и всем ехать в Уфу.

Можно представить, какая немыслимая задача встала перед двадцатитрехлетней Маней. Шансов, что нам доведется вернуться в Белорецк, почти не было. Ей предстояло решить, что брать с собой и что оставить. Мебель, конечно, оставили. Мелкие вещи упаковали в сундуки и чемоданы. Но картины в тяжелых рамах? Маня не могла решиться вырезать их из рам. Все картины остались в Белорецке. Я много раз задавала себе вопрос — что с ними случилось? Попали ли они в музей, или просто погибли, или их присвоили какие-то жители?

Была еще одна трудность — как получить разрешение на выезд из Белорецка? Эту беду удалось обойти, наметив день отъезда на то время, когда страшного Точисского не было в городе. И в конце концов 1 мая в четверг на Святой неделе Маня, няня и пять детей с горой вещей погрузились в вагончик узкоколейки, попрощавшись с Женей, Верочкой и друзьями, пришедшими проводить нас на станцию. Несколько часов спустя мы доехали до магистрали. Нам помогли выгрузиться, и осталось дожидаться поезда до Уфы.

Железнодорожный транспорт был в ужасном состоянии. Пассажирских поездов вообще не было. В конце концов Мане разрешили сесть с нами в вагон, из которого только что выгрузили уголь. Стены, пол и потолок вагона были черные от угольной пыли. Маня распорядилась поставить всю гору вещей в середине вагона, посадила детей сверху и велела сидеть смирно, не касаясь стен. Няня смотрела за маленькими, держа грудную Зою на руках.

Так мы ехали почти целый день. На вокзале в Уфе папа и мама встретили своих сильно почерневших детей. Как радостно было, что долгая страшная разлука наконец позади.



ГЛАВА 7

МЫ ДВИГАЕМСЯ ВМЕСТЕ С ФРОНТОМ

Одним из следствий одностороннего мира с Германией была проблема с чехами. Чехия входила в состав Австро-Венгрии, союзницы Германии. Многие призванные в армию и отправленные на русский фронт чехи предпочли не сражаться, а сдаться в плен. Из них Временное правительство сформировало армию — хорошо вооруженную и высокодисциплинированную. Стремясь к освобождению своей родины и желая продолжать войну на стороне союзников, они смогли добиться статуса Армии союзных войск и поступить в распоряжение Франции. Советские власти предложили им — поскольку попасть на европейский фронт они не могли — добраться по Транссибирской магистрали до Владивостока, где союзники переправят их в Европу. Однако коммунисты на местах отнюдь не всегда соглашались с центром и распоряжения не выполняли. Часть чехов доехала до Владивостока, а остальные, примерно 40 тысяч человек, были рассеяны вдоль всей дороги. Стремясь соединиться со своими, чехи неизбежно вступали в конфликты с Красной армией, а там, где это случалось, к ним присоединялись армейские подразделения, настроенные против большевиков. Так чехи против своей воли оказались втянутыми в Гражданскую войну на стороне белых.

Уфа, находившаяся в руках большевиков, была как раз на пути чешских частей, двигавшихся на восток.

Запись в папином дневнике 28 апреля 1918 года: «Положение стужается в связи с чехословаками: вчера ночью в 1½ увели из тюрьмы всех уфимцев и чехов, арестованных в последнее время: “Один в белой фуражке (Толстой) шел бодро, другие парами под ручку” — это впечатление видевших их жен, которые устроили дежурство в ожидании их отправки. Говорят, 120 человек. Куда? Их считают заложниками».

Стало ясно, что красные собираются оставить город и уходить по реке; чехов и других заключенных они взяли в заложники, погрузив в трюм. Все

это, конечно, при детях не обсуждалось. Я так привыкла, что родители переходят на французский или вообще прекращают при нас свои разговоры, что даже и не пыталась выяснять у них, что происходит. Но Маня и няня — совсем другое дело. Они тревожились, тревога переходила к нам.

Город притих и, казалось, чего-то ждал. Через день или два мы услышали звуки военного оркестра и, выбежав из дому, увидели шагающих по улице музыкантов и марширующих следом людей в военной форме. Толпа кричала, приветствуя отряд, и мы поняли, что в город вошло одно из подразделений чешской армии.

Их появление стало началом прихода белых к власти в этом регионе. Так, оставаясь в Уфе, мы оказались на «белой» стороне Гражданской войны.

Мне довелось услышать, как один из заложников, о которых писал папа, бежал и спасся. То, что он рассказывал, было ужасно. Их всех держали в трюме. Затем выкликнули одного на палубу, через какое-то время другого, потом еще одного. Всем стало ясно, что их будут расстреливать по одному. Но этот человек, как только выкликнули его имя, вбежал наверх и тут же бросился в воду. В него стреляли, но не попали. Он спасся, а остальные, по-видимому, погибли.

При всех этих волнениях дети жили своей жизнью, со своими радостями и горестями, отражавшими, впрочем, взрослые проблемы. Кирпичный многоэтажный дом № 14 по Александровской улице, где родителям удалось снять комнаты, выходил фасадом на главную улицу; сзади был большой двор. В нижнем этаже располагались кожевенная мастерская и лавка. Наша квартира находилась в задней части дома, на втором или третьем этаже. Входили туда со двора, а наверх вела широкая каменная лестница с гладкими деревянными перилами. Я никогда не видала таких перил. Мы, разумеется, были уверены, что их сделали специально для нас, и катались по ним в свое удовольствие.

Двор был заасфальтирован. Асфальта я не видела с тех пор, как мы уехали из Либавы. В таком дворе хорошо получалось играть в мячик и в «классики», но если мы падали, то царапали и расшибали себе колени. В доме жило много детей, и мы с Сережей сразу завели себе друзей. Считая, что детям нельзя жить без земли, я, как старшая, чувствовала себя ответственной за их благополучие. Мне хотелось обычной мягкой земли, чтобы можно было что-нибудь посадить.

Впрочем, в середине двора был незаасфальтированный кусок земли, но вокруг стоял заборчик, и детям туда ходить не разрешалось: половину участка занимали натянутые веревки, на которых развешивали свежыделанные кожи, а половину занимал огромный куб аккуратно сложенной поленицы.

Мне надоело смотреть на то, как единственное пригодное для игры место занято совершенно ненужными вещами. Я была уверена, что дети важнее. В конце концов, я же о других заботилась — о младших. Поэтому я, не раздумывая, отправилась в кожевенную мастерскую и вежливо попросила их поискать другое место для своих кож. Вероятно, кто-то из взрослых поддержал мою просьбу, потому что веревки с кожами вскоре исчезли и нам разрешили играть посреди двора. Содранные об асфальт коленки стали заживать.

Одним из наших занятий было тереть кирпичи — Мане всегда был нужен толченый кирпич для чистки ножей. Она макала мокрую бутылочную пробку в бурый порошок и начищала потемневшие стальные лезвия, пока они не начинали блестеть. Для порошка мы подбирали два куска кирпича во дворе и терли их друг о друга. Это было важное занятие, я не сомневалась, что запас толченого кирпича — один из главных домашних запасов. Но тут мне пришло в голову, что можно их тереть так, чтобы получилась форма, какую хочешь. Я собрала остальных детей и сказала, что мы будем так тереть кирпич, чтобы получались маленькие кирпичики, а когда мы сделаем их очень много, можно будет из них построить домик. Чем мы и занялись, и какое-то время все дети дружно сидели и старательно терли кирпич о кирпич. Были у нас и другие занятия, и я почти всегда была заводилой.

Все шло хорошо, пока дети не стали дразнить одного мальчика. Мальчик был слабенький и постоять за себя не мог. По-моему, это был сын наших хозяев. Так или иначе, он был еврей, за это его обзывали, и он плакал. Мы пришли домой, рассказали маме, что его обижают и называют «жид».

— Никогда этого слова не говори, — сказала мама. — Это плохое слово и очень обидное.

— Почему?

— Я тебе расскажу один случай, — сказал папа, который сидел рядом и слышал наш разговор. — Как-то давно я ехал в трамвае. Трамвай был полон, и пожилая женщина, вошедшая вместе со мной, хотела сесть на

единственное свободное место. Но тут какой-то здоровый молодой человек, внешне типичный еврей, ринулся туда, оттолкнув ее, и уселся сам. «Что за невежа!» — сказал кто-то из пассажиров, на что молодой человек ответил какой-то грубостью. Тут уже я пришел в ярость и закричал на него: «Жид!» В тот же момент сидевший неподалеку достойный пожилой господин спокойно встал, приподнял шляпу, как бы представляясь, и произнес: «И я тоже!» Не могу забыть того стыда, какой я испытал. Крикнув это унижительное слово нахальному молодому человеку, я не его оскорбил, а оскорбил всех евреев, не имевших к этому случаю никакого отношения. С тех пор я никогда этого слова не произносил.

Рассказ оказал свое действие: мы с Сережей все хорошо поняли. Но дети во дворе продолжали обзывать мальчика и сочинять обидные дразнилки. Я никак не могла их остановить, и мальчик каждый день уходил домой в слезах. Я и спорила, и дралась, Сережа помогал мне, но все оставалось по-прежнему.

Тогда у нас возникла замечательная идея: мы просто не будем с ними играть и придумаем что-нибудь другое, гораздо интереснее. Разгребем дрова наверху поленницы и устроим там себе берлогу. Мы сделали берлогу и никому не разрешали туда залезать, кроме того самого мальчика. Берлога получилась замечательная: мы выстлали ее одеялами и подушками, притащенными из дому, закрыли ветками, так что остался только узкий лаз, принесли печенье и молоко и сидели там на зависть всем остальным. Папа и мама заглянули к нам, но они, конечно, были слишком большими и не влезли. То есть это была наша собственная, «тайная» берлога.

Без меня и Сережи игры во дворе прекратились. Кажется, мы потом помирились с остальными (скорее всего, взрослые как-то вмешались) — я хорошо помню, как мы все, включая нашего нового друга, сидим и строим домик из своих маленьких кирпичиков. Считая себя специалистом, я размешиваю цемент с водой, скрепляю сложенные по всем правилам стенки, и мы оставляем наш домик сохнуть. Оттого ли, что цемент был старым, или оттого, что я забыла положить известку, но на следующий день наш домик рассыпался. Так закончился мой первый опыт строителя и руководителя.

Нам удалось продать две своих «Мечты» близлежащим заводам, и семья могла существовать на полученные деньги какое-то время. Работы у папы не было, он проводил большую часть времени дома.

В дождливые дни папа замечательно умел нас занимать. Я живо помню, как мы сидим вокруг стола и вырезаем из картона нарисованные на нем части моделей замка, миноносца и еще какие-то. Мы учились оставлять белые краешки для клея, аккуратно складывать и склеивать детали. Модели были очень сложные, настоящие произведения искусства; много лет спустя я нашла у папы в дневнике рисунки для них.

Я учила тогда «Медного всадника» — хотела выучить всю поэму целиком, потому что мама рассказывала, как в гимназии в старшем классе, когда они проходили «Евгения Онегина», им задали на дом выучить наизусть начало, а когда она спросила учителя, можно ли выучить весь роман, тот сказал, что «Евгений Онегин» слишком длинный. Раззадорившись, мама решила доказать, что может выучить все, и выучила. Мне «Евгений Онегин» показался слишком длинным, я решила взять поэму поменьше — «Медного всадника», и хотя не сразу, но выучила его наизусть.

АША

В июле 1918 года отца назначили членом Временного совета директоров Симского округа сталелитейных заводов. Кроме него в совет входили еще двое: горный инженер Алексей Иванович Умов, председатель, и Александр Александрович Гаериллов, один из папиных сокамерников в уфимской тюрьме. Втроем они должны были управлять сталелитейными заводами вместо уехавших владельцев.

Многочисленные уральские заводы стояли без управляющих — одних прогнали большевики, другие сами бежали. Владельцы чаще всего были уже за границей. Белые временно национализировали эти заводы, чтобы они не останавливались, и местное правительство назначало управляющих.

В июле в Уфе состоялось большое государственное совещание, на котором все национализированные заводы были разделены по округам. В Симский округ входил завод в Аше, на Транссибирской магистрали. Туда перевели Умова и нашего отца.

Дом наш выходил на небольшую речку, сзади был хороший сад. Мы приехали поздно вечером. Постели были уже готовы, Маня и няня нас наскоро покормили и уложили спать. Взрослые уселись наконец спокойно поговорить обо всем, что случилось за дни разлуки, как вдруг раздался детский плач. Заревел кто-то из детей, потом другой, потом еще один...

Родители, встревоженные, зажгли свет и обнаружили, что ночные рубашки, постели, сами дети — все было покрыто клопами. Пришлось всех вытаскивать, вытряхивать ночные рубашки, выбрасывать все матрасы. В конце концов нас уложили на лавках, на полу и на голых досках, покрытых одеялами, а весь следующий день шли стирка и чистка.

Стояло лето. Мы с братом проводили все время на улице, бегая босиком по мягкой пыльной сельской дороге или по берегу быстрой каменистой речки. Берега ее были укреплены насыпью, сделанной из шлака от заводских печей. Мы собирали красивые большие голубоватые или зеленоватые куски этого шлака, нам нравилась их поверхность — гладкая как стекло, но непрозрачная. Находили мы и белые кусочки шлаковой пены, которые можно было потереть о твердый камень и придать им нужную форму или пустить плавать по воде. Кусочки шлака были с острыми краями, и мы гордились, когда подошвы у нас загребели так, что мы могли ходить по ним босиком, как деревенские дети. Для них, впрочем, все это было так привычно, что они вообще не обращали на этот шлак никакого внимания и удивлялись нашему интересу. Сами они искали кусочки железа, которые иногда попадались среди шлака. Набрав достаточно таких кусочков, можно было продать их на заводе. Мы тоже стали собирать железо, но нужного количества так никогда и не насобирали.

Иногда мы ходили в горы. Помню замечательные открытые карьеры, где добывали каолин (глину для фарфора). Можно было спуститься на самое дно, а вокруг вертикально стояли белые и нежно-розовые стены, словно дворец без крыши.

Лазить по скалам было гораздо приятнее, чем долго идти в гору, добываясь до этих скал. В горах было много необычных камней, и я начала их собирать. Попадались большие зеленовато-голубые куски асбеста; они легко расщеплялись на отдельные волокна. Цветом они мне напоминали море, виденное давным-давно в Либаве. Еще мы находили небольшие булыжники, которые можно было разбить и увидеть внутри великолепные кристаллы.

Через несколько недель мы переехали на Липовую Гору. В длинной веренице домов в моей памяти этот запомнился как довольно мрачное место, вероятно из-за высоких деревьев, подходивших к самому дому. Там была конюшня, две лошади и кучер, который за ними смотрел. Кучер каждое утро возил отца на завод. Пару раз мне доверили править коляской, а затем папа стал позволять мне самой отвозить его на завод. Я ужасно гордилась, особенно на обратном пути, когда ехала совсем одна. Честно

говоря, достижение было не такое уж большое — лошади так хорошо знали дорогу, что можно было и вовсе ими не править.

Мы с Сережей катались верхом; теперь нам позволяли ездить с настоящими седлами — толстыми, обитыми войлоком. Как-то раз лошади испугались и понесли. Закусив удила, они рванулись в лес, и мы не могли их сдержать. В тот раз вместо седел у нас были просто одеяла, закрепленные ремнями у лошадей под животом. Я смогла удержаться, пригнувшись к шее своей лошади, но Сережа сполз лошади под брюхо и висел там, в ужасе вцепившись в ремень. Я не могла забыть этого зрелища и потом дразнила брата, но вообще-то чувствовала себя виноватой: мне же полагалось за ним смотреть, раз уж мы решились поехать одни.

Маня и няня варили и пекли все, что только было можно, но при всей их изобретательности начала чувствоваться нехватка еды. Мы знали, что сахара стало мало и что взрослые отдают его нам, детям. Приближалось Рождество, и вот я задумала замечательный подарок родителям: собрать весь сахар, который нам дают к чаю и к каше, и подарить им.

На крышке от маленькой коробки я устроила сцену. С трех сторон сцены стояли сосны, а в середине шел Дед Мороз с мешком за плечами. Прямо перед ним была маленькая дверца внутрь в коробку, туда мы прятали наши запасы сахара, ссыпая его ложку за ложкой. Все делалось в большом секрете — это ведь был подарок. Трое старших детей участвовали в этой затее, я до сих пор не знаю, как удалось уговорить Сережу и Лену расстаться с единственной доступной сладостью. К Рождеству мы набрали целую миску сахара и преподнесли ее родителям. Папа и мама, конечно, были тронуты, но и расстроены, что мы так долго отказывались от того, что они считали для нас необходимым. Но это произошло позже, когда мы уже ехали в Сибирь.

С началом осени возобновились наши занятия с мамой, но ненадолго. Белая армия, продвинувшаяся прежде из Сибири за Урал, в Европейскую часть России, теперь отступала. Коммунисты, которые управляли заводом до прихода белых, ушли в подполье или в партизаны. Начались случаи саботажа, которые приписывали коммунистам, и как-то утром пришла страшная весть: Умов, председатель совета директоров Симского округа, застрелен ночью. Кто-то выстрелил в окно кабинета, где он сидел и читал Библию. Было ясно, что это дело рук красных партизан.

Живя в отдаленном доме, посреди леса, все домашние, даже дети, чувствовали себя тревожно. В конце концов, папино положение на за-

воде не сильно отличалось от умовского. Но папа панике не поддавался, и жизнь шла как прежде.

Вся часть Сибири, прилегавшая к Транссибирской магистрали, была в то время в руках разных правителей, боровшихся с большевиками. В некоторых местах командовали казачьи атаманы, иногда бывшие офицеры царской армии. Их поддерживали чехи, японцы, американцы, французы и англичане. Сибирь представляла собой совершенный хаос, повсюду царили борьба за власть и преступность.

Тогда в Омске за полторы тысячи километров к востоку от Аши, где мы жили, было сформировано правительство, с тем чтобы объединить все разрозненные силы, борющиеся с большевиками. Задача эта была практически невыполнима.

11 ноября (по новому стилю) союзники подписали мирное соглашение с Германией. Окончилась ужасная война, разорившая Европу дотла, ставшая последней причиной крушения Российской империи, — и вот теперь в маленьком городке, затерянном среди разгула и хаоса Гражданской войны, ее конца никто даже не заметил.

На Уфу надвигались красные. Папа начал говорить об устройстве теплушки для нашего переезда, и стало понятно, что переезд уже близок.

18 ноября новое правительство в Омске избрало адмирала Колчака Верховным правителем Российского государства. Колчак стремился к демократическому решению российских проблем и был стойким противником большевиков. Но он был военным и по характеру своему скорее мог служить власти, а не возглавлять ее. Отец сочувствовал ему, но сомневался, что он достигнет успеха, а мама была убеждена, что без политической программы Колчак может повести за собой армию, но не страну. История показала, что его правление кончилось катастрофой. Но в то время территория под его командованием была единственным относительно безопасным местом для моих родителей.

СНОВА В ДОРОГЕ

Итак, как-то ранним утром в декабре 1918 года мы вновь погрузились в несколько экипажей и доехали до станции, где нас ждала «наша» теплушка, как назывались оборудованные для перевозки людей товарные вагоны. Теплушка была замечательная: в середине кухни, она же столо-

вая, она же гостиная; по сторонам спальни с откидными полками для каждого. В стенах прорезаны окна, и можно смотреть в окно на пейзажи по дороге. Места хватало и для вещей, и даже на то, чтобы разложить книги и бумагу с карандашами, и мы гадали, будет ли мама с нами дальше заниматься. Все мы были одеты очень тепло и не мерзли. Маленькая железная печка давала достаточно тепла, и на ней можно было готовить. Мы понимали, что уезжаем из-за того, что к Аше приближается Красная армия. Мы ехали на восток, в Сибирь.

Вагон наш прицепляли то к одному, то к другому товарному поезду. Поезда часто менялись, ехали мы медленно. Но внутри, в вагоне, было тепло и уютно, даже при том, что маленькие скучали и все время просили, чтобы им почитали или рассказали сказку. Горы скоро сменились равнинами, на них виднелись леса, иногда вдали, на горизонте, иногда у самой дороги. И так хорошо было засыпать под чудесный однообразный стук колес, зная, что и папа, и мама, и Маня, и няня рядом и они о тебе заботятся, а завтра будет то же самое, тот же стук колес, те же засыпанные снегом леса за окном, однообразные, ровные, и мы вместе, и мы все куда-то едем, едем... Прошлого нет; все, что было, уже позади, начинается новая жизнь, где только будущее и ничего не страшно, потому что все близкие с нами, целые и невредимые.

Приближалось Рождество. Я беспокоилась, что у нас не будет елки, и умоляла родителей срубить на одной из остановок елочку — в конце концов, ведь мы же живем почти как дома, ну как же без елки? Но взрослых было не убедить.

Мы проехали около 300 километров и незадолго до Рождества приехали в Челябинск. Семья пока оставалась в вагоне, на каком-то запасном пути, а папа отправился искать жилье. С жильем оказалось страшно трудно: город был переполнен беженцами. Пришлось ехать в деревню и там, в казачьем селении Смолино (примерно в 20 километрах от Челябинска), нашли люди, согласившиеся сдать нам две комнаты, а самим переехать в кухню.

Добираться до деревни надо было на санях. Мама была в это время на седьмом месяце беременности. Отец погрузил нас на двое саней и отправил в деревню; самому ему пришлось остаться в городе — как член совета директоров, он продолжал заведовать делами эвакуированного завода. Как я понимаю сейчас, в его ведении были финансы округа и выплата заработка тем сотрудникам, которые находились на нашей стороне фронта. С точки зрения большевиков, уже это было политическим преступлением.

Смолино

Маленькие лохматые сибирские лошадки, каких я раньше никогда не видала, мягкой рысью везли наши сани по укатанной снежной дороге. Закутанные в шубы и завернутые в одеяла по самые глаза, мы сперва смотрели по сторонам на покрытые снегом поля и далекие леса, но ближе к сумеркам заснули. Приехали мы уже в полной темноте. Никаких уличных фонарей, конечно, там не было, но от белого снега и звездного неба что-то можно было разглядеть. В некоторых окошках светились керосиновые лампы. За домами, стоявшими в два ряда вдоль единственной улицы, расстилалось большое снежное поле. Там, как мы узнали потом, было озеро. Зимой оно замерзало; по дальним берегам его стояли редкие летние дачи, до которых по снегу почти невозможно было добраться, — позднее именно такая дача спасла нам жизнь.

Небо сверкало тысячами звезд, невиданно ярких. Может быть, дело еще было в том, что я никогда не была на улице так поздно. Трех старших детей разбудили, и мы вошли в избу через совершенно темные сени. Маленьких внесли на руках. Толстая обитая дверь отворилась, и мы оказались в теплой, довольно большой кухне. В углу, занимая примерно четверть комнаты, стояла большая кирпичная печь, больше метра высотой, с трубой на дальнем краю. В открытой печи виднелись огонь и несколько горшков. Хозяйские дети уже крепко спали на печи. По стенам стояли лавки, на которых должна была спать вся остальная семья наших хозяев. Вокруг нас все захопотали, раскутали наши шубы и платки, посадили за стол тех, кто еще не спал, и стали угощать супом, кашей и холодным — но таким восхитительно свежим! — хлебом. Позднее мы узнали, что хозяйка печет хлеб раз в неделю и немедленно замораживает его на полках в тех самых темных сенях. Каждый день одну-две ковриги вносили в дом и размораживали.

Хозяева наши были зажиточные казаки. В доме было кроме кухни две комнаты, которые они нам сдали, одна довольно большая, в нее внесли все вещи, и там на лавках разместились Маня, няня и трое младших. В маленькой комнате стояла одна кровать. На ней спали мама, я и Сережа. Усталые, мы все скоро заснули.

Первый раз в жизни я спала рядом с мамой. Я знала, что в ее большом животе — ребеночек, наш будущий брат или сестра. Я слышала, как

мама как-то говорила папе: «Наверное, мальчик — уж очень он активный!», и мне было ужасно любопытно, как же он оттуда вылезет? Как-то раз, свернувшись калачиком у мамы под боком, я спросила ее. Мама сказала, что у нее в теле есть отверстие, что у всех девочек оно есть, когда-нибудь у меня из него будут кровотечения, и что нельзя его трогать. Я, конечно, знала, чем различаются мальчики и девочки, маленькую меня часто купали в ванне вместе с братом, но мне никогда не приходило в голову, что это как-то связано с рождением детей. Это был мой единственный разговор с мамой да и вообще с кем-то из взрослых о сексе. Лет до двадцати я больше ни с кем об этом не говорила.

Утром наша хозяйка щедро накормила нас кашей, хлебом и молоком. Мы надели шубы, шали и валенки и вышли на улицу. Мы забавлялись тем, что ходили по неутоптанному снегу в стороне от накатанной дороги. В некоторых местах снег лежал такой плотный, что можно было ходить по твердой корке, не проваливаясь. Если уж мы проваливались, то по колено. Воздух был морозный и безветренный, небо темно-голубое. Солнце ярко светило, но не грело. Особенно забавно было ходить по замерзшему озеру, где нетронутый снег застывал гребнями, похожими на волны; эти холмики и впадины еще больше усиливали чувство какого-то приключения в бесконечном безлюдном пространстве.

Мне недавно довелось увидеть по телевидению тот же самый пейзаж: сейчас эти озера и леса, деревни, совсем такие же, как Смолино, загрязнены радиоактивными материалами. Вдоль рек стоят заборы с предупредительными надписями, хотя ребятишки все равно купаются там, а женщины стирают белье. Сейчас стали видны страшные последствия этого радиоактивного заражения: ранняя смертность от рака, больные с рождения дети. Я смотрела передачу и вспоминала красоту девственно чистого снега, укрывавшего землю, и наши счастливые детские открытия в 1919 году.

Оказалось, что в соседнем доме живет другая семья беженцев из Аши. Семья Титовых состояла из отца, тоже инженера, матери и троих детей приблизительно нашего возраста. Одна из девочек, моя ровесница, была слепая. Мы с ней скоро подружились. Я восхищалась тем, как она вела дневник с помощью азбуки Брайля и даже играла во многие карточные игры картами, тоже помеченными по Брайлю. Ее родители и брат с сестрой тоже умели читать по Брайлю, но не на ощупь, а по виду. Я никак

не могла понять, как она различает пальцами буквы, — старалась, но у меня так и не получилось.

Но больше всего меня в ней восхищало невероятное воображение, которое давало ей возможность подхватывать все мои фантазии. Мы уходили далеко по замерзшему озеру и представляли себе, что мы в джунглях. Я описывала ей тропические леса вокруг нас, и она замечательно это воспринимала. Иногда я кричала «Тигр!», и мы прятались от тигра за ближайшим снежным гребнем... В остальное время мы сидели на кухне, потому что в комнатах почти совсем не топили. Кончился короткий зимний день, наступали длинные синие сумерки — время, когда лампы еще не зажигали, но читать уже было темно. Тогда мы разговаривали и рассказывали всякие истории. Там же обычно сидели и хозяйева, и Маня, и няня, и мама или родители наших друзей, если мы были в их доме. Взрослые старались нас утихомирить, если у нас еще оставалась энергия после долгих прогулок, а если мы сидели тихо, то они вели свои взрослые разговоры. Когда зажигали лампы, мы играли в разные игры, чаще всего в карты.

Через месяц Титовы уехали. Я много раз думала, что случилось с моей подругой в долгих скитаниях. В этих переполненных вагонах, в толпе на вокзалах ей было так легко потеряться — просто на минутку отпустив руку. Это было мое первое расставание, которое я остро почувствовала, зная, что мы никогда больше не увидимся. И как много было потом таких расставаний!

После их отъезда наша семья разделилась, и часть из нас переехала в соседний дом. Стало не так тесно. Маня и няня теперь готовили еду в другом доме, и мы все там собирались за столом.

Самым интересным в нашей жизни в Смолине была Масленица. У нас всегда на Масленой неделе пекли блины и ели их, как полагается, с рыбой, с икрой, со сметаной. Но в казачьей деревне Масленицу праздновали согласно всем традициям. Такого мы раньше не видели. Лошади, украшенные разноцветными лентами, вплетенными в гривы и хвосты, тинули сани, полные ребятишек, женщин, стариков, на всех санях звенели бубенцы, люди сновали туда-сюда между домами. Мальчишки постарше и взрослые мужчины состязались в конной езде — поднимали что-то с земли на полном скаку, ехали, стоя на седле, держа поводья одной рукой, размахивая хлыстом и громко крича. Воздух был наполнен свистом, смехом, криками, звоном бубенцов, а вокруг было синее небо, яркое

солнце, красочные ленты и ослепительно белый снег. Так продолжалось всю неделю — конечно, с традиционными блинами.

КАТЯ

Вскоре после Масленицы в деревню вошел отряд белых. Каждый дом в деревне обязан был взять несколько человек на постой. К нам явился надменный молодой офицер и потребовал освободить оба дома. Мама, которой уже почти пора было рожать, объясняла ему, что нам некуда идти, что муж в городе, а здесь только женщины и дети, — на него это не произвело никакого впечатления. Не веря своим ушам, я в ужасе слушала, как он велел к завтрашнему дню освободить оба дома!

На другой стороне озера была зимняя дача, где в это время жила акушерка, знавшая маму и ожидавшая ее родов. К ней мама и кинулась за помощью, и на следующий день мы переехали в одну комнату в маленьком летнем домике. Все чемоданы положили вдоль стен и устроили нам на них постели. Видимо, от тревоги и суматохи этой ночи у мамы начались схватки. Маня, няня и акушерка сделали все, что нужно, а дети даже не проснулись. Маму отвели в столовую, и там на обеденном столе 10 марта 1919 года она родила свою пятую дочь. Мама, как рассказывали потом, была страшно расстроена, что опять дочь, а не сын, и Маня, присутствовавшая при этом, сказала: «Ну тогда это будет моя девочка!»

Мы оставались на даче, пока мама не оправилась после родов. Я помню, что сын акушерки держал себя с нами немножко свысока, и нам приходилось это принимать как должное, чувствуя, что он в какой-то степени имеет на это право, хотя с его стороны это и не очень гостеприимно. Но в конце концов, после вмешательства его родителей, мы хорошо играли вместе, катаясь по заснеженной лестнице, ведущей к озеру, как по горке. Наши санки утрамбовали снег, и получилась восхитительная длинная горка. Мы сложили дом, вырезав кирпичи из плотного снега, — в доме было две комнаты и между ними дверь; крыша из снежных кирпичей лежала на сосновых ветках. Мы влезали туда на четвереньках, а внутри можно было даже сидеть и есть бутерброды, принесенные из дому.

Наконец через неделю, получив от нас вести обо всем произошедшем, приехал папа и забрал нас в город. Он нашел маленькую квартирку в кирпичном доме в Челябинске, и мы поселились там на пару месяцев.

ЧЕЛЯБИНСК

Мама была очень занята новой девочкой. Ее крестили дома и назвали Екатериной — в честь тети Кати, умершей полтора года назад. По традиции, по крайней мере, один из крестных должен был быть человеком, близким к семье, связанным с ребенком надолго. Никого из таких близких или друзей сейчас не было, и было решено, что крестной матерью буду я. На крестинах я держала сестренку, и мне же ее отдали, плачущую, вынув из купели. Я чувствовала себя очень важным лицом и отнеслась к своим обязанностям в высшей степени серьезно, что, впрочем, никак не изменило моих мальчишеских повадок.

Единственное, что помню из пребывания в Челябинске, это множество башкирских солдат, разместившихся во дворе нашего дома. Мы смотрели на них из окон: они сидели и искали вшей друг у друга на головах и телах. Зрелище это всех взрослых встревожило, потому что уже начинала распространяться эпидемия тифа и переносили его именно вши.

Ранней весной армия Колчака продвинулась за Урал, и в конце весны 1919 года мы вернулись в Ашгу в наш дом на Липовой Горе, но теперь уже папа не разрешал мне отвозить его на завод — было слишком опасно.

Белая армия заняла Белорецк, и Женя с Верочкой смогли выехать оттуда и соединиться с нами в Аше. У них теперь было двое детей, второй сын Стив родился уже после нашего отъезда из Белорецка. Когда они приехали, Верочка еще его кормила грудью и стала помогать маме кормить Катю, потому что у мамы молока не хватало. Женя был совсем инвалидом, мог ходить только на костылях, и они полностью зависели от моих родителей. Наша семья разрослась до четырнадцати человек.

Колчак не мог противостоять безнадежной деморализации в тылу. Многочисленные отряды белых под предводительством бывших царских офицеров вели себя бесцеремонно и вызывали у местного населения озлобление. Поддерживавшие Колчака казачьи атаманы боролись между собой за власть и отличались невероятной безжалостностью, бессовестно грабя и насилуя. Некоторые районы вдоль Транссибирской магистрали были полностью оккупированы такими атаманами — они забирали себе все до вольствие Белой армии и обращались с жителями с такой беспримерной жестокостью, что те с нетерпением ждали прихода большевиков. Интриги и борьба за власть разных политических сил в самом правительстве мало способствовали успешному продолжению войны.

В июне армия Колчака вновь начала отступать. Красные опять подошли к Уфе. Надо было уезжать. Проведя в Аше всего около месяца, мы все снова погрузились в вагон. На этот раз у папы не было времени оборудовать теплушку, но, к счастью, стояло лето. Теперь нас было восемь детей, из них двое грудных, и шесть взрослых. Мы ехали на восток, в Сибирь, направляясь в Омск — резиденцию правительства Колчака.

Омск был переполнен: военное командование, поддерживавшие Колчака чехи, англичане, французы, американцы, жители, бежавшие на восток от надвигавшейся Красной армии. Туда же была переведена администрация заводов, где работал папа.

По пути нам пришлось задержаться в Петухове — маленьком городе у железной дороги, — и там папа снял довольно большой дом, где мы провели еще один месяц, прежде чем двигаться дальше. В Омске все еще нельзя было снять ни дома, ни квартиры, поэтому до конца лета папа оставил нас в курортном местечке Карачи неподалеку от Омска.

Карачи были расположены на берегу соленого озера и славились грязевыми ваннами. Старшие дети и Маня могли там купаться на озере, а Женя стал принимать ванны и надеялся выздороветь. Мы поселились в двух домах, Кавосы отдельно от нас.

Плавать никто из нас не умел, но все быстро научились, потому что соленая вода выталкивала тело на поверхность, как пробку. Даже вертикально нельзя было погрузиться глубже чем по шею — голова все равно оказывалась над водой, и, лежа на спине, можно было не беспокоиться, что вода попадет в рот и нос. Мне нравилось нырять и доставать со дна куски кристаллической соли, которые считались очень полезными для купания маленьких детей. Доставать их было очень трудно, потому что вода меня выталкивала. Дно состояло из знаменитой грязи — гладкой, маслянистой и черной.

Мы провели в Карачах месяц. Это был замечательный летний отдых, но оставаться на зиму там было нельзя. В конце концов папа нашел для нас дом в Омске, и начиная с августа мы поселились на Войсковой улице, 32. Женя с семьей присоединились к нам в октябре. Шел 1919 год.



ГЛАВА 8

ОМСК

Наш новый дом

Омск создавался как место, куда доставляли ссыльных перед тем, как отправить на работу в рудники. В нем была выстроена большая тюрьма и много кирпичных административных зданий. Но были также оперный и драматический театры, несколько школ, большие дома в несколько этажей, церкви, магазины и красивые особняки. С Транссибирской магистралью город соединяла короткая ветка.

Омск расположен на берегу Иртыша — широкой судоходной реки, знаменитой по песне о первом завоевателе Сибири Ермаке.

В центре города улицы были мощеные, но на окраинах — нет, с маленькими деревянными одноэтажными домиками. За домами во дворах содержали кур, лошадей, коров. Трамваев не было, ездили только извозчики. Вдоль улиц под деревянными тротуарами, сколоченными из двухтрех досок, тянулись канавы.

Наш дом выходил прямо на немощеную улицу, посередине ее почти весь год стояла большая лужа, в которой, как в пруду, отражались дома. Мне эта лужа страшно нравилась. Дом был бревенчатый, с железной крышей. Между бревнами кое-где выпала пакля, и в щели задувал ветер. Внутри стены были оклеены обоями в несколько слоев, которые вздувались от сильного ветра.

Дом был просторный, с четырьмя большими комнатами, кухней и холодной уборной с выгребной ямой. Яму полагалось периодически вычищать. Делали это лопатами, снаружи, через наклонный деревянный люк, обычно зимой, когда содержимое замерзало, — потом его рубили топором и на санях вывозили и выбрасывали в реку. Водопровода не было, воду приходилось носить ведрами с реки и наполнять большую бочку в кухне. Зимой по утрам вода в ней сверху покрывалась льдом. Для умыва-

ния или купания пользовались тазами, поставленными на стул, или детскими металлическими ванночками. Взрослые ходили в баню неподалеку, а летом все мылись в реке. Воду для питья надо было обязательно кипятить.

Дом обогревался несколькими кирпичными печами, встроенными в стены. Топилась печь из одной комнаты, а другие ее стенки, покрытые изразцами, выходили в смежные комнаты и обогревали их. Когда дров стало не хватать, рядом с кирпичной поставили несколько железных печурок. Дым от них выходил в дымоход большой печи, от каждой из них быстро, но ненадолго нагревалась только одна комната. Их топили по какому-нибудь специальному поводу.

На ночь все окна в доме обычно закрывались тяжелыми ставнями и каждый вечер запирались на тяжелый железный засов.

Река была всего в нескольких кварталах от дома, мы могли там купаться, удить рыбу с мостков или просто гулять по отлогим берегам. У самой воды берега были песчаные, а в более крутой части — из глины. За плавающими в реке детьми никто не смотрел, хотя там встречались и вполне опасные места с водоворотами, куда могло затянуть. Но это мы обнаружили позднее.

МЫ ОБЖИВАЕМСЯ

Папа сразу купил двух коров: он опасался, что мы унаследовали от бабушки предрасположенность к туберкулезу, и очень заботился о том, чтобы мы пили хорошее молоко. В сарае для коров нашлось место.

Вскоре приехала Зуза, остававшаяся в Белоречке после нашего отъезда. Муж ее в это время пытался добраться до Латвии, которая стала независимой страной. Предвидя, что путь будет трудный и даже опасный, они решили, что он поедет один, а Зуза с полуторагодовалым Петей проследует за нами в Омск. У Зузы после родов была тяжелая болезнь, и кроме того, врачи сказали, что у нее больше не будет детей, поэтому сына своего она ужасно любила и берегла. Детей в доме прибавилось — теперь нас стало девять.

Сразу, как мы вселились, мама решила, что учить нас с Сережей в таких условиях ей больше не удастся. Нам надо было отправляться в школу. Школьное обучение начиналось с семи лет, так что Лене, которой исполнилось шесть, предстояло ждать следующего года. Мне было десять лет,

Сереже восемь, и нам полагалось сдать экзамен, чтобы показать, что мы достаточно подготовлены для поступления в соответствующий класс, и сдать не откладывая, потому что учебный год к тому времени уже начался.

По советам знающих людей, мама выбрала для нас частную гимназию Марии Васильевны Каеш. В гимназии учились и девочки и мальчики. Сама Мария Васильевна, учительница математики, преподавала свой предмет во всех классах и в педагогике руководствовалась довольно прогрессивными идеями. В гимназии было три подготовительных класса и восемь классов собственно гимназического курса. Я должна была поступать во второй класс гимназии.

Я немножко робела: в школу я раньше никогда не ходила. Однако взрослых я не боялась, даже учителей. Устные экзамены по чтению и математике прошли хорошо, письменный по русскому языку не очень (я всегда делала ошибки при письме), но когда дело дошло до письменного экзамена по французскому, тут я почувствовала себя загнанной в угол. От меня требовалось написать несколько глаголов, в том числе неправильных, во всех временах. Меня никто не торопил, и можно было писать сколько угодно, но все времена — этого я никак не могла! Я исписала несколько страниц, полностью запуталась в сослагательных наклонениях, заплакала и вся в слезах понесла тетрадь экзаменатору. Меня стали утешать, в конце концов я успокоилась, но чувство полного провала так и осталось.

Дальше был экзамен по шитью, в другой классной комнате. Там меня попросили сделать образцы разных швов. Предполагалось, что я знаю их все по названиям. Я не знала ни одного. Учительница была доброй и показала мне все швы. Я их все прошила, не очень хорошо, но она мою работу приняла. Устный экзамен по Закону Божию был совсем легким — добрый батюшка попросил меня прочесть «Отче наш». Эту молитву я знала и прочла, потом он спросил другую, которой я не знала, но он тоже счел, что я сдала экзамен. Я совсем успокоилась и смогла дома все рассказать маме уже без слез. В общем, меня приняли во второй класс.

ГИМНАЗИЯ

Я отчетливо помню, как первый раз вошла в класс. Все уже сидели за партами — в среднем ряду девочки, в двух крайних мальчики. Мне велели выбрать место. В ряду у окна было свободное место, я села там, и урок пошел дальше.

На перемене я обнаружила, какую непростительную ошибку совершила: девочки с мальчиками не сидели. Девочки сочли меня выскочкой и дальше так ко мне и относились. Еще хуже стало после выборов старосты, который должен был проветривать класс и стирать с доски во время перемен. Мальчики, которых в классе было большинство, выбрали старостой меня.

Отношения мои с девочками были ужасны — они со мной даже не разговаривали. Вообще-то, в этом не было ничего страшного, потому что я всегда предпочитала играть с мальчиками, но я чувствовала, что должна что-то предпринять. Между двумя уроками были перемены по десять минут, и все уроки шли в одном классе — из класса в класс мы не переходили. Обычно на перемене, пока класс проветривался, мы гуляли по коридору или в большом общем зале. Мне удалось заговорить с несколькими девочками, в основном благодаря тому, что я помнила много стихов и предложила их почитать наизусть, — я просто не знала, о чем еще с ними говорить. Так у меня образовалась группа сторонниц, которым было интересно послушать стихи. Несколько дней я читала стихи все перемены напролет. Но этого было мало, и я придумала более эффектный способ привлечь девочек на свою сторону. Раз в неделю у нашего класса было больше уроков, чем у других, и мы задерживались в школе дольше. Я предложила поиграть в большом зале на перемене перед последним уроком. Игра состояла в следующем: девочки заняли один угол, мальчики — другой, и надо было перетащить противников в свой угол. Тащить можно было как угодно, и мальчики тащили девочек за косички, а те их за уши. Мы возвращались в класс все красные, всклокоченные, мальчики с распухшими ушами, девочки растрепанные. Учителя смотрели на нас изумленно, но ничего не говорили. Думаю, что нам разрешали так играть недолго, но у меня появились подруги.

ЖИЗНЬ ТЕЧЕТ ДАЛЬШЕ

Тем временем папа и мама старались по возможности наладить жизнь так, чтобы создать детям нормальную атмосферу. Как-то раз они решили пойти в оперу и взяли меня с собой. Это был мой первый визит в настоящий театр. Мама всегда говорила, что хотела бы в первый раз повести

меня в Мариинский театр в Петрограде и еще хотела бы мне показать «Синюю птицу» Метерлинка, чтобы я знала, что такое настоящий хороший театр. Но, похоже, она поняла, что эта цель пока недостижима, и мы отправились слушать оперу Направника «Дубровский» в Омский оперный театр. Мне велели поспать днем, чтобы высидеть до конца оперы, и надели лучшее платье; я одна шла с родителями и чувствовала себя важной персоной. Не могу судить, хорошо ли пели в тот вечер, но впечатление было громадным. Я была ошеломлена действием на сцене и костюмами, какие я до того видела лишь в книгах. Играть в театре казалось мне величайшим счастьем. В Челябинске папа как-то раз водил меня в цирк — тогда мне хотелось стать воздушной гимнасткой. Теперь меня манила сцена.

Отец встретился с Колчаком. Свидание было сердечным, они беседовали как бывшие однокашники, но Колчак не мог помочь отцу, а отец не стремился принимать участие в политических делах. Немного позднее Колчак давал большой обед для своих сотрудников, и папа предложил, чтобы Маня помогла в его устройстве. Колчак согласился, Маня этим занялась, и мама очень ею гордилась. Родителей тоже пригласили на обед, и это был последний прием главнокомандующего.

Чешский корпус, составлявший самую надежную часть войск Колчака, теперь перестал его поддерживать.

Ашу заняли красные.

Сообщали о многочисленных случаях жестокости и в той, и в другой армии, и со стороны крестьян, и со стороны казаков, — прибывали к крестам священников и офицеров, убивали официальных представителей, которые реквизировали хлеб в деревнях, а также сельских старост. Белая армия собиралась отступать. Падение Омска было неизбежно.

Дороги были забиты отступающей армией и мирным населением, бегущим в страхе перед репрессиями большевиков. Многочисленные воинские подразделения и советники — французские, британские, чешские, японские, американские — бежали дальше на восток. Хотя они и намеревались поддерживать Колчака (особенно до того, как окончилась война) в надежде, что он будет продолжать войну с Германией, но в Гражданскую войну втягиваться не хотели. Железная дорога была перегружена так, что не хватало угля для паровозов.

ПАПИН ОТЪЕЗД

Папа и еще один член совета директоров, Гаврилов, были ответственны за фонды заводов в нескольких банках. Мама настаивала, что отец должен уехать. Он и сам это понимал; было несомненно, что его как управляющего заводом, лояльного Временному правительству, большевики арестуют. Но втиснуть в битком набитые вагоны всю семью с шестью детьми, младшей из которых было девять месяцев, возможности не было, особенно теперь: приближалась зима, среди беженцев то и дело вспыхивали эпидемии. Безопасности гарантировать никто не мог, угля не хватало, а партизаны нападали на поезда вдоль всей дороги, идущей через бескрайние сибирские просторы.

Мама же хотя и не сочувствовала большевикам, но все-таки поддерживала революцию. И все еще сохранялась надежда, что эсеры смогут играть какую-то роль в политике страны, поскольку они пользовались поддержкой большинства населения. Мама надеялась быть полезной в строительстве нового общества.

Папа умолял ее не заниматься никакой политической деятельностью, если придут большевики. Им обоим казалось, что, как мать шести детей, она будет в относительной безопасности, и они не сомневались, что в скором будущем им удастся как-то соединиться вновь. Мама считала, что сможет найти работу и содержать семью, пока папы с нею не будет.

Позже папа писал в дневнике: «В ноябре 1919, когда я уезжал из Омска, Леночка мне сказала: “За тебя я не боюсь — «Мечта» тебе всегда даст достаточно для одного”».

6 ноября 1919 года, вместе с другими беженцами из числа своих сотрудников, отец один, без нас, сел в вагон, чтобы ехать на восток. После двух дней ожидания на запасных путях их теплушку наконец прицепили к чешскому поезду. Вагон тронулся в путь. «На сколько времени мы разлучены? И что-то с ними будет! Дай-то Бог, чтобы все обошлось хорошо...» — писал отец в дневнике.

Мой одиннадцатый день рождения прошел почти незаметно.

12 ноября Колчак оставил Омск.

14 ноября город был занят красными.

НА КРАСНОЙ СТОРОНЕ ФРОНТА

Накануне вечером Маня пошла на берег Иртыша. Оттуда можно было увидеть, приближаются ли красные. И сама замерзшая река, и оба берега были покрыты снегом. В ранних сумерках Маня могла различить на противоположном берегу два ряда черных точек: один ряд медленно, но неуклонно отступал к реке, другой следовал за ним. Время от времени доносились выстрелы. Маня вернулась и рассказала нам, что видела. Засыпая, мы слышали, как взрослые говорили между собой, тихо и тревожно.

На следующее утро Маня прежде всего вышла на улицу — посмотреть, в какой форме всадники скачут мимо дома. В городе повсюду были красные. Раздалось лишь несколько выстрелов, и опять все стало тихо.

После папиного отъезда мама сдала одну комнату. В ней поселился доктор Пушин — он оказался очень милым человеком, во многих отношениях полезным маме. И в деньгах была помощь, и особенно хорошо было, что рядом доктор, потому что все дети время от времени болели. Доктор Пушин прожил у нас почти весь следующий год.

Папа оставил маме кое-какие деньги, в основном керенки. Царские деньги были аннулированы, но у нас осталось немного и ассигнаций. Пачки их были рассованы по разным подушкам и матрасам. У мамы еще сохранилось на крайний случай несколько старых золотых монет, но недостаточно, чтобы на них прожить. Мама немедленно стала искать работу в качестве учительницы. По образованию она была преподавателем истории, и ее взяли в гимназию.

Керенки вскоре тоже аннулировали. Теперь везде ходили советские деньги, и они тоже стремительно падали в цене из-за инфляции. На всю семью, состоявшую теперь из шести взрослых и девяти детей, мама была единственным кормильцем. Она стала работать еще в двух школах, из-за этого ей приходилось задерживаться на работе допоздна.

Женя начал давать уроки игры на скрипке и пытался немножко зарабатывать, копируя известные акварели из альбома репродукций картин Третьяковской галереи, который у нас был с собой. Верочка носила их на базар продавать и иногда — если ей везло и картины покупали — на обратном пути по секрету от всех тратила часть выручки на извозчика. Не доезжая квартал до дома, она вылезала из коляски и дальше шла пешком, но Маня как-то раз увидела и очень рассердилась на нее за это. Маня

рассказала мне об этом много-много лет спустя. Знали бы мы в ту пору, как храбро будет позднее справляться Верочка с жизненными трудностями, поддерживая свою семью в Париже.

Няня стала получать пенсию. Пенсии за первый месяц как раз хватило на то, чтобы купить иголку для шитья. А дальше и этого не было. В городе начал действовать рыночный обмен. Деньги обесценивались изо дня в день, люди приносили на рынок все, что у них было, и меняли на еду.

По-прежнему стояли сильные холода, морозы доходили до сорока градусов. Детей закутывали платками и шарфами, но все равно многие добирались до школы с отмороженными носами или щеками. Я натягивала вязаный капюшон на лицо и заматывала вокруг шеи. Чтобы видеть, я прорезала две дырки. Выглядело это очень странно, и меня дразнили. Но мне было все равно, я радовалась своей изобретательности, потому что, в конце концов, я так ни разу ничего не отморозила.

Обычно по ночам шел снег, и утром по дороге в школу мы старались ступать уже в те глубокие следы, где кто-то до нас прошел. Но случалось и так, что снег был выше, чем наши валенки, и засыпался внутрь.

В середине дня на улице было замечательно: синее-синее небо, яркое солнце и сверкающий белый снег. Дым из труб поднимался в неподвижном воздухе прямо вверх, как белые колонны, и было приятно чувствовать, как мороз пощипывает лицо, если только не облизывать губы. Я редко могла дышать носом и придумала особый способ, как дышать, чтобы холодный воздух не попадал в горло: плотно сжимала губы в середине, оставляя две щелки в уголках рта и направляя холодный воздух на язык, где он согревался. В самые холодные дни на моей маске против рта намерзала ледяная корка, которая тоже меня защищала.

Мама очень беспокоилась, что мы в комнатах дышим плохим воздухом, поскольку обои в некоторых местах покрыты плесенью, а дров не хватает. Поэтому нас посылали гулять в любые морозы. А вечером надо было быстро-быстро стащить с себя одежду и натянуть несколько толстых свитеров на ночные рубашки, перед тем как нырнуть под несколько одеял. Поверх одеял наваливались еще шубы.

На рынке на столиках продавались кружки замороженного молока. Молоко продавалось на вес. Верх каждого круга был из сливок, и если покупатели просили поменьше сливок, их соскребали большим ножом. Круги молока взвешивали на весах и наваливали покупателям в сумки.

Иногда мы видели киргизов верхом на двугорбых верблюдах. Киргизы носили меховые шапки, халаты с меховыми полосками, на ногах у них

было столько носок, штанов и сапог, что они выглядели как огромные тумбы. Одевались они совершенно одинаково в любую погоду — что летом, что зимой.

Мы узнали, что на морозе нельзя прикасаться к металлу голой рукой, а то пальцы примерзнут так, что, отдирая их, оставишь на металле кусок кожи. А самое главное, что мы поняли, — зима длится долго и будет так тянуться до весны без всяких изменений. Дни были коротки, к трем часам уже темнело.

Лена уже давно начала читать и сейчас читала быстрее меня. Сергей глотал книгу за книгой. Я в это время увлеклась книгами Лидии Чарской, которыми зачитывались все девочки-подростки. Взрослые считали, что это плохая литература, поскольку все действующие лица у нее были истеричными, несчастными, часто безнадежно заболевали в критический момент «воспалением мозга», но всегда выздоравливали. Все плохие персонажи в конце обязательно были наказаны.

Однажды утром, когда мы только собирались вставать, я вдруг увидела, что мама как-то странно себя ведет. Она прикладывала руки ко лбу и говорила трагическим тоном: «О-о, я, кажется, заболеваю какой-то страшной болезнью. Может быть, у меня воспаление мозга?» Она так повторяла все утро, пока мы завтракали, и в конце концов мы все почувствовали, как это нелепо, и захохотали. Больше никому не надо было объяснять мне, что представляют собой книги Чарской.

Приближалось Рождество, и надо было устраивать елку. Все игрушки предстояло сделать самим. Мама была слишком занята, и я взялась заниматься ее. Мы тщательно выискали кусочки цветной бумаги, завалявшиеся среди книг, и даже откопали несколько свечек. Но настроение все равно было далеко не праздничное, потому что от папы не было вестей.

Жив ли он? Мы даже этого не знали. Пугали слухи об ужасных эпидемиях, о застрявших в пути поездах. Мама читала выходившие под строгой цензурой газеты, их часто дополняли устные известия, отнюдь не всегда достоверные. Мы узнали, что красные настигли Колчака, прежде чем он добрался до Иркутска. Его казнили в январе 1920 года. Мы знали, что отец не с Колчаком и не с его армией, но жестокость Гражданской войны приводила нас в ужас.

А вскоре после Рождества случилось чудо. Мама получила открытку от Харбина:

ХАРБИН, Старый город

Фуражная 36 М.Е. Солнцева-Лансере

Дорогая Леночка, с возобновлением почтовых сношений между Омском и Харбином, где мы живем уже 10 лет, спешу сообщить Вам наш адрес с просьбой писать и пожелать Вашему семейству хороших праздников и счастливого Нового года.

Ваша кузина.

Мама помнила, что у папы есть родственница на Дальнем Востоке, но почерк на открытке папин — ошибиться было невозможно!



ГЛАВА 9

ОМСК. 1920

СЕРЕЖИНЫ ФАНТАЗИИ

Папа жив, а значит, когда-нибудь мы сможем опять все соединиться вместе!

Вся семья сразу воспряла духом.

Жизнь, впрочем, становилась все труднее, очень многого не хватало. Мама была так занята на своей учительской работе, что мы ее почти не видели. Однако домашняя жизнь шла почти без изменений благодаря Мане и няне.

У Сережи вдруг проявилась буйная фантазия. Он выдумывал всевозможные истории, для которых ему постоянно требовался слушатель. Он всегда настаивал, чтобы его слушали с полным вниманием, и эти его непрестанные требования всем сильно надоедали. В каком-то смысле истории его были продолжением той игры, в которую мы с ним играли вместе, развивая и дополняя сюжеты друг друга, но теперь это была его собственная, одна-единственная, очень длинная, практически бесконечная история, которую он, размахивая руками, рассказывал с огромным энтузиазмом. Сначала рассказы были из жизни животных, затем — из жизни Древней Греции. Сережа «проглотил» все греческие мифы и теперь начал сочинять истории по их мотивам.

Через какое-то время появилась новая идея — политеизм греков Сережу больше не привлекал, он выдумал героя, у которого возникла идея единого Бога. Звали этого героя Амзон. У него были свои сторонники среди греков, и всех их преследовали власти. В конце концов Амзона с его сторонниками погрузили на корабль и выслали из Греции. Дальше следовало долгое и опасное путешествие — он проплыл все Средиземное море, потом — мимо Геркулесовых столпов и оказался в Атлантическом океане. День за днем Амзон и его соратники скитались среди бурь и под

палящим солнцем, на корабле случались болезни, мятежи, кто-то умирал — все это описывалось очень выразительно, в красочных подробностях, — пока, наконец, в одной из бурь корабль не потерпел кораблекрушение и Амзон с группой верных спутников не был выброшен на берег неизвестного острова. Остров населяли дикари, которые, конечно, приняли вновь прибывших за богов и вскоре стали их подданными. Туземцев обучили всем благам цивилизации, просвещенная страна построила дороги и школы и в течение нескольких столетий превратилась в мощное государство, соперничающее с Англией за торговые рынки. Эту страну, названную Амзонией, населяла раса прекрасных темнокожих людей. Ее сложная и запутанная история, полная войн, борьбы за власть, открытий и т.п., служила Сереже материалом для его рассказов. От абсолютной монархии Амзония перешла к конституционной, но социализма, даже упоминания о нем, Сережа не терпел.

Слушать его становилось все труднее. К своим рассказам он нарисовал множество иллюстраций, и это ему помогло: он наконец вздохнул с облегчением. Когда никто не хотел слушать, он уходил в пустую комнату и начинал рассказывать самому себе. Он разыгрывал действие в лицах: стрелял из ружья и сам же падал, будто подстреленный. Подглядывая за ним в замочную скважину, мы, бывало, думали, что он сошел с ума. Наконец мама сделала для него альбомы из обычных тетрадей для контрольных работ и чистых листов, так что каждый второй лист был чистый — для рисунков, и предложила ему записать и зарисовать свою историю. Сережа ухватился за это предложение с энтузиазмом. Полтора года, пока можно было доставать бумагу, он писал свою историю и исписал и изрисовал кипу таких альбомов высотой в метр. Там были подробнейшие карты Амзонии в разные периоды ее истории, излагалась ее конституция и присутствовали бесконечные батальные сцены во всевозможных войнах — от средневековых солдат в полном боевом снаряжении до современных аэропланов. Сохранить эти альбомы не было возможности, и мне до сих пор этого жалко — в них был виден замечательный талант. Помню, как менялся его почерк — от тщательно выписанных по двум линейкам букв в ранних блокнотах до почти взрослого почерка в позднейших.

Друзей в школе у Сережи, похоже, не было. Уроки для него были всегда слишком легкими, а одноклассников не интересовали его фантазии — они больше занимались подвижными играми, которые Сереже были совершенно не интересны.

ШКОЛА

Я же, напротив, жаждала быть лидером. Я по-прежнему хотела дружить с мальчиками, и это сильно определяло мои отношения в классе, но постепенно я стала понимать, что сама принадлежу к девочкам и что близких друзей могу найти только среди них.

В школе произошли изменения. Как и все остальные школы, она стала государственной; школьникам велели сформировать свой собственный совет и выбрать нового директора. Большинство из нас очень уважало Марию Васильевну Каеш, она была строгой, но доброй учительницей, всегда справедливой во всех наших разногласиях. Мы знали, что многому у нее научились, и нам нравилось, как она управляла школой. Поэтому она была выбрана директором, и на какое-то время администрация города оставила нас в покое.

Обучение стало бесплатным. Появилось много новых учеников, многие старые ушли. Классам присвоили новые номера, но большинство учителей осталось, и осталась неизменной учебная программа, за исключением уроков Закона Божия, которых больше не было. Мой класс начал изучать второй иностранный язык — немецкий. Для меня устный немецкий был легким, а по чтению и письму я шла наравне с остальными. Иное дело арифметика: я ненавидела длинные примеры, где надо оперировать огромными числами. Дробы шли немножко лучше, но по настоящему нравились мне сложные задачи, решаемые в несколько действий. Нам полагалось записывать словами все, что мы делаем, обосновывая каждый шаг, так что на одну задачу обычно уходил целый час. В задачах говорилось о поездах, которые или встречались, или догоняли друг друга, о бассейнах, в которые вода втекала одновременно и из которых вытекала, причем вытекала с разной скоростью. Мне это нравилось, и если не считать ошибок в вычислениях или в правописании, я со всем довольно хорошо справлялась. Почерк у меня был не из лучших, и мне иногда приходилось дополнительно заниматься чистописанием, в отличие от Сергея, обладавшего всегда прекрасной способностью к письму и врожденной грамотностью.

В то время еще писали по старой орфографии, то есть в алфавите было на пять букв больше, чем сейчас. Существовали правила употребления каждой буквы, которые занимали половину наших учебников. Надо было запоминать список тех слов, где эти буквы встречались в корнях. Для меня

все это было мукой — я никак не могла запомнить такие нелогичные вещи. Однажды нам дали диктант именно на эти буквы. Я написала его, и от ужасной неуверенности зачеркнула большинство букв, в которых я сомневалась, заменив их другими, в которых сомневалась никак не меньше. В общем, я напутала все, что можно, и получила самую низшую оценку. А ведь я считалась одной из лучших в классе. Позор был страшный, потому что оценки, как правило, объявлялись перед всем классом. Я пришла домой в ужасном горе, а мама утешала меня. «Не горюй, эти буквы скоро отменят, — сказала она. — Только не говори никому, а то они все перестанут учить грамматику». И я утешилась.

Назавтра в школе мне было трудно перенести сочувствие своих одноклассников. К середине дня я призналась своей лучшей подруге, что ошибки мои не так уж важны. Все, что мне сказала мама, я поведала подруге по секрету и тут же пришла в ужас, что выдала тайну. Я пришла домой в слезах, ушла в спальню и горько плакала, лежа на кровати, до конца дня. Мама ничего не могла понять, пыталась меня утешить, доискиваясь до причины моих слез, но я до самого вечера не могла заставить себя признаться в своей вине. Мама, конечно, меня утешила, и я в конце концов смогла заснуть, но чувство вины осталось надолго.

Я думаю, что от меня так много ожидали, потому что я была старшей. Мне полагалось подавать пример младшим. Если я что-то делала не так, меня ругали не только за сделанное, но и за «плохой пример». Я гордилась тем, что я старшая, но никак не хотела быть во всем совершенной — я просто знала, что не могу. Я отчаянно жаждала маминой любви и ласки, но почему-то с самого раннего детства знала, что любовь эта не безусловна. Чтобы заслужить эту любовь, надо было родиться мальчиком. Я старалась быть храброй, сильной, лазить по деревьям, ездить верхом, делать все, как мальчик. Я хотела одеваться, как мальчик, но носить брюки мне никогда не позволяли — это было не принято.

При любой возможности я старалась доказать Сереже, что я более мальчик, чем он. Наверное, это как-то повлияло на его характер и привело к тому, что он со мной никогда не соглашался — быть может, это стало для него единственным способом утвердить свою мужскую суть. Я уверена, что он меня любил, я же со своей стороны всегда беспокоилась из-за него, может быть, бессознательно чувствуя его превосходство и чувствуя себя виноватой из-за скрытой ревности.

Неся обязанности старшей, я хотела иметь право командовать младшими. Я требовала, чтобы они меня слушались, что, естественно, вызывало сопротивление и выливалось в драки. Мама от этого огорчалась, и я чувствовала, что оказалась недостойной ее любви.

ПЕТЯ

Тогда же в нашем доме случилась настоящая беда: тяжело заболел Петя, сын нашей кухарки Зузы. Зуза была вне себя от страха за него. Доктор Пушкин осмотрел его, выписал лекарства, но Пете становилось все хуже, он весь горел, бредил, у него начались судороги. Пушкин определил менингит — по тем временам это обычно означало скорый конец. Заразным менингит не считался. Зуза день и ночь не отходила от Петиной постели, а все дети собирались вокруг, стараясь хоть что-то для него сделать или дать Зузе хоть немножко поспать. Потом Петя начал кричать. Он кричал громко и отчаянно, кричал непрерывно, как нам казалось, несколько часов подряд, и вдруг замолк. Я сидела у его кровати, гладила бедного мальчишка по голове, он уже никого не узнавал. Он кусал язык, и язык был совсем синий. А потом он умер, так и не разжав зубы. Не знаю, что потрясло меня больше — сама его смерть или горькое отчаяние его матери. Мы чувствовали себя такими беспомощными.

Затем принесли маленький деревянный гроб и положили туда Петю. И я не помню ни церковного отпевания, ни самих похорон. Должно быть, травма была слишком велика.

Зуза прожила с нами еще месяц, исхудавшая, похожая на тень. Потом она получила письмо от мужа, который звал ее назад в Латвию, и вскоре уехала.

Мне было 11 лет, и все, что случилось за последние три года, — смерть тети Кати и панихида по ней, а вслед за этим все события в Белорецке, Уфе, Аше, Смолине, в долгих переездах, и вот теперь смерть маленького Пети — все это заставляло меня задумываться над множеством вещей. Я ни с кем о них не говорила, но загадки эти мучили меня, мне хотелось, чтобы кто-нибудь ответил на мои вопросы. Что такое смерть? Что чувствует человек, когда умирает? Что бывает после смерти? Почему люди враждуют, воюют, убивают друг друга? Почему они не могут жить в мире и любить друг друга? Маму я не спрашивала — она всегда была так заня-

та, что мне не выпадало случая поговорить с ней наедине по душам. Остальные дети были далеки от таких вопросов. Созвучны моим чувствам были стихи поэтов прошлого века, особенно Надсона, и я многие из них знала наизусть. Чувства свои я поверяла дневнику, но вела его от случая к случаю и никогда никому не показывала.

ПАПИНО ПИСЬМО

Кроме короткой открытки, полученной в январе, писем от папы все не было. Мама пыталась связаться с ним всеми мыслимыми способами: через Финляндию, через родственников в Харбине, через друзей в «буферной республике» в Чите⁹ — все было напрасно.

Папа написал письмо 25 февраля 1920 года, но не отправил. Вот это письмо:

Родная, дорогая Лена, живу твердой надеждой увидеть вас скоро и боюсь только одного, не сделать в этом неоправимой ошибки, которая отынула бы свидание или создала бы невозможность моей с вами жизни. Так все запуталось, что, по-видимому, пока правильно только одно: подождать здесь и зарабатывать на свое существование, что и стараюсь делать. Мне пока что жилось вполне хорошо, если можно так назвать мое душевное состояние. Люблю я вас изо всех сил, но подчас любовь вызывает во мне не силу бороться и ждать, а слабость желания скорее вас увидеть. Но тут-то думаешь, что можно своим приездом вас не только не обрадовать, но еще, пожалуй, принести тяжкое горе. Будем твердо верить, что Бог милостив и что все понемногу придет в положение, где искренние и честные люди могли бы жить с пользой на свете.

Это письмо дается Василию на всякий случай возможности доезда до Омска. Если только это случится, используйте его обратной посылкой ко мне с весточкой о вашей жизни.

Общее положение такое: во Владивостоке, Хабаровске и прочем Востоке Временное правительство Земской Управы под председательством Медведева, по-видимому с[оциалиста]-р[еволюционера], и с объявлением о том, что они хотят заключить мир с Москвой. С Запада сегодня в газетах: 5[-я] армия красных из Иркутска пришла на Мысовую, т.е. на восточную часть Байкала. Чита — Семенов здесь пользуется чрезвычайно

плохой репутацией и, очевидно, поддержки не встретит. Все Забайкалье и Амур в стадии восстания солидарно с Западом. Так что очевидно, что забайкальские дни сочтены и остается лишь полоса отчуждения, с двух сторон окруженная с[оциалистами]-р[еволюционе]рами, входящими в соглашение с красными. В полосе настроение общее, конечно, за окончание войны, но с большими опасениями у многих в дальнейшей возможности работы и существования. Как ни странно, торговый класс и особенно мелкий прямо на стороне соглашения. Как будто они не чувствуют, что им же хуже, пожалуй, будет, чем всем другим. Администрация полосы отчуждения ведет дело чрезвычайно дипломатично и, по-видимому, пойдет на уступки, обеспечивающие ей возможность дальнейшей работы. Посему вопрос восстановления связи с Омском — лишь вопрос времени, и дай Бог ближайшего. Надо полагать, что в полосе отчуждения будет сохранен порядок, если не будет недоразумений с китайцами. Вот тогда у меня надежда с вами списаться и затем решить, как быть дальше. Возможно или существовать в Омске и мне туда приехать, чтобы в дальнейшем двигаться на запад, — что больше всего мне бы хотелось. Или вам жить в Омске и мне здесь работать, или, наконец, выписывать вас сюда и прожить некоторое время, пока создастся возможность ехать на запад. Все это сейчас предвидеть невозможно, но в этих трех направлениях — может быть — можно будет решать этот вопрос жизни. Я бы сказал еще одно — хоть на минутку бы вас повидать всех и крепко поцеловать и обнять моих милых, дорогих.

Василия непременно задержи в Омске, а потом, может, он поможет вам ко мне приехать или привезет мне от тебя письмо. Конечно, ехать вам ко мне хотя бы летом сюда будет чрезвычайно рискованно. Думаю, и дороги едва ли будут налажены и, главное, страшны эпидемии. Дай-то Бог, чтоб тебе удалось сохранить детвору, это пока единственная и последняя задача, святая моя Леночка. <...>

У меня в середине усов появляются волосы — бесцветные, очевидно, седуют. Глаза, по-моему, становятся менее оживленные: пропадает резкость границы радужной оболочки и белка. Это все, впрочем, явления нормальные, ведь мне скоро 45 лет. Сегодня именины Зои, крепко, крепко ее целую. Когда подумаешь о всех дорогих ушедших навсегда от нас, то кажется, может быть, хорошо, что они все это не переживали. Но так не хочется, моя милая Лена, уходить самому, не исполнив своих обязанно-

стей по отношению к детям и взваливать на тебя одну все это бремя. Но хорошо, что ты, а не кто другая. Разве я мог бы все это пережить без твоей твердой и доброй души и поддержки? А бедная детвора, что бы она делала, если бы мама была другая. Радость моя, жизнь моя, святая Леночка <...>

Василий должен прийти завтра, может быть, успею еще что-нибудь написать. Но что писать, кроме того, что всех вас крепко люблю и одним живу скорейшим свиданием и возможностью для ВАС жить. Крепко-крепко-крепко целую

Баня

Думаю, что у папы не получилось переслать письмо с этим Василием, а отправлять такое длинное и подробное послание по почте было рискованно, и он хранил его, надеясь на другую оказию, а потом уже послать было поздно. Я нашла это письмо среди его бумаг.

Весна 1920 года

Приближалась весна, и на улицах вдруг появились крысы. Они жили в канавах под досками, положенными вместо тротуаров. Улицы были такие грязные, что ходить можно было только по доскам. Крысы тоже предпочитали дощатые тротуары, они шныряли у всех на виду и вдруг юркали вниз под доски. В прежние времена городские власти, считая, что крысы разносят бубонную чуму и другие болезни, платили по пять копеек за каждую убитую крысу. Тогда городские мальчишки уничтожали их, неплохо на этом зарабатывая. Но теперь власти были новые, платить за крыс никто не собирался, и оставшиеся без заработка мальчишки вымещали свою досаду, швыряя убитых крыс на улице перед зданием городских властей. Мне как-то случилось пройти мимо этого здания — улица, заваленная мертвыми крысами, выглядела жутко.

Кончились занятия в школе, и я стала придумывать, чем бы нам, детям, можно было заниматься.

Театр все еще безмерно привлекал меня. Мы иногда разыгрывали шарады, но этого было мало. Сережи и Лены для актерского состава было недостаточно, и я стала искать актеров среди других детей с нашей ули-

цы. В сарае у нас лежала куча нераспиленных бревен, там же мы нашли старый облезлый ковер. Бревна закрыли ковром и получилась великолепная гора, как раз такая, чтобы, по моему разумению, поставить «Кавказского пленника» Пушкина.

Репетировали мы очень старательно. Каждый заучил свою роль, и мы дали представление для благодарной аудитории из соседских детей и их родителей.

Дочка нашего хозяина, которой было лет двадцать с небольшим, написала пьесу специально для нашей «труппы». Мы становились настоящими актерами!

«Актеры» готовы были репетировать, но подходящего места для представлений у нас не было. И кто-то подсказал мне, что нужно пойти в Отдел народного образования и попросить помещение! Детского театра в округе не было, а театр считался важным инструментом просвещения. С чем мы и отправились — я и еще пара мальчиков, вдохновленные лозунгами о «значении инициативы масс».

В Отделе народного образования нас приняли очень серьезно. Важный заведующий пригласил нас в кабинет, выслушал рассказ о том, что у нас есть актеры, драматург и даже некоторый опыт, который наши соседи, как мы считали, могли бы засвидетельствовать. И последовал поразительный ответ: «Ну что ж, найдите поблизости подходящее помещение. Для ваших нужд мы его конфискуем у владельцев».

И вот четверо детей в возрасте от десяти до двенадцати лет стали ходить по соседским домам, прося у владельцев показать помещение, с тем чтобы власти, если помещение нам понравится, отобрали его у них для нашего театра. Так мы проходили несколько дней и наконец в одном из домов нашли то, что искали, — настоящую сцену и зал подходящего размера. Все было идеально, не хватало только занавеса, который, скорее всего, уже успели пустить на одежду в это трудное время. На новый занавес у нас, конечно, такого большого куска материи не было, и поиски наши кончились ничем.

Написанную специально для нас пьесу мы сыграли в доме у соседей. Зрителей поместилось очень мало — только наши братья, сестры и родители. И на какое-то время мы решили театральную деятельность прекратить: надо было помогать Мане и няне в огороде и ходить в лес за грибами, чтобы заготовить их на зиму.

Лето 1920 года

Летом детей, конечно, тянула к себе река. Почти каждый день мы купались и ловили рыбу, а поскольку и у нас, и у большинства соседей ванной в доме не было, то мы приносили с собой мыло и мылись сами и помогали младшим. Стирали все тоже на реке. Ни купальников, ни плавок, конечно, ни у кого не было. Мальчики раздевались на берегу и бежали в воду, закрыв стыд двумя руками. Взрослые купались в нижнем белье. У меня же сохранился еще мой купальник, купленный в Либаве, когда мне было пять лет, и хотя теперь мне было уже почти двенадцать, я его все еще натягивала на себя, и он смотрелся гораздо лучше, чем нижнее белье. Позже я узнала, что среди соседей ходил слух, будто я на самом деле мальчик, а семья по каким-то причинам выдает меня за девочку.

В местах, где мы купались, попадались омуты, и несколько раз самые отчаянные мальчики чуть было не утонули в них. Помню ужасное чувство, как меня потащило течением в такой омут и как один из мальчиков помог мне выплыть. Еще как-то раз, придя на реку, мы увидели утопленницу, которую вытащили из воды и оставили лежать на берегу. Она лежала там несколько дней, пока ее не увезли. Мы так и не узнали, утонула ли она случайно или бросилась в воду сама, но зрелище было ужасным и напоминало нам, что следует быть осторожными.

Летом появилось очень много нищих. Они стучали в дверь, просили хлеб, и Маня и няня всегда давали им хлеб, иногда котлету или еще что-нибудь из еды, расспрашивали, откуда они, плохо ли у них дома. Нищие клали все, что им давали, в мешок, благодарили и брели дальше. Большинство из них было из европейских губерний России. Там свирепствовал голод, и Маня очень тревожилась о своей семье. Почтовое сообщение было ненадежным, сведения о них не доходили, поэтому было решено, что Маня поедет навестить их сразу после сбора урожая с огорода.

Чтобы ехать куда-нибудь, требовалось специальное разрешение. Помог доктор Пушин — он выписал Мане удостоверение, что она направляется на Юг России в военный госпиталь в качестве сиделки. И вот в конце лета, запасшись этой бумагой и обычной столовой солью, сколько было возможно (по ту сторону Урала соли страшно не хватало), Маня собралась и уехала. На обратную дорогу у нее был припасен другой документ с каким-то еще фиктивным назначением.

Женя с семьей на лето уехали в Карачи. В конце лета мне разрешили съездить к ним. Мне поручили привезти домой несколько кристаллов соли со дна озера, чтобы делать с ними ванны для Кати, у которой обнаружился рахит. Помню, как я усердно собирала эти кристаллы, слепленные в куски размером с мой кулак и больше. Вскоре выяснилось, что это противозаконно — соль была государственным имуществом и вывозить ее из города не разрешалось. Так я в первый и последний раз в жизни занялась контрабандой: оставив только легкое платье, чтобы ехать в нем домой, я тщательно завернула кристаллы в свою одежду и набила солью свой чемодан. Я приехала домой замерзшая, но очень гордая, что привезла нужное для Кати средство.

Дома я застала маминого брата Вадима с сыном Павликом, приехавших к нам пожить. Дядя Вадим был инженер-путеец, его перевели на работу в Омск; Павлик должен был поступить в выпускной класс нашей гимназии. У него нашли признаки туберкулеза легких, и дядя Вадим надеялся, что житье в Сибири, где с питанием было получше, поможет ему. Павлик был высокий, бледный, на лице у него был уже явно виден пушок, от этого все лицо казалось рыжеватым, и в моих глазах он выглядел совсем взрослым.

СНОВА В ШКОЛУ

Занятия в школе начинались 1 сентября. Лену тоже приняли, она пошла во второй приготовительный класс. Сергей учился в первом классе гимназии, я — в третьем. Впрочем, классов больше не было — теперь они назывались «группами» и нумеровались по-другому.

У меня началась алгебра. Простейшие алгебраические примеры были однообразны и скучны, я даже научила маленькую Лену, как их делать, и она порой за меня делала домашние задания. Я в этих примерах не видела никакого смысла. И как-то раз мама дала мне такую задачу, чтобы показать пользу алгебры: «Села на куст стая птичек. Сели они по две птички на ветку — одной птичке не хватило места. Тогда они сели по три птички на ветку. На этот раз одна ветка оказалась лишней. Сколько было птичек и сколько было веток?»

Я тут же загорелась узнать, сколько было птичек, вооружилась карандашом и бумагой, стала пытаться найти нужный ответ методом проб и ошибок и вскоре пришла к маме с верным ответом. Тогда мама показала

мне, как решить задачу, записав ее в виде уравнений с неизвестными. Я пришла в восторг. Подумать только — можно решать все арифметические задачи без чисел, с одними буквами! Для меня эта мысль стала таким откровением, что, несомненно, моя будущая карьера определилась именно в этот момент. Я просто дожидаться не могла, когда же мы начнем решать в классе алгебраические задачи, и с тех пор полюбила математику.

Но историю в моем классе вела мама, и это было так трудно! Я никогда не могла как следует запоминать даты, а именно знание дат и требовалось в первую очередь. Когда мама спрашивала о чем-нибудь класс, меня она никогда не вызывала, если была поднята хоть еще одна рука. Она даже как-то мне сказала: «Я знаю, что ты знаешь, — не поднимай руку!» Но когда никто не мог ответить, она спрашивала меня, а если я не давала правильного ответа, мама говорила мне дома: «Как я могу требовать, чтобы другие ученики знали, когда моя собственная дочь не знает?» Уроков истории я боялась.

В сентябре началась ранняя сибирская осень: холодные затяжные дожди, раскисшие грязные улицы, куда нельзя было выйти без галош. Проблема обуви вставала очень серьезно. Летом мы бегали босиком, как большинство детей вокруг, зимой носили валенки местного изготовления, которые продавались на рынке. Валенки промокали; если не было чулок, оборачивали ноги тряпками. Но в дождь нужны были ботинки. Маленьким они доставались от старших, залатанные и чиненные, но старшим нужны были новые, а достать их было очень трудно, так же как и галоши. Галоши бывали велики, они застревали в грязи и вытаскивать их оказывалось очень трудно. Никакой радости от прогулок не было. Начались долгие темные вечера. К счастью, у нас все еще были книги для чтения и даже карандаши и бумага, а значит, было чем заниматься за круглым столом с одной-единственной керосиновой лампой. Мы рано ложились спать.

Как-то ночью меня разбудил громкий удар грома. За окном бушевала гроза, дождь хлестал в стены дома. Ставни на окне в нашей комнате, где спали мы с Сергеем и мама, закрыты не были. Мама стояла у окна, глядя на сверкающие в небе молнии. Я вылезла из постели и встала рядом с ней. Мама обняла меня и прижала к себе; она была такая теплая. «Смотри, как красиво», — сказала мама, и мы стояли и молча смотрели в окно. Мне было тепло и уютно, огненные вспышки за окном просто завораживали. «Где-то сейчас папа?» — произнесла вдруг мама, и я почувствова-

ла, что в этот редкостный час она поделилась со мной своей самой затаенной тревогой. Я так и стояла, прижавшись к ней под ее рукой, пока она не отослала меня спать.

МАМИНО ПИСЬМО

21 сентября мама получила от папы письмо из Иокогамы. Она была вне себя от радости. Само письмо, как и многие другие документы, пропало при обысках, но папа сохранил ответ:

21 сентября 1920

Дорогой мой, милый, ненаглядный!

Сегодня получила твое письмо из Японии от 1-го августа. Не могу сказать, как обрадовалась. Ведь не знала ничего о тебе с середины января, т.е. твоего отъезда из Иркутска. О нас не беспокойся, живем вполне благополучно, насколько можно теперь в России. Главное — со мной живет теперь брат Вадим с Павликом. Его жена с Сонечкой — в Петрограде. Вадим очень много мне помогает, а главное, чувствуешь опору своего родного. Я даю массу уроков и в гимназии (той, где учатся и Маргарита, и Сережа, а с этого года и Леночка), и в вечерней школе взрослых, и лекции читаю, и частные уроки иногда даю, и вообще зарабатываю вдвое, втрое больше, чем Вадим, например, или получал бы ты, если бы был здесь. Иногда кое-что продаю — это очень легко, т.к. ничего в продаже нет, каждая тряпка, как старая проношенная ситцевая кофта, стоит тысячу. Ни с чем ценным расстаться мне не пришлось. Женя летом лечился в Карачах, но улучшения — никакого. Теперь хочет пробраться к сестрам в Ревель, ему как инвалиду дадут пропуск. <...>

Дети совсем здоровы. Особенно Катька — такой бутуз. Растет без призора и все к лучшему: такая спокойная, веселая, крепкая: еще не ходит, но встает одна на гладком полу и стоит долго, не держась ни за что. 12 зубов, ест все. Очень меня любит. Все дети тоже славные, только капризные иногда и часто ссорятся, но я верю, что несерьезно. Сережа особенно меня радует рисованием и познаниями в естеств. науках.

Милый мой, дорогой мой, если бы ты знал, как мы живем, — не беспокоился бы о нас. Матерьяльно мы живем сносно, но душа стосковалась по тебе. Помни, я всегда с тобою. Только о тебе и думаю. Целую тебя бесконечно. Крепись, жди и надейся. Я запасаясь огромным терпением, и

для меня неожиданной радостью было твое письмо. Помни: «не все на небе будет ночь, авось и солнышко проглянет». А пока главное: нам знать друг о друге — живы, благополучно. Это письмо посылаю через Ревель. Попробуй и ты писать так.

Еще раз не беспокойся. Не думай о пересылке мне денег. Здесь за деньги ничего не получишь, а что можно купить, на то у меня не хватает. Уроков я все равно не брошу, я нужна, во-первых, во-вторых, они мне дают и положение и смысл жизни и заполняют душевную пустоту.

Ну, целую крепко, крепко, без конца. Будь бодр и готовь нам новую жизнь. Я не изменила своего мнения о нашем образе действий и нахожу, что ты поступил вполне правильно. Но о многом не считаю возможным писать. Напишу еще непосредственно в Японию. Посмотрим, что выйдет. Дорогой мой, не хочется расставаться с тобой даже письмом, т.е. кончать его. Целую еще раз

Лена

21-го сент[ября] 1920 г.

Войсковая 32

Няня, Маня — неоценимы. Маня уехала сейчас к родным в Тульскую губ[ернию], но обещала вернуться, жду теперь ее со дня на день. До Вадима с нами с первого дня жил доктор Борис Евгеньевич — тоже мне очень много помогал, как доктор и славный человек. Много выручает корова — без нее было бы плохо. Летом мы взяли участок огородный в «рабочих огородах» и обеспечили себя овощами на весь год. Одним словом, изворачиваемся вовсю.

Ну еще раз целую

Л.

23-го сент[ября]. Сегодня приехала Маня. Станет легче. Последнее время было трудно в связи с отъездом Жени.

МАНИНА ПОЕЗДКА

Маниному возвращению мы были ужасно рады. Путешествие ее оказалось очень долгим, и за это время с ней столько всякого случилось! Несколько дней подряд Маня рассказывала нам все, что с ней происходило, и рассказ этот повторялся и повторялся много раз в последующие годы. Она видела людей, которые приходили на станцию в надежде вы-

менять на соль все что угодно — одежду, постельное белье, украшения. Маня купила кольцо с красивым александритом, заплатив за него маленькую часть той соли, что везла из Сибири. Семья ее справлялась с жизнью не так уж плохо, но не было муки — не из чего было печь хлеб. Имея много яблок, они пекли «яблочный хлеб», и Маня привезла нам кусочек попробовать, но откусить от него было невозможно — такой он был твердый, а Маня сказала, что от него и от свежего откусить трудно. Иногда муки настолько не хватало, что приходилось добавлять в хлеб солому. Но в целом, при определенной находчивости, у них в деревне можно было прожить вполне сносно.

На обратном пути у Мани было уже другое удостоверение в санитарный поезд, и ей приходилось быть осторожной. Маня, со свойственной ей обходительностью, стала ухаживать за ранеными, и у нее сразу же появились поклонники. Как-то на остановке в поезд вскочил мальчик. Мальчик был один, сказал, что у него нет ни родителей, ни других родственников и что он отправился «на край света». Маня сразу же прикипела к нему всем сердцем, она бы усыновила его, если бы могла, — она всегда так любила детей. Спустя много лет, рассказывая вновь и вновь эту историю, она всегда повторяла: «Такой был хороший мальчик!»

Верочка тоже слушала Манины рассказы и одновременно упаковывала последние вещи. 25 сентября Женя, Верочка, Бум и Стив уехали из Омска в Петроград. Женя почти не мог передвигаться на своих костылях, ему помогал санитар, который приехал вместе с ним из Карачей. Думаю, что Верочка без этого санитара не справилась бы. С Жениным инвалидным удостоверением все они смогли попасть в скорый поезд и прибыли в Петроград пять дней спустя, измученные и счастливые.



ГЛАВА 10

ОСЕНЬ И ЗИМА 1920 ГОДА

МАНИНА ВТОРАЯ ПОЕЗДКА

В начале октября мама попросила Маню съездить в Уфу за оставшимися вещами — забрать что можно или распродать на месте. Мама надеялась, что Маня успеет съездить до настоящих холодов, хотя октябрь в Сибири — это уже фактически зима, и температура часто падает ниже 20 градусов мороза.

Собраться и отправиться в Уфу уже само по себе было нелегко, но никто и представить не мог, как тяжела окажется сама поездка. Маня сделала все возможное и невозможное.

Добравшись до Уфы, она обнаружила, что хозяева выставили все наши вещи на лестничную площадку, боясь оставлять их у себя. Многое уже растащили. Пришлось отвезти все в дом к кому-то из наших друзей и уже там разбираться. Взять с собой все Маня, конечно, не могла. Что-то пришлось продать, а продавать тоже было непросто: многое ушло за бесценок.

Среди вывезенных Маней вещей были китайские шахматы из слоновой кости, которые мамин отец в свое время привез, кажется, из Турции. Главное, Маня собрала всю зимнюю одежду, одеяла, постельное белье, фамильное столовое серебро и те немногие украшения, которые оставались у мамы. Самые мелкие вещи Маня спрятала на себе под одеждой.

Обратно ехать пришлось долго. В набитом нетопленном вагоне третьего класса Мане посчастливилось занять верхнюю полку, где можно было лечь. Но в пути Мане стало нездоровиться, началась лихорадка. Сказали, что это малярия.

Маня лежала почти без сознания, и больше всего беспокоилась за те вещи, что спрятала на себе. Головой она свешивалась с полки, волосы касались окна. Так она и заснула, а когда проснулась, почувствовала, что

не может пошевелить головой, потому что волосы примерзли к стеклу. Соседи по вагону не сразу поняли, что с ней, и пришлось так ехать до ближайшей станции, где один из пассажиров раздобыл кипяток. Только тогда, осторожно полив ей на волосы, смогли ее освободить. Всю дорогу ее трясло то от жара, то от холода, но к Омску стало немного лучше.

Мы были счастливы, что она вернулась. Через несколько недель Маня поправилась, но приступы малярии повторялись у нее и много лет спустя.

Конечно, все радовались тому, что удалось вернуть вещи. Среди привезенных Маней книг были роскошные иллюстрированные издания по истории, необходимые маме для работы, в которые Сережа тут же впился. Были там и два тома Брэма — их он буквально проглотил за несколько месяцев. Был огромный пятитомник Шекспира в русских переводах и трехтомник Шиллера, тоже в переводах, с прекрасными иллюстрациями, каждая из которых закрывалась тонкой папиросной бумагой¹⁰.

Не только Сережа — и Лена, и я с головой ушли в чтение. Мы и раньше видели эти книги, но теперь стали старше и доросли до них. Началась новая эпоха нашей жизни: стало возможным читать дома, читать много и не истрепанные библиотечные детские книги, а великолепные издания, с которыми надо было обращаться очень осторожно. Чудесные картинки помогали справиться даже с самым трудным текстом.

В китайских шахматах, к нашему огромному огорчению, не хватало белого ферзя, всех четырех коней и белой пешки — видимо, их украли, соблазнившись красивыми фигурками: ферзь был изящной статуэткой, а коней изображали действительно кони, с гарцующими всадниками. Фигурки были белые и красные, белые — нападающие — солдаты-пешки бежали вперед с копьями, — а красные, одетые в маньчжурскую форму, с косами за спиной — защищающиеся: пешки-солдаты — со щитами и короткими мечами. Играть теперь было невозможно, но мы бережно хранили их, любуясь красотой фигурок. Только раз в жизни мне довелось видеть подобные шахматы — в Стамбуле, в собрании сокровищ султана (теперь превращенном в музей).

ШКОЛЬНЫЕ ЗАБОТЫ

В школе кончился уголь, и стало нечем топить печи. Через несколько дней замерзла вся система отопления, трубы лопнули. Теперь для их ремонта необходимо было согреть все двухэтажное здание с высокими

потолками, толстыми стенами и огромными лестничными пролетами. Было ясно, что иначе школу придется закрыть, потому что сибирские морозы до весны не ослабевают.

Существовал только один способ согреть все здание — поставить во всех классах и коридорах по железной печке-буржуйке и топить их не переставая, пока не установится нужная температура и не растает лед в трубах, а потом слить воду из труб. Городские власти пообещали дать уголь, если школа сделает все остальное.

Считалось, что теперь школой управляют сами ученики, так что именно ученикам и предстояло заниматься этой проблемой. Созвали митинг и на нем решили собрать печки по домам у себя и у знакомых. Родители обещали помочь. Что такое печка-буржуйка, все знали, поскольку именно такими печками в основном и обогревались. Пришлось к тому же организовывать круглосуточную вахту около печек — следить, чтобы они топились непрерывно в течение нескольких дней.

Основная нагрузка пришлась на старшеклассников, но и более младшие, такие как я, тоже помогали в дневное время. Пришлось топить почти целую неделю. Наконец городские власти прислали слесаря, который починил лопнувшие трубы. Чинил он дня два, и все это время тоже надо было топить буржуйки день и ночь.

А потом все ученики, старшие и младшие, вместе с родителями убрали ужасную грязь, которая осталась от тех дней. Нас восхваляли как героев, даже люди из Наробраза, посетившие школу в день открытия, хвалили нас за нашу страсть к учению. Но их недружелюбного отношения к старой директрисе, по-прежнему возглавлявшей школу, это не изменило.

Именно в это время было объявлено, что «неграмотность должна быть полностью искоренена в кратчайшие сроки». Любой житель старше семи лет обязан был доказать, что умеет читать и писать. Всех неграмотных записывали в школы или на вечерние курсы ликбеза (ликвидации безграмотности). Под вечерние курсы занимали подходящее помещение и всех учителей, каких только могли, посылали туда преподавать. Неудивительно, что у мамы учительская нагрузка была максимальная. Она преподавала историю, географию и литературу во всех классах, читала лекции и вела административную работу. Все это она делала с полной отдачей, все еще веря, что именно образование в конце концов сделает людей свободными.

Мы очень волновались за няню. Она была слишком старой, чтобы учиться. Мы пробовали ее учить, но она даже букв не могла выучить. Возраста своего она тоже не знала. Единственное, по чему мы могли как-то установить ее возраст, было ее воспоминание, как в детстве она работала на полях вместе с другими детьми — собирала камни в мешок за спиной. «Трудная была работа», — говорила она. Все это было еще до освобождения крестьян в 1861 году. То есть если она родилась где-то году в 1854-м, значит, ей должно было быть не меньше шестидесяти семи лет. У нее всегда, сколько я ее помнила, лицо было морщинистое, как печеное яблоко.

Так или иначе, но угроза, что няню заставят ходить в школу, почему-то миновала. К ней никто с этим не приставал.

Рассказывали, что в школах ликбеза люди за три месяца выучивались читать и писать. После этого их объявляли грамотными. Еще месяц обучения — и их посылали учить! Школьники у нас гадали, не пришлют ли и нам таких учителей?

ВТОРОЕ МАМИНО ПИСЬМО

Из всех маминых писем папе дошли только три. Она же от него не получала вестей с сентября 1920 года. Поэтому в ноябре мама пишет, не зная, дошли ли ее предыдущие письма, и не зная, дойдет ли это. Понимала мама и то, что ответные послания тоже могли не доходить.

10-го ноября 1920 г.

Мой милый, дорогой!

Писала тебе уже несколько раз. Не знаю, что дошло до тебя, трудно все повторять, потому пишу сейчас кратко. <...> Я учительствую, даю свыше 50-ти уроков в неделю, т.е. 8—9 уроков ежедневно и в утренних и в вечерних школах (для взрослых). Зарабатываю за трех, т.к. в одной школе я председатель школьного совета, в другой товарищ председателя, в третьей секретарь. Получаю до 15 тысяч (Вадим только 3), но все-таки на это прожить нельзя. <...> Сережа по-прежнему рисует и очень увлекается естественными науками. Муля учится хорошо, любит лепить, пробовала брать уроки музыки, но пришлось оставить, т.к. трудно было ходить упражняться в чужой дом. Теперь у нас дома есть рояль, и она опять

начнет брать уроки. Кто сильно изменился — это Катька: толстая, крепкая, начинает ходить и лепетать и забавляет весь дом.

Мой дорогой, живу одной мечтой — соединиться с тобой. Бывают минуты слабости и тоски, но чаще периоды бодрости. Придет же время свидания! А пока я все-таки не одинока. Есть брат, он все-таки много помогает. Есть друзья. <...>

Мой дорогой! Живи с Богом, бери от жизни, что можно, только не забывай, не разлюби меня. Сюда ни за что не приезжай. Убеждена, что мы поступили год тому назад вполне правильно. Когда будет возможность с оказией, пришли мне немного иен. Но не беспокойся. Я проживу и без них. С тех пор, как я узнала про тебя, я совсем успокоилась, только бы еще узнавать, а сил и бодрости и терпения у меня хватит надолго. Но ради Бога, будь бодр духом, не волнуйся за нас, не тоскуй, но и не забывай, верь в меня и помни, что я тебя бесконечно люблю: как люблю, я, м.б., только теперь поняла. Целую много раз.

Л.

Друзья и гости

Одной из лучших маминых знакомых была Марня Эрнестовна Шестакова, дочь известного художника Эрнеста Липгардта. Не знаю, как она попала в Сибирь. Мы ее знали как Машеньку Липгардт. Познакомились они с мамой через Женю. Машенькин отец был знаком с семьей Бенуа, и Женя знал ее еще по Петербургу. Двух ее сыновей мы видели редко, да и она сама в это время много болела. Мама навещала ее по возможности часто, но сама Машенька к нам не приходила, по крайней мере я ее у нас не помню. По-видимому, она была вовлечена в какое-то из политических движений того времени. Я ходила к Машеньке заниматься на фортепьяно. Из обстановки ее жилья запомнился мне только большой, почти в полный рост великолепный портрет то ли ее самой, то ли ее мамы в вечернем платье, который висел в маленькой комнатке, странным контрастом со всем окружающим. Там даже некуда было отойти, чтобы рассмотреть его как следует.

Пожилая чета Навалихиных жила в Омске с давних пор. У них была единственная, очень поздняя, обожаемая дочь. К политике они никакого отношения не имели. Навалихины были как-то знакомы с Юзей, ста-

рым маминым знакомым еще с Выксы. Именно через Юзю Валериан Павлович Навалихин познакомился с учением йогов, которое ему так помогло впоследствии и о котором он часто рассказывал маме.

Гораздо позже, после маминой смерти, он писал папе: «...С Еленой Павловной мы частенько беседовали об этой философии, и она всегда с большим интересом относилась к этому учению, находя, что оно вносит какую-то душевность и примирение со многими вопросами последнего периода ее жизни, на которые она не могла найти ответов в “Критике чистого разума”, положенной ею в основу своей жизни. Ее чуткая и светлая душа искала успокоения в другой плоскости, вне того строго логичного, но подчас сухого и жесткого нашего разума...»

Среди всех наших знакомых дом Навалихиных был единственным добротно устроенным, вполне зажиточным. Они охотно разрешали нам пользоваться их прекрасной библиотекой. Помню елку у Навалихиных с такими прекрасными игрушками, каких я нигде раньше не видала. Мне подарили маленькую картонную бабочку с елки, раскрашенную золотой и серебряной краской. Я ее потом хранила много лет.

На втором году нашего пребывания в Омске дочь Навалихиных умерла. Родители были безутешны. Комната ее оставалась точно такой же, как и при ее жизни, — они не решались ничего в ней изменить. Было так странно заглядывать туда.

В доме у нас бывали и тайные гости. Один такой человек появлялся дважды или трижды и каждый раз под другим именем. Прежним именем его называть было нельзя — это мы хорошо усвоили. Возможно, он был одним из маминых сокамерников по Уфе, во всяком случае, мама его, по-видимому, хорошо знала.

Обыски у нас случались несколько раз — приходили красноармейцы, быстро осматривали дом, задавали какие-то вопросы и уходили. Но случилось и так, что они нагрянули, когда этот человек находился в доме. Взрослые вступили с солдатами в разговор, стараясь протянуть время и не пустить их дальше, гость же влез в подпол в кухне и спрятался там среди мешков картошки — мы только что убрали урожай.

Солдаты вошли в кухню. Я стояла, глядя на них и боясь взглянуть на дверцу подпола (а вдруг они заметят, куда я смотрю?) и не взглянуть туда (а вдруг они заметят, что я туда нарочно не смотрю?). Не найдя никого, красноармейцы ушли, а человек выбрался из подвала, весь грязный и

испуганный. До вечера он прятался у нас, няня поила его чаем, а затем он ушел, и мы больше никогда его не видели.

Мама была все время так занята, что почти не доводилось с ней о чем-нибудь поговорить. Но мне отчетливо передавалось общее ощущение тревоги. Мы знали об арестах и обысках и чувствовали нарастающий страх. Очень рано мы научились понимать, что есть вещи, о которых не надо говорить с чужими. Как-то раз я увидела, что мама разглядывает фотографию человека, прятавшегося у нас в подвале. «Надо бы ее порвать, — сказала она. — Но я ведь ничего не знаю, что с ним случилось, вообще не знаю, жив ли он», — добавила она и положила фотографию в ящик стола. В другой раз я видела, как она прятала свернутый флаг — запрещенный старый российский флаг, символ антибольшевизма, хранить который было опасно. Я притворилась, что ничего не вижу, и постаралась об этом забыть.

Скорее всего, мама, как и многие другие, подобные ей, надеялась, что установившийся в стране строй еще может измениться. Эсеры оставались самой многочисленной партией в стране — это позволяло надеяться, что идеалы свободы, равенства, справедливости, казавшиеся такими близкими в феврале 1917 года, еще осуществятся.

СТРАХ

В декабре дяде Вадиму пришлось по делам поехать в Читу — почти за 3000 километров, за озеро Байкал по Транссибирской магистрали. Павлик, естественно, остался с нами, чтобы не прерывать занятий в школе. Сколько дядя Вадим там пробудет, никто не знал, маме его очень не хватало, и мы все надеялись, что он вернется к Рождеству.

Рождество прошло, а дядя все не возвращался. Всюду расползались слухи об арестах и о расстрелах арестованных — поодиночке и большими группами. Эти новости никогда не появлялись в газетах, их передавали на ухо, и никогда нельзя было сказать, что правда, а что нет. Говорили, что осужденных на казнь заставляют вырыть огромный ров, а затем ставят на краю и расстреливают, чтобы они падали прямо в ров, как в готовую могилу. Ходили даже слухи, что все это известно от человека, которого расстреливали вместе с остальными, но не убили, а потом, когда солдаты ушли, он сумел выбраться из-под тел погибших и так спастся.

Дети ко всем этим рассказам относились как к обычным сказкам и пугались не больше, чем серого волка или Бабы-яги. Для детей сказки — тоже реальность. Но те, кто был постарше, чувствовали разницу между миром сказок и миром реальным. Впрочем, я думаю, что мы больше отзывались на страх, царивший среди взрослых, чем на сами новости, но все равно сознание этого страха и окружающего жестокого насилия оставалось у детей в подсознании и проявлялось много лет спустя в неожиданных реакциях или кошмарных снах. Но пока что мы жили своей обычной жизнью, играли, дружили, ссорились, делали уроки, стремились к успехам в школе и представляли себе дальнейшую жизнь такой же. Я думаю, что и взрослым заботы о детях помогали отвлекаться от непрерывных мыслей о политике и повседневных страхов.

Мама получила от папы открытку, чудом уцелевшую потом при обыске (может быть, потому, что она была написана по-французски). Папа писал ей:

27 VII 20

Chère amie, je t'embrasse très tendrement aussi que nos petites et je veux te dire que je me porte très bien. Je suis à Osaka (Japon) c/o Babcock à Wilcox Ltd, 47 Kitohama 3 chyme. Je suis entré en service en qualité d'ingénieur pour leur bureau à Osaka. Je serais heureux de savoir que vous tous trouvez bien et de vous envoyer de l'argent, ou bien vous faire venir chez moi. Il y aurait moyen de vivre ici pour tout le monde. Essai de m'écrire par Finland ou autrement mais fais-le énergiquement. Je t'embrasse 10⁶ fois. Bien à tous.

*Jean**

Мама по-прежнему писала папе письма. У меня сохранилось еще одно из них — последнее. В нем ощутишь, чем в первых двух, звучит отчаяние, но она все еще бодрится и старается не огорчить мужа:

*Дорогая моя, нежно обнимаю тебя и наших малышей. Я здоров, нахожусь в Осаке (Япония) по адресу Бабкок и Уилкоккс Лтд. 47 Китохамма 3. Я получил место инженера в их отделении в Осаке. Был бы счастлив узнать, что у вас все хорошо и послать вам денег или привезти вас сюда. Мы могли бы здесь прожить все. Постарайся писать через Финляндию или еще как-нибудь, но очень постарайся. Целую миллион раз. Всего доброго.

Иван

18/1 21 Омск

Мой дорогой! Так много раз писала тебе, не зная, дойдет ли это письмо до тебя! Но повторяться больше не хочу: авось хоть одно мое письмо ты получил. Я живу по-прежнему сравнительно благополучно, но с каждым днем все труднее и труднее переносить разлуку. Господи! Хоть переписываться можно было бы регулярно! Хоть бы на одно свое письмо я получила ответ! Все чаще находят минуты слабости, когда хочется кричать: я больше не могу! И материально жить все труднее: предметы продовольствия растут в цене гораздо скорее, чем то, что я могла бы продавать, не говоря уже о зарботке. Все-таки я по-прежнему говорю тебе с уверенностью: я проживу неограниченное время, если и не получу от тебя помощи, только вот Маня меня не бросила бы и няня не сдала окончательно: уж очень им трудно приходится. Я работаю по-прежнему много, даже больше, очень похудела и постарела, ты меня не узнаешь. Квартира наша оказалась очень холодной и, главное, сырой: все стены в плесени: дети все время прихварывают. Как ты представляешь себе наше соединение? Конечно, я очень хотела бы приехать к тебе, но возможно ли это? Ведь по законам Сов. Республики даже переезд внутри страны по собственному желанию невозможен, а выезд за границу тем более. Разве ты оттуда можешь содействовать? Чтобы ты приехал сюда, я по-прежнему не желаю: уж очень тебе трудно будет. Правда, твои знакомые все пишут, что ты бы мог «отлично устроиться», но ты и представить не можешь, до чего мы все опростились и приспособились. Боюсь, ты бы не выдержал. <...> И то надо принять во внимание: 1 цена стоит, говорят, до 5000 р., а инженеры получают 10 000—15 000 р. Но соединиться же нам надо наконец! Живешь ли ты только этой мечтой, как я? Если ничего не выйдет до лета, все же я думаю, в Омске мне оставаться теряет смысл: по всем рассказам, в Москве и Петрограде жить легче, чем здесь. Цены здесь почти сравнялись с петроградскими, а зарботки меньше, квартиры хуже, климат убийственный, а главное — одиночество, оторванность от всех своих. Если нельзя будет к тебе, буду пробовать в Россию. <...> Умерла тетя Дуня. Вадим все еще в Чите. <...> Пиши, дорогой мой, чаще и подробнее. Просто невыносимо хочется вестей от тебя. Получила только два письма из Японии: от 1-го августа и от 31 августа — три открытки. Жду поддержки добрым словом.

Хорошо бы получить от тебя немного цен (не сов[етских] денег). Еще бы лучше предметов: катушек, мануфактуры, чулок — но ведь это не скоро будет возможно, и я на это не надеюсь.

Целую без конца

Лена

Все чаще в дом стучались нищие, а кусочки хлеба, что им подавали Маня и няня, становились все меньше. Бывали среди нищих такие изможденные, что няня, подавая им кусок хлеба, только качала головой и не спрашивала ни о чем. «Не жилец», — говорила она, закрывая дверь. Один постучался к нам в дверь, а потом мы видели его, когда шли в школу, — вконец обессиленный, он сидел на ступеньках чужого дома, а когда мы шли обратно, он все еще сидел там — но уже мертвый.



ГЛАВА 11

ГИБЕЛЬ МАМЫ

АРЕСТ

Теперь у нас дома остались только женщины и дети. Даже Павлика, хотя ему уже было семнадцать лет, еще считали ребенком. Неудивительно, что все ставни плотно закрывались на ночь, а двери запирались на все засовы. Улицы были полны грабителей. Обычная шутка тогдашних грабителей: «До десяти часов шуба ваша, после десяти — наша». Так они приговаривали, снимая шубу с беззащитных прохожих. Спать мы ложились рано, потому что вечера тянулись долго, а такого света, чтобы почитать, не было.

16 февраля было обычным, по-сибирски холодным днем. К четырем уже стемнело, и на ночь закрыли ставни. Все дети собрались вокруг стола с единственной керосиновой лампой — старшие готовили уроки под моим присмотром, а младшие играли неподалеку. Мама, как обычно, ушла утром и должна была вернуться поздно, после вечерних курсов. За столом то и дело вспыхивали перепалки и ссоры, но няня, привычная к ним, отрывалась от своего вязания, только когда дело доходило до драки. На кухне у Мани горела свеча. Поужинали мы без мамы. Няня уложила маленьких, Лена уткнулась в книжку, Сережа снова взялся за свои рисунки, а я наконец смогла спокойно заняться собственными уроками. Но тут как раз пришла мама, вся в снегу, и мы накинулись на нее, едва лишь она сняла шубу и шапку. Каждый со своим — и рассказы о том, что случилось за день, и жалобы, и рассказы об успехах, и просьбы помочь. Маня принесла ей подогретый суп и кашу. Мама ела и слушала, отвечала на вопросы, утешала, одобряла.

Наконец ей удалось уговорить всех лечь спать и начать готовиться к завтрашним урокам. Я понимала, что у мамы нет времени поговорить со мной, но утешалась тем, что спала в той же комнате, что и она, и могла

смотреть на нее, как она сидит за столом, склонившись над книгами и тетрадами.

Мама все еще работала, когда громкий стук в дверь разбудил Маню, спавшую в соседней комнате. Ночной стук в дверь! Все хорошо знали, что это значит! Накинув пальто, которым она укрывалась, Маня открыла дверь. Два человека в штатском и в сапогах и трое солдат в шинелях и буденовках быстро вошли и без всяких объяснений начали шарить по комнатам, расталкивая мебель, будя детей, заглядывая во все углы. Кто-то зажег керосиновую лампу. Маня и няня закутали в одеяла испуганных детей и сами, бледные, сидели на кроватях и следили за происходящим. Мама совершенно спокойно отвечала на все вопросы пришедших и показывала вещи, которые их интересовали, прежде всего ее письменный стол, стоящий вплотную к моей кровати. Сидя в постели, я видела, как человек в штатском вытаскивал ящики и высыпал их содержимое на стол, на котором росла куча бумаг, писем, маминых записей и фотографий. Он вырывал карточки из старинных альбомов, с красивыми переплетами и овальными вырезами для фотографий. Это были портреты дядей, тетей, бабушек и дедушек, которых я не помнила, но лица которых я так часто рассматривала вместе с мамой. Карточки детей и знакомых высыпались поверх этой кучи.

В ужасе я смотрела на груды фотографий. Где-то там должна быть фотография человека, который прятался в подвале во время обыска! Вот она — лежит прямо сверху. Человек в штатском, покончив с письменным столом, вышел в другую комнату вместе с мамой. Перед столом остался один из солдат. Он стоял спиной ко мне, и я могла бы протянуть руку и выхватить эту карточку из кучи... А вдруг солдат заметит? Ведь совсем бесшумно не получится, и тогда я привлеку его внимание именно к этой карточке. А так, может быть, они не заметят ее в такой куче? Я замерла в нерешительности. В следующую минуту человек в штатском вернулся и стал ссыпать в мешок все бумаги со стола.

Вошла мама, одетая в шубу. «Я должна пойти с ними. Пока...» Она наклонилась и поцеловала меня. Я выскочила из кровати и пошла за нею к выходу. Все дети, Маня и няня стояли там. Мама поцеловала каждого и, обратясь к Мане, сказала: «Я не знаю, когда я вернусь. Береги детей и постарайся связаться с их отцом». Потом, повернувшись ко мне, добавила: «Люби и помогай брату и сестрам! Помни, что ты старшая...» Солдат открыл дверь. Все вышли и увели с собой маму.

БЕЗ МАМЫ

На следующее утро Маня предупредила Сережу и меня, чтобы не говорили в школе о том, что случилось ночью. Только одной учительнице, маминой приятельнице, можно было сказать, что маму арестовали. Маня решила пока оставить Лену дома.

В первый раз мы шли в школу одни, без мамы. Было мучительно в школе не говорить о том, что нас волновало, слушать учителя, отвечать на вопросы, вести себя, как будто ничего не произошло. После уроков мы с Сережей сразу ушли. Скорее домой — а вдруг мама уже там? Но мамы не было.

Маня сказала, что она сразу же с утра пошла к Марии Эрнестовне сказать ей о маме, но застала там только солдата, сторожившего квартиру. Оказывается, Мария Эрнестовна тоже была арестована прошлой ночью. Маленьких ее сыновей взяли к себе соседи.

Тогда Маня решила пойти к Навалихиным, рассказать, что случилось, и посоветоваться, что делать дальше. Навалихины жили от нас довольно далеко, идти пришлось долго. Навалихин сказал, что Маня должна пойти в Чека и навести справки о маме.

Здание Чека было в центре города. Пришлось снова долго идти пешком. В здании толпилось много людей, главным образом женщин, пытающихся узнать что-нибудь о своих близких. Маня, всегда осторожная, мало вступала в разговоры, но, слушая других, поняла, что в прошлую ночь было арестовано более ста человек.

У меня до сих пор хранится маленький клочок бумаги, на котором Маня написала свой запрос: «Числится ли здесь Зарудная Елена Павловна?»

И внизу приписка-ответ: «Числится за Омгубчека».

На следующий день Маня набрала кое-какой еды и отнесла маме передачу. На записке надо было перечислить все, что она принесла. Наверное, кто-нибудь писал вместо нее, потому что написано не Маниным почерком: «2 фунта хлеба, 1/4 аршина колбасы, бутылка молока, 3 котлеты».

Эта записка вернулась к Мане. На обратной стороне маминой рукой было написано: «Спасибо! Принесите мне 2 жест[яные] кружки, 2 супные ложки, 1 тарелку глубокую, чайник или соусник, чулки, башмаки, белья, книгу для чтения. Я здорова. Лена».

Дома все как-то притихли. Маленькие играли как всегда и иногда спрашивали: «А когда мама придет?» Им отвечали: «Ей надо было уехать. Она скоро вернется!»

Все ждали с нетерпением возвращения дяди Вадима. Он появился на следующий день поздно вечером и наутро сразу пошел разузнавать в Чека. Его там же и арестовали. Дядя Вадим никогда не имел отношения к политике. Он был лояльным и надежным работником в управлении железной дороги. Его явно арестовали только за то, что он был мамин брат. Павлик страшно тревожился, и мы все вместе с ним.

Заведующему Губернским отделом юстиции была послана характеристика из Губнаробраза.

Оставалось только ждать.

Мы все старались жить по заведенному порядку. Няня ходила страшно хмурая и все время что-то ворчала себе под нос. Главной стала Маня, именно ей теперь приходилось решать все — какие вещи нести на базар, что обменивать на еду, а что на сено для коров или на дрова. Маня ходила на базар, торговалась с крестьянами, продавала, меняла и, по крайней мере, раз в неделю собирала и относилa передачи для мамы и дяди Вадима.

Записки на маленьких листках бумаги, обычно написанные аккуратным почерком Павлика, со списком продуктов и вещей, передаваемых маме в Чека, и с мамиными короткими ответами на оборотах Маня сумела сохранить до встречи с папой. Папа их часто перечитывал, но никогда не показывал нам. Уже после его смерти Лена нашла среди его бумаг конверт с пожелтевшими листочками.

Около 1 марта мама сумела передать дяде Вадиму в Чека короткую записку, которую надо было, прочитав, сразу же уничтожить. Выйдя на свободу, он записал ее слова по памяти и дал Мане: «Мне хорошо. Условия содержания лучше, чем ожидала. Но обвинения мне представлены тяжкие. Если не удастся оправдаться, то смерть. Для меня смерть не тяжела, но болею душой за вас и детей».

Но мы в то время об этом ничего не знали. Лена, Сережа и я ходили в школу, где, по-видимому, все уже знали, что с нами случилось, но молчали. Мы себя ощущали отчужденными от большинства одноклассников.

Дома я чувствовала, что все заботы об образовании и воспитании детей теперь легли на меня, именно так я понимала мамину роль. Я при-

выкла, что Маня и няня кормили нас, купали, вели дом, смотрели за огородом и за коровами, ходили на базар, укладывали нас спать и следили, чтобы мы не ссорились. Но образование — это мамино дело, не могут же они следить за нашей учебой!

Лена давно обогнала свой возраст по чтению, но с таблицей умножения у нее были те же трудности, что и у меня. Я ломала голову, как ей помочь, и наконец придумала игру. Мы садились на пружинную кровать и начинали повторять, подпрыгивая на пружинах. «Шестью три?» — спрашивала я, мы отвечали «восемнадцать», и я дергала ее за левое ухо. «Шестью пять?» — «тридцать», дергаем за правое ухо. Для каждого примера я старалась найти новое место и всегда одно и то же для одного и того же числа. Мы обе забавлялись такой учебой, и, кажется, Лена все-таки что-то запомнила, пусть и ненадолго. Большого успеха мы не добились, но это была моя первая попытка разработать новый метод обучения.

Ответственность, которую я на себя взвалила, была мне совершенно не по плечу. Я даже не представляла, до какой степени была к ней не готова. Я командовала младшими, требовала от них послушания и постоянно теряла терпение от их споров и сопротивления, особенно Сережи. Не имея достаточного авторитета, я дралась с ним, к ужасу Мани, которая считала меня только старшей из детей и соответственно ко мне относилась.

Но я-то сама себя чувствовала не такой, как все. Прежние «главные» вопросы волновали меня даже больше, чем раньше. Несоответствие между тем, чему нас раньше учили на уроках Закона Божия, и физической географией, которой нас учили теперь, не давало мне покоя, потому что было очевидно, что учителя нам лгут, ведь не может же быть, что и то и другое — правда. Уже сама эта мысль, что учителя могут лгать, была убийственной. Но, кроме того, я чувствовала, что мне надо знать правду прямо сейчас, и я не знаю, как ее найти. Мамы не было, но я и до ее ареста не могла себя заставить поговорить с ней о том, что меня мучило. Из-за застенчивости и гордости я не обращалась к Павлику, боясь, что сразу как начну говорить, так начну плакать, а это даже представить себе было невозможно. Ночью я не могла спать от непонятной тоски и тревоги. Я даже помню, как однажды вылезла посреди ночи из окна, залезла на крышу и ходила по краю ее, чтобы обыкновенный страх вытеснил это неясное безысходное беспокойство. Наутро я встала как обычно, будто ничего и не было.

8 марта мамина записка была написана неровным почерком: «Все получили. Спасибо. Книги читают товарищи. Здорова. Сегодня вечером думайте обо мне. Лена». Последнее было непонятно и страшно.

10 марта мама пишет: «Все получила. Большое спасибо всем. Пожалуйста, Маня, выстирай белье для М.Э. — ей некому. Сегодня рождение Кати. Я здорова. Тюрма к лучшему. Зарудная».

Значит, Мария Эрнестовна была с нею! Что означало «тюрма к лучшему», мы поняли только позже.

13 марта Вадим, все еще в Чека, получил другую записку от мамы: «Прости меня ради Христа. Тебя взяли только как пытку мне. Что они требуют от меня — ты не знаешь. Я во всем созналась, а что они еще от меня добиваются, ты не знаешь. Поэтому говори все, что знаешь. Для себя считаю смерть неизбежной».

Эту записку, как и первую, Вадим по памяти записал много позже.

16 марта мама пишет нам в конце записки: «Получили ли вы мое жалование за 1-ю половину февраля и вторую? Всего около 20 000 р. Отелилась ли корова?»

Корова благополучно отелилась, но наш ответ маме несколько раз не пропустили (видно, думали, что это какой-то код, или не хотели передавать ей хорошие новости). В конце концов Маня запекла ответы в булочку. Кажется, мама их получила, потому что больше не спрашивала.

2 апреля Манину передачу не приняли, сказав, что мама переведена из Чека в тюрму. Тут мы вспомнили мамины слова «тюрма — к лучшему» и воспрянули духом.

Вскоре после этого выпустили дядю Вадима. Он вернулся похудевшим, но в общем таким же, каким был. Дядя Вадим опять стал играть на виолончели в симфоническом оркестре по вечерам, так что мы видели его мало, но для Мани и няни его присутствие дома было огромной опорой.

Мамины записки, которые он смог написать по памяти, их страшно напугали, но так как мама была теперь переведена в тюрму, а она написала, что «тюрма — к лучшему», они надеялись, что мамины опасения были преувеличены.

Первая мамина записка из тюрмы датирована 3 апреля: «Пришлите работы: чулок для штопки, холста для салфеточек и ниток. Белье посылала вам еще из Чека в ту субботу, а также стихи Якубовича¹¹. Получали ли вы это? Теперь посылаю еще грязное белье (я сама в чужом) и клетчатую] блузу, которую прошу выстирать и прислать возможно скорее.

Лучше нет для тюрьмы. <...> Я здорова и мне хорошо. Крепко целую всех. Где Тоня? Е. Зарудная».

Здесь мама в первый раз упоминает о Тоне, которую она наняла в помощь Мане и няне. Тоня часто уходила гулять с солдатами, и Маня подозревала, что она слишком много рассказывает про нашу семью. Перед самым маминым арестом Тоня от нас ушла.

Так или иначе, похоже было, что мама рассчитывает провести в тюрьме долгое время, и нам надо приспособливаться к жизни без нее.

Чтобы показать, что дети здоровы и неразлучны, Маня решила вывести нас всех к тюрьме в день передачи, надеясь, что мама сможет нас увидеть через окно. Посещения эти были ужасны.

Здание омской тюрьмы строилось в начале XVIII века как крепость, но скоро превратилось в военную тюрьму. Это огромное здание, окруженное рвом и валом. В XIX веке здесь сидел Достоевский, именно здесь написаны «Записки из Мертвого дома». Узкие окна вдоль всей длинной серой стены, забранные решетками. Заключением изнутри трудно подойти к окнам. Да им это и запрещалось — в стороне, между тем местом на валу, где мы стояли, и самой тюрьмой часовой с вышки стрелял по окнам, если замечал лицо заключенного. Вся стена вокруг окон была испещрена следами от выстрелов.

Мы молча стояли перед окнами. Лица заключенных с такого расстояния были неразличимы, но Маня, хорошо видевшая издали, по-видимому, знала, где мамино окно, хотя и непонятно, каким образом. Ужасно было думать, что мама может подойти к окну поглядеть на нас и ее могут за это застрелить. Я мучительно старалась представить себе, как выглядит мамина камера, как мама в ней живет, как ее водят на допросы. Я только об этом и могла думать, стараясь удерживать на месте младших, пока мы стояли, выстроившись «лесенкой», как на фотографиях, которые папа любил делать каждый год.

Маня водила нас к тюрьме несколько раз, и однажды часовой решил с заключенными «пошутить» — вместо стрельбы он взял кусочек зеркала и направлял зайчика на окно, в котором замечал лицо. Этот зайчик почему-то оскорблял меня даже больше, чем стрельба.

В то время у меня появилась устойчивая боязнь темноты — я не могла войти в темную комнату. Все было ничего, пока я лежала в кровати под одеялом, но стоять или сидеть в темноте стало для меня непереносимо. Я стыдилась своего страха, особенно потому, что считала себя обязанной

подавать пример младшим. В привидения я не верила, но, даже зная, что в комнате никого нет, что меня никто не обидит, я все равно не могла выдерживать темноту.

Считая свой страх глупым, я решила его преодолеть. Собравшись с духом, нарочно вошла в темную комнату. Сердце мое колотилось, руки леденели, но я все-таки простояла несколько секунд и затем пулей вылетела из комнаты. Я повторяла это снова и снова, раза два за ночь, и постепенно могла оставаться в темноте уже дольше и в конце концов избавилась от своего страха.

6 апреля мама пишет, что «получила все, кроме записки». Нам действительно приходилось писать очень осторожно — если дежурному в записке что-то не нравилось, мама могла ее и не получить.

24 апреля, в Вербное воскресенье, мама написала: «Пришлите мне к празднику 2 светлых шелковых кофточки, две светлых юбки (для меня и М.Э.). Белья полную смену. Наволочку, скатерть. Простыню детскую. Справляйте праздник как следует и мне что-нибудь присылайте. Целую крепко всех. Е. Зарудная».

Значит, и Мария Эрнестовна была переведена в тюрьму. По крайней мере, у мамы был кто-то близкий.

Маня и няня сделали все, что могли, готовясь к Пасхе. Корова и куры у нас были свои, так что имелось самое главное для праздника — творог и яйца. Мане удалось выменять белую муку, и няня испекла великолепные куличи. У нас, конечно, не нашлось красок для яиц, но няня научила нас красить яйца тряпочками и луковой шелухой, и это оказалось гораздо интереснее красок.

В субботу 30 апреля Маня отнесла маме в тюрьму пасху, кулич и несколько яиц. В ответ мама написала: «Христос воскрес! Всех крепко целую и поздравляю с праздником. Очень благодарю. Детских подарков не получила. Е. Зарудная».

Не помню, что мы ей послали. Это были, наверное, наши самые красивые яйца, Сережины рисунки, может быть, наши стихи. Она их не получила! Так было жалко!

В ту ночь в 11 часов Маня и няня пошли к заутрене в соседнюю церковь и взяли меня с собой. Няня несла узелок с куличом и яйцами, чтобы освятить их во время службы. Церковь была полна народом.

Вряд ли я об этом подумала тогда, но теперь, когда я вспоминаю то время гонения на религию, повальных арестов и бесконечных тайных рас-

стрелов, я думаю: кто из тех молящихся пришел искать утешения в празднике торжества надежды над отчаянием, жизни над смертью? У кого из них душа болела за арестованных родных или друзей, может быть, уже не живых, кто молился о спасении заключенных в тюрьмах или спасающихся бегством?

Двери церкви были открыты настежь. Люди толпились на паперти. Мы протиснулись внутрь. Маня купила нам свечи, и мы зажгли их от соседних. Я была много ниже всех окружающих, и когда стало так тесно, что держать зажженную свечу стало невозможно, пришлось ее потушить. Я расстроилась — держать зажженную свечу было для меня одной из главных радостей от службы. Толпа напирала все сильнее, порой кто-нибудь пробивался вперед, тогда люди теснились, пропуская его. Служба шла еще очень сдержанно, но во всем чувствовалось напряженное ожидание. Священники, дьякон и прислужники в нарядных белых с золотом облачениях, сотни свечей, отраженных в золотом обрамлении иконостаса, дым от кадил, пение хора — пока еще спокойное, но уже радостное, и звон колокола — мерный, но уже не печальный, как во время поста. Толпа давила, и когда крестный ход начал продвигаться к дверям, меня стиснуло так, что я могла поднять ноги, чтоб дать им отдохнуть, и висела меж двух давящих тел. Когда же крестный ход и большая часть прихожан вышли, двери церкви закрылись, и стало немного свободнее. Няня сумела пройти вперед, поближе к столам, где уже готовились освящать куличи.

Слышно было, как хор шел вокруг церкви и наконец остановился перед закрытыми дверьми. Последовал стук в дверь и громкий возглас священника: «Христос воскрес!» Внутренний хор ответил громко: «Воистину воскрес!» Двери церкви распахнулись, впуская процессию и народ, и оба хора грянули: «Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!» Колокола звонили оглушительно-торжественно, и казалось, что радость наполнила все сердца, что все горести должны исчезнуть. Люди вокруг христосовались. Маня поцеловала меня трижды и сказала, что поведет меня домой, а няня останется для освящения куличей.

Мы вышли на улицу в морозную ночь. Небо сияло звездами, а на земле подтаявший снег в лужах был покрыт тоненьким слоем льда, который хрустел под ногами. Радостное чувство, оставленное службой, стало уступать место щемящей мысли, что мамы не будет дома, когда мы вернемся. Как-то она проводит эту пасхальную ночь в тюрьме?

В очередной записке от 4 мая мама пишет: «Посылаю грязную наволочку, рубашку, панталоны, ночную кофту, полотенце, юбку простую, пасочницу¹², белую юбку, бумажную пеленку, чашку, бутылку, 2 салфетки. Пришлите, пожалуйста, белье, полотенчики-бинты 3—4, писчей бумаги, можно маленькими листочками. Зеленые нитки для вышивания, хоть несколько ниточек найдите — немного не хватило кончить работу. Крепко, крепко целую. Пасху встретили отлично. Зарудная».

В следующее воскресенье 8 мая Маня понесла еще кое-какие пасхальные угощения. После списка всех передаваемых вещей Павлик написал своим четким почерком: «Дома все хорошо. Дети здоровы. Папа со мной собирается скоро уехать в Петроград, использовать отпуск. В начале июня вернемся, после этого — в Туркестан.. Напиши, как ты об этом думаешь, — может быть, немного подождать? Пиши. Целую».

Записка вернулась к Мане. На обратной стороне написано чужим почерком: «Отправлена 5 мая в Чека».

Страшно напуганная, Маня пошла в Чека. Перед окошком, куда подавали справку, стояла длинная очередь. Многие, получив ответ, отходили в слезах, и у Мани сжалось сердце от предчувствия самого ужасного. На ее справку ответ был короток: «Расстреляна».

Когда Маня вошла в дом, уже по ее заплаканному лицу я поняла все. Она едва выговорила: «Расстреляна!» Я сразу убежала в свою комнату, закрыла дверь и бросилась на кровать... Мне надо было быть одной — на чьей груди могла бы я плакать? Сестры были еще такие маленькие... Я, старшая, должна показать пример стойкости. С Сережей я ссорилась, с дядей Вадимом, с Маней и даже Павликом я была всегда вежливой, но не делилась своими переживаниями. Чувство невероятного одиночества охватило меня, будто я была брошена совершенно одна на необитаемом острове в середине океана. Столько вопросов я не успела задать! Только мама знала все ответы! Откуда я узнаю, как расти, как стать взрослой? Как я смогу отвечать на вопросы сестер и помогать им расти? Тяжесть ответственности за воспитание сестер, которую я ощущала раньше, выросла до невыносимых размеров. Горло сжималось, грудь болела, не было сил даже встать с постели. Никогда больше ее не увидеть... Никогда больше не ходить к тюрьме в надежде, что мама посмотрит в окно через решетку, никогда не читать ее коротких записочек... Никогда... Я старалась понять, что это значит — «никогда», — и не могла... Я старалась представить себе ее в тюрьме, когда сказали: «Выходи!» Что она чувствовала, стоя

там, в поле, под дулом направленного на нее ружья?.. Я не могла представить себе ее мертвой... А может быть, она не убита и ей удалось вылезти из-под трупов, как тому человеку, о котором я слышала? И я стала убеждать себя, что это могло случиться, что это очень вероятно. Она вернется... Она должна вернуться... Чувство, что она может быть жива, не покидало меня всю раннюю юность. Я и после никогда не хотела смотреть на умерших, чтобы продолжать думать о них как о живых.

Не помню, плакала ли я. Я сосредотачивалась на том, чтобы понять, что случилось... Не могла понять, что какой-то человек мог нарочно сделать так, чтоб мамы не было... Годами у меня во сне повторялся кошмар: я сидела в тюрьме одна и знала, что в 2 часа ночи меня казнят. Я смотрела на часы и видела, как стрелка приближается к двум. Я старалась понять, как это — быть убитой, — и сердце мое замирало. Я знала, что это неизбежно, что меня должны вызвать и повести на казнь... и просыпалась вся в поту.

Не помню, как приняли страшную весть младшие сестры. Сережа был полон горечи и злобы. Через некоторое время, когда боль постепенно начала утихать, я стала думать о маме как о героине, которая принесла свою жизнь в жертву идее. Для меня похоронный марш, начинающийся словами «Вы жертвою пали в борьбе роковой любви беззаветной к народу. Вы отдали все, что могли, за него, за жизнь его, честь и свободу...»¹³, был о ней, и у меня всегда сжималось сердце, когда я его слышала.

Позднее Лена записала воспоминания о том роковом дне:

Няня открыла дверь на крыльцо, постояла в проеме двери, подняла Катю, игравшую на ступеньках, поддержала ее минутку, снова опустила ее и, как-то безнадежно махнув рукой, вернулась в дом. Лене показалось это странным. Что-то было нехорошо в доме последние несколько дней: Маня не пела и не смеялась, как обычно, Муля все время уединилась и не хотела играть, няня тихо про себя бормотала что-то сердитым голосом, сидя за своей работой.

Лена пошла за няней в кухню. Маня сидела за столом, закрыв лицо руками, и громко рыдала. Лена никогда раньше не видала, чтобы Маня плакала, и теперь ей это показалось ужасным, чем-то, чего просто не должно быть. Няня сидела с другой стороны стола и усиленно сморкалась в передник.

— Маня, что случилось? — Лена старалась добиться от нее какого-нибудь ответа. Некоторое время Маня не отвечала, потом с усилием сказала:

— Твою маму... расстреляли... позавчера... — и еще громче зарыдала. Лена чувствовала, что надо что-то сделать. Она принесла Мане стакан воды, но Маня махнула рукой.

— Манечка, не плачь! Пожалуйста, не плачь! — Но Маня ее больше не замечала. Лена решила попросить Мулю помочь ей. Муля лежала на постели головой на атласе мира, ногами на подушке.

— Муля, скорей пойди на кухню — Маня и няня страшно плачут, потому что маму расстреляли. Ты это знаешь?

— Да! Оставь их! И оставь меня! Пойди и посмотри за маленькими!

— Но, Муля, они страшно плачут!

— Ничего! Ты можешь сказать Тане и Сереже. Зоя и Катя все равно не поймут!

Лена пошла по коридору. В соседней комнате Сережа сидел за столом и рисовал каких-то солдат.

— Сережа, пойди и утешь Маню. Она страшно плачет на кухне. Это ужасно. Потому что маму расстреляли позавчера. Няня тоже плачет.

— Что?! — Сережа вскочил, оттолкнув стул. — Я их убью! Убью! Убью! — Он схватил стул и швырнул его в Лену.

Лена отскочила и побежала на кухню. Няня все еще плакала, а Маня пропускала через мясорубку мясо для обеда.

— Пойди посмотри, что делает Катя! — сказала она Лене. Лена немного успокоилась и вышла на крыльцо.

— Таня и Зоя, — сказала она очень серьезно, — знаете, маму позавчера расстреляли!

— Правда? — спросила Зоя. — А когда она вернется?

— Глупая! — вступилась Таня. — Она никогда не вернется, потому что ее расстреляли! Разве не так, Лена?

— Да! — Лена не сразу ответила. — Наверно, она совсем не вернется!

Только теперь она поняла: мама умерла. Лена вспомнила мертвого человека, которого она видела на крыльце у соседей. Но этого не могло случиться с мамой. Маму расстреляли. Это значит, может быть, она не умерла. Некоторых людей расстреливали, а они остались живы...

— Вы ничего не понимаете! Маня сказала, что она скоро вернется! — Зоя настаивала на своем.

— И солдат около тюрьмы сказал то же! — Таня вспомнила. — Правда, я помню, когда мы были у тюрьмы. Лена, как же это?

— Подождите! — Лена задумалась. — Надо кого-нибудь спросить!

Дядя Вадим пошел в Чека. Ему дали прочитать приговор:

«Дело № 89-Д по обвинению Зарудной Елены Павловны в участии в подпольной белогвардейской организации по свержению Соввласти в 1920—1921 г.

Считать обвинение вполне доказанным и к гр. Зарудной Елене Павловне применить высшую меру наказания — расстрелять».

Папе в Японию была послана телеграмма: «Лена умерла. Сам не приезжай. Пошли доверенное лицо распорядиться детьми ибо я должен уехать. Вадим».



ГЛАВА 12

ПАПИНЫ СТРАНСТВИЯ

После того как мы простились с папой 6 ноября 1919 года, его теплушка еще два дня стояла в Омске и тронулась в путь лишь 8 ноября, когда чехи согласились прицепить ее к своему поезду.

В теплушке ехали люди из Аши и из других заводов Симского округа, в том числе Гаврилов, член совета директоров. Он вез с собой банковские документы на все активы завода и наличные деньги, из которых он платил заработную плату ехавшим вместе с ним сотрудникам. Теплушка медленно двигалась на восток.

Большая часть Транссибирской магистрали представляла собой тогда одноколейку, то есть два поезда могли разойтись только на станциях. Поезд, приходивший на станцию первым, отводился на запасной путь, пропуская встречный. Все это тянулось очень долго. Угля не хватало, приходилось ждать, когда его подвезут, паровозы то и дело ломались. На станциях к поезду прицепляли новые вагоны, которые его давно там ожидали, или, наоборот, отцепляли несколько вагонов и оставляли до другого поезда. Тогда начинались бесконечные переговоры со следующими поездами, и могло пройти несколько дней, пока отцепленный вагон не отправлялся дальше.

12 ноября Колчак вместе со свитой оставил Омск. Их поезд ехал еще медленнее. Папе повезло — он опередил Колчака на несколько дней. Фронт двигался за ними буквально по пятам, но быстрее, чем они.

17 ноября во Владивостоке чехи выступили против Колчака. Папина теплушка еще была на пути к Иркутску. 2000 километров им удалось проехать за двадцать дней, и 28 ноября они добрались до Иркутска. Сперва казалось, что там можно остаться жить на какое-то время, но к 24 декабря выступления против Колчака произошли и там. 5 января сформировалось новое правительство под названием Политический центр, состоявшее из меньшевиков и эсеров. Новое правительство немедленно провозгласило мир с большевиками.

Несколько дней в Иркутске шли беспорядочные перестрелки. Наконец 12 января отец и часть его прежних спутников отправились дальше, в той же теплушке, прицепленной теперь к японскому поезду, под британским флагом. Путешествие от Иркутска до Читы заняло несколько дней. В Чите до них дошло известие, что Колчак низложен и 15 января арестован. Это означало конец организованного сопротивления большевикам.

Дальше путь лежал в Харбин, расположенный на Китайско-Восточной железной дороге. Харбин находился на территории Китая, вне досягаемости Красной армии. В Харбин они добрались в конце января. Конечно, все это время никакой связи с Омском не было, и папа тревожился все сильнее и сильнее.

Здесь надо прервать повествование и коротко изложить историю Китайско-Восточной железной дороги и города Харбина, чтобы стала понятна та особая политическая ситуация, которая сложилась там в 1920 году.

КИТАЙСКО-ВОСТОЧНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Граница между Россией и Китаем восточнее Читы идет по реке Амур, которая течет сначала на север, затем на восток и на юго-восток, а затем поворачивает на северо-запад, устремляясь к Охотскому морю. В этом месте в Амур с юга впадает приток Уссури, и граница идет дальше по Уссури до самого порта Владивосток на берегу Японского моря. Таким образом, чтобы построить железную дорогу до Владивостока по русской территории, пришлось бы делать огромную петлю. Россия опасалась нападения со стороны Японии и остро нуждалась в железной дороге, которая соединила бы Транссибирскую магистраль с Владивостоком.

Территория к югу от Амура и к западу от Уссури (Маньчжурия), принадлежавшая Китаю, — это страна широких рек, густых лесов и богатых природных ресурсов. В XVII веке маньчжуры завоевали Китай и основали в Пекине Маньчжурскую династию. Чтобы сохранить чистоту маньчжурской нации, они запретили китайцам переселяться на территорию Маньчжурии, несмотря на то что к югу от этой территории расположены густонаселенные китайские провинции. Сами же маньчжуры переселялись в Китай для службы в армии, для государственной службы и по другим причинам. В результате к концу XIX века население Маньчжурии сильно сократилось.

В 1898 году между правительствами России и Китая было достигнуто соглашение, по которому русская компания арендовала полосу земли на территории Маньчжурии, чтобы выстроить на ней железную дорогу. Компания должна была быть частной — китайцы боялись русской экспансии. В Петербурге был создан Русско-Китайский банк, который финансировал компанию Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), главная контора которой находилась тоже в Петербурге. Срок аренды устанавливался в 80 лет, после чего дорога переходила в собственность Китая. Впрочем, Китай мог и выкупить ее в течение 36 лет.

Сразу после постройки железной дороги России удалось получить во временное владение Порт-Артур, расположенный на южной оконечности полуострова Ляодун, вслед за чем он был укреплен и соединен железной дорогой с КВЖД. Две эти дороги сходились в том месте, где КВЖД пересекала приток Амура, большую реку Сунгари, примерно посередине между двумя ближайшими точками на русской границе. Когда строительство дороги только начиналось, Сунгари служила для подвоза строительных рабочих и материалов. Именно здесь и был построен административный центр железной дороги, город Харбин.

Китайско-Восточная железная дорога строилась на малонаселенной территории. Узкая полоса земли расширялась только у станций. Полоса эта называлась Зоной и управлялась русской администрацией. Кроме служащих железной дороги, которых переселяла туда администрация, стали приезжать и другие переселенцы из России в поисках работы. Так образовалась русская колония. Но если колонии других стран обычно находились в местах, где население было по преимуществу местным, то в Зоне большинство населения было русским. Китайцы селились в основном за ее пределами. В самой Зоне им разрешалось проживать, только если они владели недвижимостью или имели там свое дело. По сути дела, Зона была продолжением России, и на всей ее территории основным языком был русский. С 1902 года главным управляющим КВЖД был генерал Хорват.

Агрессивная политика России в Маньчжурии привела к войне с Японией, после которой Россия потеряла Порт-Артур, всю южную часть дороги и большую часть своего флота.

Ограничения на переселение китайцев в Маньчжурию к этому времени были ослаблены и в конце концов упразднены в 1912 году, когда революция в Китае свергла Маньчжурскую династию. С этого времени поток переселенцев из Китая начал двигаться вдоль построенной русскими

железной дороги и оседать около нее. В короткое время КВЖД, до того требовавшая значительных государственных вложений, стала экономически жизнеспособной и начала приносить прибыль.

Для маленьких российских поселений вдоль железной дороги Харбин был культурным центром. Тут установилась типичная колониальная жизнь: служащие получали высокое жалованье, китайская рабочая сила была дешевой.

За два десятилетия население Маньчжурии значительно увеличилось, движение по дороге оживилось, и Харбин превратился в крупный промышленный центр. Иностранные банки открыли здесь свои филиалы, открывались также предприятия, торговые представительства, консульства некоторых европейских стран. Появились оперный театр и симфонический оркестр, театры открывались один за другим, стали выходить несколько газет, активно действовал Христианский союз молодых людей ИМКА¹⁴, были созданы новые школы и даже Харбинский политехнический институт, который должен был готовить инженеров для железной дороги.

После того как в октябре 1917 года к власти в Петрограде пришли большевики, Русско-Китайский банк, к этому времени реорганизованный в Русско-Азиатский банк, был национализирован, как и все остальные банки в России, и тем самым Зона стала подведомственна правительству, что сильно встревожило Китай. Но генерал Хорват обратился к китайским властям, которые после консультаций с русскими посланниками в Пекине и в Японии (оставшимися верными прежним властям) назначили китайского президента Зоны на время, пока шли переговоры о соглашении с новым русским правительством. Русско-Азиатский банк переехал в Париж. Администрация Зоны и управление железной дорогой подчинялись Хорвату. На обоих концах Зоны установили китайскую охрану, превратив таким образом Зону в анклав дореволюционной России, каковой она и оставалась до 1924 года, когда Китай признал Советский Союз и принял новые условия концессии.

На протяжении 1918—1920 годов русское население Зоны раздирали конфликты между беженцами и теми, кто сочувствовал большевикам. То и дело возникали антибольшевистские военные группировки. Иные из них мало отличались от обычных банд, иные находились на содержании японцев. Многие страны были заинтересованы в КВЖД и Зоне. Выдвигалось даже предложение сделать ее международной.

За несколько лет, с 1918 по 1922 год, Харбин вырос, наполнившись русскими беженцами, эмигрантами, военными и их семьями. В отличие от других центров русской эмиграции, таких как Париж, Берлин или Прага, здесь приезжим не надо было осваивать чужой язык и принаравливаясь к чужой культуре. Среди вновь прибывших было много образованных людей и хороших профессионалов. Некоторые из них, как мой отец, могли быть востребованы на железной дороге — тем более что движение все увеличивалось — или в других технических областях. Многие нашли себе место в высших учебных заведениях, другие открывали свое дело, однако на этом русском островке среди глухой китайской провинции возможностей для профессионального роста у них было немного.

Тем не менее по 1931 год город разрастался. Китайское население вокруг него тоже продолжало увеличиваться.

В ХАРБИНЕ

В конце 1920 года, когда отец добрался до Харбина, город был переполнен русскими беженцами. Генерал Хорват находился в это время в Сибири, пытаясь организовать там вооруженное восстание против большевиков. Хорват был военным инженером и имел опыт в строительстве железных дорог на юго-востоке России. Жена его Камилла Альбертовна была дочерью известного художника Альберта Бенуа, двоюродного брата Жениного отца, Евгения Кавоса.

Вместе с Федосеевым, одним из своих спутников, отец снял комнату в квартире полковника Вараксина, в доме 72 по Бульварному проспекту. Жена Вараксина Варвара Алексеевна работала учительницей в местной школе. По своей открытой натуре папа перезнакомился со многими новыми людьми и с некоторыми из них сдружился. Довольно быстро он нашел своих дальних родственников — Марию Лансере-Солнцева и ее сестру Соню, а также встретился с Камиллой Альбертовной Хорват, которую он упоминает в письме к маме. Родные тепло приняли папу, и он часто посещал их. И сестры Лансере, и Камилла Альбертовна приходились папе родней через Кавосов. Кавосы и Зарудные состояли в двойном родстве; эти семьи в Петербурге были очень близки. А теперь, в Харбине, за тысячи верст от Петербурга, отрезанные от него Гражданской войной, они ощутили семейные узы еще крепче.

Администрация Симского металлургического округа, членом Совета директоров которого отец все еще состоял, на какое-то время разместилась в Харбине. Однако вскоре стало очевидно, что вести какие бы то ни было дела через Харбин было невозможно, связь с оставшимися в России и отныне национализированными заводами была неосуществима.

Никаких сбережений у отца не было. На некоторое время он мог одолжить деньги из фондов Симского округа, но надо было находить средства к существованию. Надежды его по-прежнему оставались связанными с «Мечтой».

Отец немедленно начал переговоры с администрацией дороги о строительстве печи, ценность которой была теперь уже не так велика, так как нельзя было получать нужную сталь из России. Никаких других занятий для него в Харбине не находилось, и никому другому в этих местах «Мечта» понадобиться не могла. И в марте 1920 года отец решил отправиться в Японию, в надежде получить международный патент на свое изобретение и получить заказы на изготовление и установку печи.

Путь его лежал сперва вдоль Южно-Китайской железной дороги, а дальше через Корею. Затем ему предстояло пересечь Цусимский пролив, и, переправляясь через пролив на пароходе, он с болью вспоминал погибших здесь друзей по Морскому корпусу. 30 марта 1920 года пароход вошел в порт Иокогамы.

Япония

Странной и таинственной, сказочной страной всплывала перед ним на горизонте Япония — так помнилось папе это зрелище до конца его дней. Шум и суета портового города, странные одежды, остроконечные соломенные шляпы, кули-носильщики с длинными бамбуковыми коромыслами с тяжелой поклажей, рикши, рысцой бегущие с колясочками, где восседали седоки, женщины в кимоно, мелкими быстрыми шажками пробиравшиеся по улице в своих соломенных или даже деревянных дзори, выглядевших как маленькие скамеечки. Папа мгновенно влюбился во все, что увидел, и сразу решил учить японский язык.

До сих пор он жил на деньги, получаемые займы из фонда, которым распоряжался Гаврилов. Но с момента приезда в Японию он лишь один

раз получил от Гаврилова небольшую сумму. Отец посылал письма, но ответа не приходило. Фонд принадлежал акционерам Симского металлургического округа, администрация которого эмигрировала, в основном в Германию. Деньги, лежавшие в банке во Владивостоке, не удалось снять вовремя, до того, как они были заморожены правительством. Часть денег была помещена в банке в Харбине, но Гаврилов предпочитал их не трогать.

Из писем папа узнал, что генерал Хорват в апреле был снят со своей должности в Харбине и переехал в Пекин в качестве советника Министерства путей сообщения. На его место назначили Остроумова.

После долгих розысков отец вышел на патентоведа Хавиланда. Оказалось, что его контора получила все необходимые документы в начале 1917 года, то есть тогда, когда была подана заявка. Для выдачи патента не хватало копии одного документа, но началась революция, и до сих пор не было возможности получить ее.

На основе того, что он смог вывезти с собой из России, папа, преодолев множество трудностей, получил предварительный документ о том, что он подал заявку на патент. Теперь можно было начинать переговоры об организации компании по строительству и продаже «Мечты».

Но вскоре папа получил уведомление от Хавиланда, что изобретение не может быть запатентовано, поскольку не является оригинальным. Все мысли о создании компании пришлось оставить. Папа был уверен, что сможет доказать — раз его патент был задержан, а сходные с «Мечтой» печи запатентованы позже, то, значит, была использована его идея. Он подал жалобу на решение патентного бюро, но доказать ничего не смог и тяжело переживал случившееся. Оставалась еще возможность продать чертежи, но никакой патентной защиты у него не было.

Папа ждал окончательного решения по делу о патенте. Чувствовал он себя тоскливо и растерян. Тревога за семью точила его, без мамы и родных жизнь теряла смысл. Все было неустойчиво, будущее неясно: его образование, опыт, предыдущее положение мало чем могло помочь. Папа начал искать другую работу.

Занимаясь организацией компании по строительству «Мечты», он познакомился с англичанином Дж. Томпсоном, менеджером компании «Дземма Уоркс Лимитед», представлявшей известную компанию «Бабкок

и Уилкокс» в Иокогаме. Компания решила построить «Мечту», и отцу заплатили тысячу иен — его первый заработок в Японии.

Через какое-то время он получил место в компании «Бабкок и Уилкокс» в Осаке.

Жил он совсем по-японски: дома носил кимоно, учился есть за низеньким японским столиком, сидя по-японски на полу; комната его была полна японских письменных текстов, в которых он тренировался, когда не было английских уроков. Ел он японскую еду, которую подавала хозяйка. Иногда приглашал массажиста — одного из тех слепых японских массажистов, которые ходят с мальчиком-поводырем, появляясь обычно в сумерках, и играют на дудочке, чтобы известить о своем приходе. На старости лет папа всегда с ностальгией вспоминал это мирное житье, любезное щебетанье своей хозяйки, всю эту обволакивающую тихую атмосферу, такую чужую и такую чарующую.

ПИСЬМА РОДНЫМ

Попытки связаться с нами приносили в основном разочарования. Отец получил от мамы два письма, но вовсе не был уверен, что его ответы до нее дошли. Новости из России ничего хорошего не сулили: стремительная инфляция, голод, аресты, казни... Он отчаянно пытался найти оказию, чтобы с кем-нибудь переслать семье весточку и посылки, но безуспешно. Он писал родным в Петроград и Ригу, друзьям во Францию, Германию и Англию. Письма шли долгим круглым путем через Китай и Европу. Какие-то ответные послания ему удалось получить.

Семейные связи в папиной семье всегда были крепкими, он пытался их поддерживать, отправляя письма родным даже из Японии. Раньше родственники всегда приезжали к нам в гости, когда нам случалось жить вдали от Петербурга, а переписка всегда бывала очень оживленной, так что про всех маминых и папиных родственников было что-то известно. И папа и мама всегда чувствовали себя причастными политической и общественной жизни страны. Теперь все стало гораздо труднее. Три дочери Екатерины Кавос жили в Эстонии. Отец надеялся, что Женя, за которого он всегда чувствовал ответственность, сможет вместе с семьей добраться до них. Четыре сестры отца оставались в России: Анастасия жила

в приюте для больных где-то на Украине; Зоя, которой отец всегда старался помочь, спасалась в деревне от голода, царившего в городах. Старшая сестра Мария жила при университете в Петрограде вместе со своим мужем профессором Гревсом, а младшая, Варя Лисовская, работавшая в школе, жила вместе с двумя детьми в квартире их брата Александра. Александр же, по-видимому, был в Париже, а позднее вернулся в Петроград. Были еще два маминых брата — Вадим, который, насколько отец знал, все еще жил в Омске, тогда как его жена и дочь оставались в Петрограде, и Борис, тоже остававшийся в Петрограде, так же как и две их сестры Любовь и Лидия. Лидия была замужем, а Любин муж к этому времени уже умер.

Отец поддерживал активную переписку с Варей, а особенно с ее дочерью Галей. Позднее он даже посылал ей копии своих писем к нам. Из писем родных ему удалось узнать, куда и как рассеялась вся семья и как им удавалось выживать. В письме от 4 октября Варя пишет об Александре: «...Саша уехал из Петрогр[ада] в августе 1918 г. и был в Харькове до янв[аря] этого г[ода]. <...> Долго мы не знали куда, при наступлении и отступлении красных. Недавно мы узнали, что он был в Кременчуге и оттуда уехал во Францию. Про жену ничего не знаю».

Дальше она пишет о своих детях: «Саша 2 года прослужил на Мге Рыбинск[ой] жел[езной] дор[оги] в 45 км от Пскова сначала помощником машиниста, затем в депо. Теперь, слава Богу, по новым декретам получила возможность выдерживать экзамены в Горный и думает посещать, перебирается к нам. А Наташа (ее дочь — балерина. — М.З.) нанимает отдельную комнату поближе к театру, т.к. теперь немисливо добираться в такую даль после спектаклей — нет ни извозчиков, ни автомобилей, а трамваи ходят только до 6 ч. и их маршруты очень сокращены и попасть в них очень трудно. Ты бы не узнал свои труды (папа участвовал в создании первых трамвайных линий в С.-Петербурге. — М.З.) — до того все переломано, вагонов так мало, что они ходят чуть ли не через 1/2 часа. Неприятностей пережили массу, главное — ужас от потери многих близких наших друзей. Трудно с дровами, с продовольствием пока лучше, чем прежние года. Галя (старшая дочь. — М.З.) нас главным образом поддерживает. <...> Сергей Митрофанович (папин двоюродный брат. — М.З.) очень постарел и похудел, все там же живет — служит в Эрмитаже. Вернадские и Щедринские совсем уехали — за границу».

Услышать о своих было радостно, но чувствовалось, что жить трудно. Отец еще больше беспокоился о нас. От мамы приходили редкие и скупые на подробности письма.

От своего друга и родственника Федора Измайловича Родичева отец получил длинное и глубокое письмо из Лозанны. Родичев был членом Первой Государственной думы, очень активным политическим деятелем во время Гражданской войны на юге России. Таким же он оставался и после ее конца, а позднее в эмиграции в Европе, где он жил на заработки от литературных трудов, постепенно все уменьшавшиеся. Он пишет: «Я был арестован под чужим именем, 1 сентября, но выпущен после того, как к нам на Херсонскую пришли меня искать. Из Питера мы пробрались, под видом питерских беженцев, в Псков, занятый германцами, потом в Двинск, оттуда через Полоцк и Гомель в Киев, под власть гетмана. В Киеве пробыли от 15 октября до 23 декабря. Киев взяли петлюровцы, и ясно было, что возьмут большевики. Мы уехали в Одессу. С приключениями добрались до Одессы, занятой французами. Там пробыли до 15 февраля, когда я отправился в Ростов. По дороге оставил жену в Крыму у Петрункевичей. Собирался возвратиться в Крым, когда Крым внезапно заняли большевики, а жену увезли сперва в Севастополь, а оттуда в Афины. Только через месяц и больше, пожалуй, я нагнал ее в Афинах, откуда мы переправились в Югославию в Белград с миссией <...> помощи Деникину. Лето провели в Белграде, и там позвали нас в Париж — оказывается, с поручением ехать в Варшаву. В Париже пробыли до февраля, потом поехали в Лозанну на два месяца, затем лето 1920 года в Варшаве. Потом вернулись в Париж, оттуда в Лозанну... Митрофанович в Петербурге — он в сентябре 18 года сидел в заложниках. Теперь он служит при Эрмитаже и очень трепещет, чтобы его не скомпрометировали бы. Ну вот. Как сейчас в России? Плохо. Все помыслы о пропитании. Других нет. Все повергнуты в нищету и рабство. Сосватали себе неволю. Как живут эмигранты? Плохо. Не приспособляются к работе, на бивуаках, в надежде, что все пройдет, а что пройдет? — Сами пройдем.

Я советую всем вести себя так, как если бы им всю жизнь коротать в изгнании. А возвращение будет неожиданным выигрышем.

Пишите, Иван Сергеевич. Мы с вами все-таки ближе, чем были в России.... Ну будьте здоровы и бодры и супруге поклонитесь. И пишите. Ваш Родичев».

Однако отец все еще надеялся, что он как инженер даже в эмиграции может оказаться полезным, а когда-нибудь сумеет и вернуться домой.

Так прошли осень и зима. Наступила весна 1921 года. Пришло письмо от мамы.

Папа еще не знал, что это письмо — последнее.

МИСТЕР ЧАРЛЬЗ КРЕЙН

Весной 1921 года посол Америки в Китае мистер Чарльз Крейн был отозван из Китая обратно в США. Господин Крейн был сыном хорошо известного промышленника из Чикаго и даже сам какое-то время возглавлял семейную фирму. Неутомимый путешественник, активный член демократической партии, он всегда интересовался Россией. До революции он много раз бывал там, в одну из поездок встречался даже с Николаем II и однажды обедал в Зимнем дворце. В 1902 году он спонсировал поездку Томаша Масарика (позднее — первого президента Чехословакии) в Чикагский университет с лекциями о России. В 1904 году помог П.Н. Милокову приехать с лекциями о России в Чикагский и Гарвардский университеты. Как и многие американские либералы, он сочувствовал первой — Февральской — революции, надеясь на демократические реформы в России. В 1917 году он входил в миссию, направленную в Петроград для поддержки военных усилий Временного правительства.

Теперь, когда большевики уже, похоже, утвердились у власти, он вновь хотел увидеть, что же происходит в России. Мистер Крейн решил возвращаться в США не через Тихий океан, как когда-то приехал, а через Сибирь, Россию, Европу и Атлантический океан, доехав сперва на поезде до Харбина, а затем по КВЖД до Транссибирской магистрали.

В то время подобное путешествие было рискованным предприятием. Предстояло пересечь несколько границ: между Маньчжурией и Дальневосточной республикой, затем между этим буферным государством и Советской Россией, а затем границу с Европой. С собой в путешествие мистер Крейн взял своего сына Джона.

В Пекине Чарльз Крейн встречался с генералом Хорватом. Хорват в то время был советником при китайском правительстве и находился под его защитой. Нет сомнения, что Хорват с длинной седой бородой и его

элегантная супруга Камилла, дочь известного художника Альберта Бенуа, представляли заметную пару в дипломатических кругах Пекина.

Узнав, что мистер Крейн отправляется в Харбин, а затем в Россию, Камилла Альбертовна рассказала ему о нашем отце и о его безуспешных попытках связаться со своей семьей. Она тут же написала отцу, и тот приехал в Пекин встретиться с Крейном и попросить его по возможности выяснить, находится ли его семья в Омске. Отец попросил Крейна взять посылку с одеждой и едой, которую тот любезно согласился захватить.

Вести из России

Вернувшись в Кобе, отец узнал о маминой смерти. Но того, как она погибла, он не знал. Крейн с сыном уже уехали. По-видимому, вскоре после этого отец решил оставить свою работу и вернуться в Харбин.

Он получил много сердечных писем от друзей и родственников. Некоторые не хотели верить тому, что они называли слухами, некоторые предлагали разные варианты, что делать с детьми, умоляя его не возвращаться, а пытаться поддерживать их из-за границы. Одни предлагали перевезти детей в Латвию, которая стала независимым государством. Иные советовали пытаться вывезти детей в Харбин. Варя, папина сестра, писала: «Третьего дня приехал Вадим Павлович и все нам рассказал. До сих пор не приду в себя и не понимаю, правда ли это? Одно скажу: крепись и призови себе на помощь Бога. <...> Вадим Павлович в ужасном виде, совсем больной и нервнорасстроен, сегодня лег в больницу Обуховскую, где ему, м[ожет] б[ыть], будут делать операцию. По выздоровлении же он поедет с женой в Омск за детьми и привезет их сюда, где каждый из нас готов взять на себя кого-либо из них и по мере сил воспитать в ожидании соединения с тобой. Каждый из них для нас дорог сам по себе как твой ребенок, а теперь еще и вдвое, как отражение прекрасной Леночкиной личности. И всегда во всем мы имеем образ ее светлой и дивной жизни, всей отданной на служение человечеству, на любовь к ближнему и верность правде. У нас есть ее живой и незабвенный образ, он с нами и никогда нас не покинет и дан нам, чтобы мы, слабые, скверные, трусливые, молчащие, видели, какими надо быть, как не признавать никакой сделки с совестью, чтобы, как у нее, наше слово не расходилось с делом. Вот наш образец, и если кому-либо выпадет счастье поддержать и

направлять кого-либо из ее детей по ее трудному, но прекрасному пути, завершённому подвигом, — мы получим ту радость и счастье, какое только доступно в этой жизни человеку, и это будет наш долг с тобой. Но помни, что мы свидимся с нею непременно и не малодушествуй, не теряй надежды и не оскорбляй неверием ее светлой памяти».

От брата Александра пришла телеграмма: «Все знаю все понимаю горюю о России».

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХАРБИН

В августе 1921 года отец уволился и вернулся в Харбин. Здесь он чувствовал себя ближе к семье.

В Харбине муниципальное управление перешло к китайским властям. Русская полиция была разоружена и заменена китайской, служащими на железной дороге тоже были китайцы. Японское присутствие еще чувствовалось, но они уже не были у власти. Русское население вело себя спокойно, смирившись с необходимостью ждать дальнейшего хода событий.

Несколько месяцев папа получал зарплату в связи с установкой «Мечты» в железнодорожных мастерских, но когда печь запустили, он оказался безработным. Он уже знал к этому времени, что возвращаться в Россию ему рискованно, но все еще питал надежду, что когда-нибудь вся семья будет жить именно там. Не имея ни работы, ни сбережений, он должен был думать о судьбе своих детей.

Папа был со многими знаком в Харбине, но лишь немногих мог называть друзьями. Среди этих последних была семья Лачиновых с тремя детьми — средняя, Вера, была моей сверстницей, а младший ее брат приходился примерно ровесником Сергею. Отец поддерживал теплые отношения со своими кузинами Лансере и даже со своими бывшими квартирохозяевами Варакиными.

Он много читал. Вместо дневника он выписывал из книг отрывки, которые, как ему казалось, отражали его настроение. Он печатал их на машинке с русским или с латинским шрифтом в нескольких экземплярах под копирку и часто дарил или отсылал копии своим друзьям. Ему проще было пользоваться чужими словами, чтобы выразить свои мысли. Одна копия всегда оставалась в его бумагах. Страницы эти пронизаны его болью, грустью, одиночеством, тоской перед одинокой старостью, жадой любви...

Вот один из этих листков — молитва, которую он переписал откуда-то по-английски. Отец перепечатал эту молитву несколько раз и позднее перевел ее на русский:

Научи меня, о Боже! прекрасному значению одиночества. Покажи мне, что одинокий день дан мне для того, чтобы думать спокойно и чувствовать глубоко, для того, чтобы не пробовал постоянно избегать самого себя, но — дружески изучать себя самого!

Направь меня, чтобы я разумно развивал все мои способности во мне; чтобы я мог упражнять искусство раздумыванья, чтобы я мог упражнять мое воображение; чтобы я понял ценность книг — этих утешителей одинокого, читать, отмечать и любить их; чтобы я имел любимое занятие, которое звало бы меня каждый день к часу одиночества и делало бы его прекрасным каждый день!

Помоги мне познать мужество и терпение и самоудовлетворение, которые смягчат мое одиночество!

Слишком наши жизни окружены спешащими шагами и лихорадочными голосами самопоиска. Даруй, чтобы я нашел мое счастье не в том, что я имею, а в том, что я есть; не во владении многим, а в надежде и в любви ко многому!

Пусть эти часы одиночества дадут мне силу сделать действительностью мои идеалы человеческого достоинства. Аминь.

И приписал в конце русского перевода: «Очень прошу всех, кто меня любит, выучить эту молитву наизусть».

Все это время папа через Комитет помощи голодающим¹⁵ и разные консульства в Чите пытался добиться для нас разрешения покинуть Омск и переехать в Харбин. В то же время он подавал прошения о бельгийской, а затем о латвийской визе, на случай, если появится какая-то возможность соединиться с нами. Он пишет многочисленные письма, ищет работу не только в Харбине, но и в Японии и в Китае, переписывается с Хорватами, с родными в Петрограде, в Латвии и по всей Европе. Когда ему удастся наконец восстановить связь с нами, он тщательно сохраняет все наши письма и копии своих писем к нам. Он собирает посылки для нас, пользуясь любой возможностью послать их с кем-нибудь в Омск. Тогда же начинает подыскивать место для жилья, думать о его устройстве и обстановке.

Как умерла мама, папа узнал из писем, дошедших до него кружным путем через Европу и даже через Америку.

9 февраля 1922 года он записывает на последних двух страницах своего дневника:

*Грустные
Горестные
дни*

*7—8 мая в Омске
в 1921 году*

*Дорогую мою Леночку
расстреляли
после тюремного мучения с
16 февраля 1921*

*Последнее ее письмо от
18 января 1921
Вечная память дорогой бесценной
моей
9 февраля 1922 Харбин*

На последней странице он пишет, как мама ободряла его, когда он покидал Омск, как она говорила, что «Мечта» всегда даст ему средства. Дальше он подсчитывает, сколько принесла ему «Мечта».

Вслед за тем отец закрыл и запечатал свой дневник. Открыла его Лена, уже после его смерти.



ГЛАВА 13

ОМСК. 1921

Через несколько дней после того, как дядя Вадим послал телеграмму папе, няня пошла в ближайшую церковь и заказала панихиду.

Наутро все шестеро детей, Маня, няня, дядя Вадим и Павлик скорбной процессией отправились из дома в церковь. Говорить о маминей смерти не полагалось, поэтому знали о ней лишь самые близкие друзья.

Когда мы пришли в церковь, там уже были Навалихины и одна из маминых коллег-учителей. Няня купила свечи и раздала всем. Маленькая Катя еще не умела держать свечу, и я ей помогала. Мы стояли в пустой церкви с зажженными свечами, вдыхали знакомый запах ладана и смотрели, как священник и дьякон ходят вокруг с курящимся кадилом.

Панихида казалась чрезвычайно долгой, особенно младшим, которых приходилось увещевать вести себя тихо, стоять не шевелясь и держать свечу прямо. Маня и няня, заплаканные, полностью поглощенные службой, крестились и клали поклоны, а я присматривала за Катей и Зоей. Таня и Лена, чувствуя серьезность происходящего, стояли спокойно, хотя Таня все время переминалась с ноги на ногу; ей в самом деле было трудно. Печальный Сережа стоял прямо, весь погруженный в глубокую скорбь панихиды.

Когда дошло до последнего песнопения «Упокой, Господи, душу рабы Твоея и сотвори ей вечную память», все опустились на колени, и мне было слышно, как всхлипывает Маня. Я ощущала только острую боль и огромное желание, чтобы все это уже было позади. Я чувствовала, что горе — это настолько личное, что выказывать его на людях неправильно. Мане и няне можно это делать, а нам нет. Случилось ужасное, но надо жить дальше. Больше всего я не хотела, чтобы меня жалели и называли «бедной сироткой». Свечи догорели, каждый из нас подошел к священнику поцеловать тяжелый крест, и мы вышли из церкви на яркий дневной свет.

Жизнь продолжалась. Оставалось еще несколько недель школьных занятий, но они превратились почти в фарс: новые учителя пробовали но-

выми методами обучать учеников, для которых самым важным предметом в школе был бесплатный завтрак. Казалось, никто ничему не учился и учиться не хотел. Маня и дядя Вадим решили, что посылать туда Лену нет никакого смысла, так что она оставалась дома и проводила время за чтением, от которого, как они чувствовали, пользы намного больше, чем от школы.

Меня стало беспокоить Танино образование. Она даже не знала букв, а ей было уже шесть. Я решила учить ее сама, но заставить подвижную девочку сидеть спокойно и слушать было очень трудно. Таня совершенно не хотела быть ученицей. Я пыталась задавать ей какие-то письменные задания, но она не желала их выполнять. Это выводило меня из себя, и однажды я потеряла самообладание и заперла ее в платяном шкафу. Таня кричала и плакала, но я, повернув ключ, положила его в карман и ушла в другую комнату. Няня была занята в кухне, а Мани дома не было.

Вскоре вернулась Маня и спросила меня, где сестренок. К тому времени из шкафа было слышно только жалобное подвывание. Маня рванулась к гардеробу, дернула дверцу, но шкаф был заперт. Она сердито потребовала ключ, и я неохотно его отдала. Выпустив Таню, Маня повернулась ко мне: «Как ты могла это сделать?» Я ответила, что Таня меня не слушалась, не выполняла моих заданий... Маня была в ярости — ни прежде, ни потом я ее такой не видела. Для нее это было последней каплей. Вдвоем с Павликом, которого она позвала, они уложили меня на кровать, задрали юбку, спустили штанишки и отшлепали. Я даже не могу описать всю меру своего унижения. Никого из нас никогда не били! И вот меня, старшую, отшлепали, да еще с помощью старшего двоюродного брата! Потребовалось несколько месяцев, чтобы прийти в себя после такого стыда, а запомнился он на всю жизнь. Однако я понимала, что поступила очень плохо, и старалась больше никогда не поддаваться гневу.

Вскоре после этого дядя Вадим и Павлик уехали. Вадим обещал постараться устроить детей с помощью других родственников и надеялся вернуться. Я все еще была в обиде на Павлика, поэтому не жалела об их отъезде, но Маня лишилась серьезной поддержки. Единственной опорой для нее остались Навалихины.

Наш скудный запас овощей подходил к концу. Теперь все, что касалось покупки еды для нас и сена для коровы, приходилось решать Мане. Деньги, остававшиеся от маминого заработка, кончились. Постепенно стало уходить на рынок наше столовое серебро. Помню, как Маня раз-

думывала, не продать ли мамину серебряную медаль, за которую давали большой воз сена. В конце концов дорожные воспоминания перевесили. Медаль она не продала.

Теперь уже няня редко подавала нищим, стучавшимся в нашу дверь по нескольку раз за день, — чаще просто говорила: «Иди с Богом». Нам и самим доставалось в день по куску хлеба на каждого.

Тогда-то няня и решилась отдать все свои сбережения. Хотя она и была очень привязана к маме и к детям, но все-таки всегда держалась от семьи отдельно. И вот теперь она открыла свой крепко-накрепко запертый сундук и, порывшись в нем, вытащила мешок со старыми, еще царскими бумажными купюрами. Няня протянула мешок Мане, и Маня ахнула: «Настасья Павловна! Да они же старые, аннулированные, на них же ничего не купишь!» Няня стояла как громом пораженная, потом вдруг поняла, уткнула лицо в фартук и заплакала, сев на кровать. Все ее сбережения, хранимые «на черный день», превратились в ничто!

Мане удалось сдать дядину комнату красным офицерам. Они относились к нам довольно хорошо, но мы старались держаться от них подальше. Им всем очень нравилась Маня, особенно одному, который все никак не мог понять, зачем ей эти буржуйские дети. Но Маня ловко отшучивалась и отбивалась от его расспросов и ухаживаний.

В стране свирепствовал тиф, умирали тысячи людей. Заболел и один из наших постояльцев. Маня и няня страшно тревожились: тиф разносили вши, а они то и дело появлялись у нас. Горячей воды, конечно, не было. Чтобы помыть голову, приходилось греть воду на кухонной плите, что делали редко. Вшей просто вычесывали специальным гребешком на бумагу и потом давили ногтем. Процедура эта требовала много сил и времени, поэтому Маня приняла решение всех детей, кроме меня, остричь машинкой наголо. Считалось, что я, более ответственная, могу сама каждый день вычесывать волосы, только мне полагалось все время ходить в платочке или в шапке.

Лето 1921 года

Что бы ни случилось в дальнейшем, но есть нам надо было уже сейчас — это Маня хорошо понимала. Понимала она и то, что огород сажать надо вовремя. Теперь в семье уже не было ни одного работающего, и Маня

обратилась к городским властям с просьбой, чтобы ей дали еще землю в пригороде, где у нас уже имелось два небольших участка. В ответ ей предложили отдать детей в разные детские дома. «А у меня уже детский дом, — ответила Маня. — Давайте еще детей, я и за ними присмотрю. А этих не отдам». Ошарашенные начальники выделили ей землю.

Теперь у нас было три участка. Одна беда — третий частично заходил на старую дорогу, и земля там была так убита, что вскопать ее Мане оказалось не под силу. Пришлось нанять работника с плугом, который и вспахал наш огород. Маня решила сажать там картошку.

Пока она копала и сеяла, няня оставалась дома, смотрела за маленькими и готовила. Старшие каждый день после уроков шли в огород. Мы научились выпалывать сорняки, прищипывать помидоры, окучивать картошку. Иногда приходила и няня. Младших ставили в очередь к колодезю, откуда все таскали ведрами воду на свои участки, — тогда Мане не приходилось тратить время на ожидание воды. Няня тоже помогала в огороде, но было видно, что она уже стареет и слабеет.

Чтобы пополнить и разнообразить запасы еды, мы с Сережей и даже с Леной пробовали ловить рыбу в реке — без удочек, без лески, без крючков. Мы просто привязывали согнутый гвоздик или булавку на веревку, насаживали червяка, привязывали еще и камушек сантиметрах в тридцати от «крючка» и забрасывали подальше с деревянных мостков. По большей части рыба срывалась, и мы не успевали ее подхватить. Но все-таки порой удавалось поймать маленьких рыбешек, сантиметров десять длиной. Изредка попадались и покрупнее, бывали даже небольшие стерлядки. Мы несли добычу домой, Маня и няня чистили рыбу и жарили, похваливая нас за улов. Наверное, возни от этой рыбы было больше, чем пользы, но они никогда не жаловались и даже поощряли нас.

Летние дни тянулись долго. Усталые после дневных дел, мы садились почитать после ужина. Сережа по-прежнему сочинял и рисовал свои истории. Бумаги ему теперь катастрофически не хватало. Все блокноты, сделанные для него мамой, уже давно были исписаны. Каждый кусочек полей Сережа использовал под рисунки, но одного он не делал никогда — не писал на книгах. К счастью, один из наших соседей, композитор, для которого мы выполняли кое-какие поручения, дал нам в награду стопку экземпляров своих сочинений с большими полями. Вот теперь было на чем рисовать!

Я ОТПРАВЛЯЮСЬ В ДЕРЕВНЮ

Где-то в июне я попросилась у Мани пойти со знакомыми ребятами в деревню, километров за двадцать от Омска, где у одного мальчика жил дядя. Конечно, мы думали о том, чтобы раздобыть там еды, пусть не принести домой, но хотя бы там поесть. Маня отпустила.

Идти нам пришлось по проселочной дороге, и, наверное, это было самое длинное пешее путешествие в моей жизни. День был изумительно теплый, на небе ни облачка. Мы шагали мимо зеленых лугов, собирали цветы, девочки плели венки и надевали их на головы. Дорога шла через березовые рощи. Уже появившиеся грибы манили нас в лес, но мы их не собирали — слишком далеко были от дома. Мальчики подбирали палки и ветки, остругивали их ножиком и делали пики, а потом соревновались в меткости. Дорога была веселой, ничто нам не мешало.

До деревни мы добрались уже в сумерках. Дядю мы не нашли — то ли он был в отъезде, то ли вовсе уехал навсегда, сказать нам никто не мог. Деревенские смотрели на нас враждебно, вообще боясь городских жителей, хлынувших в деревню в поисках еды. Возвращаться домой было уже поздно. Очень хотелось есть, но еды никто не дал, все гнали: «Идите, откуда пришли». Часть наших товарищей раньше повернула домой, но нам теперь возвращаться было уже боязно.

Когда в деревне все утихло и жители почти все улеглись, мы прокрались в огород, где заранее заметили, как девочка прореживала морковь. Кучка тоненьких морковок осталась лежать на грядке, вероятно, ее собирались потом дать скоту. Мы разворошили эту кучку и наелись морковкой, немножко утолив голод. Затем свернулись и заснули прямо на грядках.

Утром, проснувшись рано, мы выбрались из огорода, пока хозяева не заметили. Большинство решили идти домой. Но четверо — три мальчика и я — все-таки попробовали разведать окрестности.

Деревня стояла на берегу реки. Через реку ходил паром. Тот мальчик, чьего дядю мы не нашли, сказал, что у дяди за рекой есть избушка и большое картофельное поле. Мы прокрались тайком на паром и никем не замеченные перебрались на другой берег.

Есть все еще очень хотелось, а избушка и поле были не близко. Решили поймать рыбы и поесть, прежде чем отправляться. Ничего для ловли, конечно, не было, но одному мальчику пришла в голову замечательная идея: он снял рубашку, завязал рукава и воротник — получился мешок.

Двое зашли в реку и тянули мешок против течения. Так мы поймали несколько небольших щучек. Сомневаюсь, что мы их как следует почистили, перед тем как насадили на палки и держали над костром. Для костра, впрочем, тоже потребовалась немалая изобретательность, потому что спичек у нас не было. Палки обгорали и ломались прежде, чем рыба была готова. Мы ели ее полусырой, но до чего же она казалась вкусной!

Когда мы добрались до избушки, в ней никого не было. В поле мы тоже никого не нашли. День клонился к вечеру. Осторожно выкопав несколько небольших картофелин на краю поля, мы забрались в избушку. Там был и очаг в земляном полу, и дырка в крыше над ним, но мы развести огонь не посмели, боясь, что кто-нибудь заметит дым. Мы понимали, что влезли в чужой дом без разрешения. Картошку съели сырой. Уже темнело, и мы заснули в избушке на лавках. Все-таки там спать было лучше, чем на грядках в огороде.

Рано утром, когда мы выбрались наружу, в поле уже работали люди. Один из них заметил нас и грозно двинулся в нашу сторону. Мы пустились наутек и бежали до самого причала, где притаились в прибрежных кустах, да так и просидели в них до прихода парома. Страшный преследователь нас не заметил. На паром мы пробрались потихоньку, спрятавшись за телегой. Но и он вошел на паром, поэтому мы так и просидели скрючившись за телегами. Впрочем, все обошлось, нам удалось и выбраться с парома незамеченными. Можно было отправляться домой, и вскоре мы уже вышли из деревни. Опасность миновала.

Голод давал о себе знать очень сильно, я совсем ослабла. Нам удалось собрать немножко ягод, хотя ягодники уже почти все стояли обобранные. Поели мы и сырых грибов. Когда на горизонте показались городские дома, я уже была совсем без сил. Мальчики, бывшие посильнее меня, подбадривали, а то и поддерживали, и так я дотащилась до дому, где испуганные Маня и няня усадили меня за стол. Сама я своим приключением очень гордилась.

НЕОЖИДАННЫЙ ГОСТЬ

Случилось это в середине июля. Дни стояли долгие, в десять вечера еще было совсем светло. Огромная лужа перед нашим домом совсем высохла. Мягкая пыль на дороге нагревалась за день, и по ней приятно было ходить босыми ногами. В тот день мы на огород не пошли: все и так хорошо

росло, а собирать урожай еще было рано. Младшие, как обычно, играли перед домом — няня не разрешала им отходить далеко. Я играла с друзьями в соседнем дворе, Сережа рисовал, а Маня занималась хозяйством.

Открытая коляска остановилась перед нашим крыльцом. В коляске сидели два человека, одетых не по-нашему. Кучер спросил у детей, не здесь ли живут Зарудные. «Здесь», — ответила Таня и побегала звать Маню. Маня вышла из дома. Двое мужчин, как объяснил кучер, хотят видеть госпожу Зарудную. Маня стояла молча. Гости вышли из коляски, но как с ними объясниться, было непонятно — по-русски ни один не говорил. Маня жестами пригласила их войти и послала Таню за мной. Прибыв домой, я попробовала поговорить с незнакомцами. Они сказали что-то непонятное по-английски, я в ответ заговорила по-немецки. Немецкий они не знали. В конце концов остановились на французском, на котором мы все говорили плохо. Удалось понять, что наши гости — американцы, мистер Чарльз Крейн и его сын Джон, что они знакомы с папой и привезли нам от него посылку.

Много лет спустя в архиве Колумбийского университета я прочла дневник Джона Крейна. Вот что он пишет об этой встрече: «Мы спросили, где их мать, и услышали в ответ, что ее в мае арестовали и посадили в тюрьму, как контрреволюционерку. Тогда мы спросили, нельзя ли ее навестить в тюрьме. Помолчав, нам неохотно ответили: “Нет, ее расстреляли шесть недель назад”».

Гости достали из коляски большой сверток и отдали нам. Потом они уехали, сказав, что еще вернутся, потому что Маня обещала найти кого-нибудь, кто говорит по-английски. Она тут же отправилась к Навалихиным, а мы принялись за сверток под присмотром няни. В посылке мы нашли еду, одежду и большой квадратный пакет. Мы страшно обрадовались, думая, что там бумага, которой нам так не хватало.

Но там была не бумага. Там лежали *деньги* — толстая стопка неразрезанных листов по двадцать тысячерублевых купюр. К тому времени деньги обесценились настолько, что священник в церкви просил не класть тысячу рублей в церковную кружку — так это было мало. На базаре крестьяне иногда брали такие неразрезанные листы, чтобы оклеивать ими изнутри сундуки с приданым. Но все-таки это были деньги, много денег, и Маня и няня были счастливы и благодарны.

Когда мистер Крейн с сыном вернулись, Навалихин уже их ждал. Он-то и объяснил им ситуацию. На прощание мистер Крейн сказал, что все передаст папе и постарается нам помочь. Перед уходом он захотел

нас сфотографировать. Я выстроила детей как обычно, лесенкой, но мистер Крейн попросил меня стать в середине. Фотографию он обещал послать папе.

В своих мемуарах мистер Крейн пишет: «Первый раз я столкнулся с террором в связи с чудесным русским инженером Зарудным, который, спасаясь, бежал в Японию... Узнав, что я еду в Россию, он попросил меня захватить еды и денег для его жены и детей, о которых он уже год ничего не слышал. Добравшись до Омска, я первым же делом, пока еще никто не знал о моем приезде, сошел с поезда и отправился на поиски. Город расположен в семи милях от станции, и найти там кого-либо было весьма затруднительно. Наконец я разыскал семью. Оказалось, что мать арестовали и расстреляли за неделю до того. Остались шестеро детей, старшей двенадцать лет, а младшей два года. Девчушка, очаровательное создание, по-видимому, до меня вообще не видевшая дружелюбных людей, изо всех сил старалась управляться с семьей. Я был бы рад усыновить всю семью, но взять их с собой, разумеется, не мог. Там же я нашел двух старых русских женщин, которые хотя и сами терпели лишения, но по своей охоте смотрели за детьми. Я дал им посылку и деньги, которые прислал отец, купил им дров и оставил десять миллионов рублей, объяснив, что деньги надо держать в секрете и покупать на них припасы потихоньку...»

Приезд мистера Крейна и посылка от папы совершенно изменили нашу жизнь. Самое главное — мы теперь чувствовали, что снова связаны с папой. Теперь уже вопрос был не в том, сможем ли мы с ним встретиться, а в том, когда же мы встретимся. Единственное, чего мы боялись, — что папа решит сам приехать. Все считали, что это кончится арестом.

18 июля я написала папе письмо на маленьком клочке бумаги, пользуясь куриным пером и свекольным соком, потому что бумаги не было, и ни ручку, ни карандаш было не достать. Конвертов, конечно, тоже не было. Письмо было отправлено в самодельном конверте примерно 10 на 15 сантиметров и завязано веревочкой (клей тоже отсутствовал). В верхнем правом углу я написала маленькими буквами:

Мама умерла

Милый папочка, мы все ждем не дождемся, когда свидимся с тобой. Посылку твою получили и очень тебе благодарны. Я перешла в 4 класс гимна-

зии, Сережа во 2-ой, Лена в последнем приготовительном. Писать о нашем горе много не могу, когда соединимся, все узнаешь. В Россию или Сибирь тебе ни за какие сокровища приезжать нельзя. Это может кончиться очень плохо. Много писать об этом нельзя, а только старайся перетянуть нас к себе. Крепко-крепко-крепко целую.

Муля

Манины письма

Из разговора с мистером Крейном мы поняли, что к моменту его отъезда из Китая папа еще не знал о маминой смерти. Получил ли он телеграмму дяди Вадима, мы не знали. Мы вообще не знали, дойдут ли наши письма до Харбина или до Японии. Маня решила написать в Ревель нашей кузине, сестре Жени Кавоса, и попросить ее переслать письмо папе. Вот оба эти письма, орфография которых сохранена (датированы письма 29 июля 1921 года).

Многоуважаемая Мария Евгениевна!

Извиняюсь пишу Вам письмо, Вы меня не знаете, но наверно слышали от Ив. Серг. Я у их живу 10 лет, а сейчас нахожусь при детей. Ведь у нас такое печальное положение с Еленой Павловной. Елену Павловну расстреляли 7-ого на 8-ое мая. Вадим Павлович Брюллов Вам посылал телеграмму чтоб известить Ивана Сергеевича, но мы до сих пор ничего не получили, не ужели Вы не получили телеграмму. Елены Павловне были представлены обвинения тяжелы, все меры были приняты, но все безрезультатно.

Многоуважаемая Мария Евгениевна, вместе с Вашим письмом посылаю письмо Ивану Сергеевичу, но я ему боюсь писать об расстрела Е.П. сообщая о смерти. Страшно боюсь за его, как он будет переживать, этот момент нам самим больно и тяжело, но ему еще тяжелей. О детей пишу все Слава Богу живы здоровы. Вадим Павлович уехал в Петроград в командировку, там заболел 2 месяца как без его живем, я и няня еще Настасия Павловна Павлова. В смысле продовольствия, и питание детей, еще не бедствуем. Получили посылку, которую привез Г-н Крен, это очень нас поддержало в смысле жизни, родные хотели, детей вести Петроград или Москву, но там жизнь хуже как мы живем, решили оставаться здесь и



ждать соединение с Иваном Сергеевичем. Может быть Бог даст скоро увидимся. Известите Ив. Сер. как он будет детей перевозить, но сам пусть лучше не презжает, боюсь за него, пожалуйста перешлите ему письмо

Мария Кузминична Юркина. [19]21. 29 Июля

Дорогой Иван Сергеевич!

Извиняюсь что я Вам долго не писала о печальном положении нашем связи смерти Елены Павловны я послала Е.Е. Кавосу в Ревель. Дорогой Иван Сергеевич боюсь за Вас и молюсь сохранить Ваше здоровье для детей нам самым больно и тяжело переживать. Я и няня стараемся поддерживать свое здоровье в смысле помощи для детей. Храни хотя Вас Бог на многое лето для воспитания детей теперь вся надежда на Вас. Дети Слава Богу живы и все здоровы. Бедствия пока не видим и если останемся здесь на зиму то обеспечены жизнью получили Вашу посылку, много поддержала нашу жизнь. Дорогой Иван Сергеевич пожалуйста не беспокойтесь о нас хотя здесь мало Ваших друзей но все таки есть с кем посоветоваться. В смысле материальной помощи все слабы но хорошо, что в советах помогают. Валерьян Павлович Навалихин очень мило к нам относится затем знакомые Е.П. Вадим Павлович уехал в Петроград в командировку. Ваши родные хотели детей взять в Петроград или Москву но теперь не хотят нас трогать, все таки мы устроились с хозяйством, коровы сохранились. Дети все страшно выросли. Катя много говорит и бежит притомже толстушка. Решили прощсе соединится здесь с Вами. Дорогой Ив. Сер. не беспокойтесь о детей я и няня не бросим детей. Я иду навстречу для переживания самые тяжелые минуты, лишь только для детей пока соединимся с Вами, не брошу детей, ведь они мне дороги и родные когда все выросли на моих глазах, да притомже я страшно люблю детей. Хотя в смысле заботы тяжело но надо бороться с жизнью. У нас есть три огорода по 50 кв. саж. 110 кв. саж для картофеля 50 кв. саж марковь свекла и помид. огурцы и проч. Овощами на зиму обеспечены. Дорогой Ив.Сер. я не забуду Вашу просьбу чтоб я не оставила детей Е.П. я все время с ими нахожусь а теперь тем более надо детей расти таких малолетних. Все мы Вас любим и целуем. Няня Маня и дети все

[19]21. 29 Июля

Дорогой Ив. Сергеевич Как Вы думаете когда мы с Вами соединимся. Но Вам лучше не приезжать сюда а пришлите или документы на право проезда или доверенного лица. Надеюсь что Бог даст скоро увидимся. За Ваш приезд боюсь.

*Храни Вас Бог. Прошу убедительно сохранить свое здоровье для детей.
Все желаем с Вами увидится. Будьте здоровы.*

любящая Маня

Навалихин тоже послал папе письмо, в котором, в частности, писал: «Детишки Ваши, для воспитания которых Вы, дорогой Иван Сергеевич, должны теперь посвятить, во имя светлой памяти Е.П., свою жизнь, живут пока довольно хорошо и почти ни в чем не нуждаются благодаря тому, что у них есть две коровы, огород и пр., а также благодаря Вашей последней солидной помощи и самоотверженной любви к детям Мани и старушки няни. Маню беспокоит пока только воспитательная и учебная сторона, но с этим общим в данный момент злом приходится мириться. Мы с женой принимаем, насколько возможно, самое горячее и близкое участие в судьбе детишек и думаем, что следовало бы оставаться до поры до времени в Омске. Правда, Вад[им] Павл[ович], переведясь в Петроград, просит Маню привезти туда всех детишек, которых предполагают разместить по родным в разных семьях, из Москвы Ваши добрые друзья тоже пишут, чтобы детишки ехали туда. Но, зная, как тяжело живется тем, кто просит их к себе, и также принимая во внимание, что детишки должны оказаться разрозненными, — мы пришли к заключению, что во многих отношениях здесь оставаться Вашей семье лучше, чтобы при первой возможности соединиться с Вами. Поэтому думаю, что все хлопоты необходимо Вам направить именно в этой плоскости, минуя промежуточную жизнь детей в Петрограде или в Москве. Если почему-либо этого скоро осуществить Вам будет нельзя, то постарайтесь повторить отправку второй посылки, которая дала бы полную возможность еще лучше устроить Вашу семью в Омске. Повторяю, что мы совещались все вместе с Маней и Анастасией Павловной и пришли к выводу, что здесь больше плюсов на лучшее существование, чем в Петрограде или в Москве, где пришлось бы не только стеснять других, но и причинить им много забот и хлопот, так как, по их письмам, всем им тяжело живется. Здесь же, с нашей помощью, сумеет справиться со всем хозяйством неоценимая и верная Маня, которой, правда, иногда тяжело приходится, но она обладает громадной энергией, преданностью и любовью к вашей семье, всегда находчива и почти никогда не падает духом, что теперь особенно ценно. При переезде же детишек в Петроград или Москву Маня и няня могли бы оказаться лишними и им пришлось бы уехать к своим в деревню, что, конечно, было бы больно для них».



ГЛАВА 14

РАЗЛУКА И ОЖИДАНИЕ

Как ни старались Маня и няня поддерживать прежний повседневный уклад, все равно неизбежность перемен чувствовалась во всем. Жизнь шла своим чередом, но стоило появиться кому-то из друзей, и сразу же начинался разговор, когда и как мы соединимся с папой. Все мы писали ему письма. Младшие свои письма диктовали вслух, обычно мне, и я их записывала, давно привыкнув писать письма под диктовку для няни.

Меня согревала надежда, что папа снимет с моих плеч часть той ответственности, которую я на себя взвалила. В письмах к нему я рассказывала обо всех наших успехах. Маня просила меня также аккуратно сообщать папе о наших денежных делах — сколько мы получили, от кого, и т.д.

Конечно, я хорошо помнила папу, но два года разлуки и все пережитое вызывали какое-то чувство отчуждения. Я чувствовала, что сильно изменилась, и все думала, как же изменился он. Маня и другие друзья говорили о нем с беспокойством — чего они боялись? Мне вспоминался странный и угрюмый отец больного мальчика из книжки «Заколдованный сад» Фрэнсис Бернетт, вспоминались и другие рассказы о людях, сошедших с ума от перенесенной трагедии, и от этих мыслей мне становилось страшно. Но нежные, заботливые папины письма развеивали мои страхи.

Я ощущала себя страшно одинокой. Старалась завести подруг. Ни одному из маминых друзей я не могла сказать о том, что меня тревожило, — может быть, просто не находились нужные слова. Самыми близкими были Навалихины. Они к нам часто приходили, но внимание их доставалось всем детям, а я, как и раньше с мамой, чувствовала себя в стороне, потому что мне было нужно совсем другое. Все считали самым главным, чтобы я помогала Мане с маленькими и сама была послушной девочкой. Я же по-прежнему ссорилась с Сережей и дралась с ним, что приводило в ужас и Маню и няню. Не было ни одного взрослого, кому я могла бы довериться, — я чувствовала себя на верхушке лестницы, когда не знаешь, как лезть дальше.

После отъезда Павлика я нашла оставшееся у него в столе письмо из Петербурга от Сони, его старшей сестры. Соня писала, что ходит на лекции Иванова-Разумника, Андрея Белого и своего дяди Бориса Брюлло-ва, учится пению, истории философии, истории искусства...

Написанное четким, почти школьным почерком, письмо было таким интересным, таким теплым! Я и не предполагала, что братья и сестры могут так говорить между собой. Я мечтала о таких отношениях и сохранила письмо как одну из драгоценных реликвий. Знаменитые имена, упомянутые в нем, для меня в ту пору мало что значили, но в них таился аромат той далекой столичной жизни, к которой принадлежали и мама и папа, куда их всегда тянуло и без которой — я это угадывала инстинктивно — они так тосковали, особенно после того, как мы начали долгое странствие по Сибири.

ПРИЕЗД ЮЗИ

Еще один друг, и очень дорогой нам, появился на пороге нашего дома в сентябре — приехал Юзя, которого я помнила еще с Выксы, где он учил меня гимнастике и рассказывал нам о йоге. Вся его семья жила какое-то время в Томске, а теперь они ехали домой в Юзин родной город Старая Русса. Юзя был все так же погружен в йогу, только постарел и отпустил бороду. Рассказал, что болел плевритом и вылечился йоговскими упражнениями. Еще рассказывал, что ему несколько раз снилась мама, и он уверен, что ее дух всегда рядом с нами и хранит нас, — эти слова утешали, хотя я не до конца ему верила. То же самое говорил и Навалихин, знавший Юзю с давних времен и познакомившийся через него с йогой.

Юзя писал папе 17 октября 1921 года о детях: «Вы, наверное, знаете уже, что детишки Ваши питаются хорошо. Мясо здесь дешевое (2500 руб.), и молоко у них от своих коров. Нянина и Манина любовь создают для их жизни очень хорошую атмосферу. Муля и Сережа уже очень умные дети. <...> Ваши дети — редкие и стоят того, чтобы посвятить им Вашу жизнь. Уверен, что из них выйдут замечательные люди, нужные человечеству. Но теперь необходимо вам соединиться и жить вместе. Сейчас им, без сомнения, помогают невидимые помощники и Е.П. (Леночка), которая дает энергию няне и Мане, чтобы им справиться с той колоссальной задачей, которая им предстоит. Так хотелось бы увидеть Вас, доро-

гой мой брат, но это, наверное, случится не скоро. <...> Кругом кошмар. Везде осиротелые дети. Я утешаюсь только мыслью, что “страдание — есть знак духовного роста” и что страдание необходимо нам, даже если мы не знаем зачем. Может быть, для будущей жизни, когда мы проснемся в лучшем мире».

Занятия в школе 1 сентября не начались. Здание было занято на лето администрацией города для каких-то нужд, и к началу сентября его не освободили. Все занимались уборкой урожая с огородов. Важнее всего было убрать картошку. Ее собирали за один день. На этот день нанимали лошадь с телегой, и уж тут надо было ее использовать как только можно: мы все работали не покладая рук с утра до вечера. В другие дни убирали остальные овощи, и каждый приносил домой сколько мог донести, мешками и корзинками. Маня и няня солили огурцы и капусту, а картошку и другие овощи закапывали в песок в подвале. Консервировать тогда не умели, да и приспособлений никаких для этого не было.

Наконец в октябре начались уроки в школе. Тогда же пошли затяжные дожди, дороги размыло и кончились наши игры на улице.

Лена, Сережа и я ходили в одну и ту же школу, которую мы в письмах папе называли по-старому — гимназией, хотя теперь она носила название «57-я советская школа». Школа работала в две смены — утреннюю и после обеда, а классы теперь назывались группами. Я ходила в четвертый класс, то есть в шестую группу, Сережа во второй, или в четвертую группу, а Лена во второй приготовительный, или во вторую группу. Таня и Зоя пошли в детский сад. В детском саду — это было самое главное — кормили обедом, и хотя бы об этом можно было не заботиться.

Из полосатой зеленой фланели, которую прислал папа, с помощью друзей были сшиты школьные платья для всех девочек и рубашка для Сережи. Мы себя чувствовали достаточно хорошо одетыми. Из сундуков доставали прошлогодние шубы и обувь; все, как всегда, переходило со старших на младших. Надо было примерять, перешивать, проверять, не прохудились ли валенки.

Дом тоже надо было готовить к зиме. Целый день уходил на заделку окон. Окна полагалось замазывать замазкой, а затем клеивать бумажными полосками. Потом вставлялись внутренние рамы — между двумя рамами помещали стаканчик, наполовину заполненный концентрированной серной кислотой, чтобы не скапливалась влага между окнами. Внутреннюю

раму тоже замазывали и заклеивали. Для проветривания оставалась одна форточка в каждой комнате, которую иногда называли вас-ис-дас. Форточку тщательно обивали войлоком и так же обивали все наружные двери.

Ужинали мы при свете одной-единственной керосиновой лампы посреди обеденного стола. При ней же мы и читали, и делали всякую работу, и писали или рисовали. Няня смастерила маленькую жировую копилку, так что и в другой комнате горел огонек. Иногда мы пользовались спиртовыми лампами: свет от них был ровный, но очень слабый.

Все меньше оставалось надежды на то, что мы соединимся с папой до зимы. Похоже, никто не знал, как, где, от кого получать разрешение на поездку по России и из России. Да мы и не знали толком, куда нам ехать. Отправляться в долгую дорогу зимой вообще было рискованно, разве что при очень хороших условиях в дороге, а этого ожидать не приходилось. Решено было, что на зиму мы остаемся в Омске. Да и письма из Харбина стали приходить более или менее регулярно, иногда даже быстрее чем за две недели.

На что мы действительно жаловались в своих письмах, так это на нехватку бумаги и карандашей. Каждый клочок бумаги был ценен и использовался до конца. Чернила у нас в чернильницах давно высохли. Приходилось пускаться на выдумки. Во-первых, мы истратили все красные чернила, которыми мама правила ученические работы. Кроме того, если мы находили огрызок химического карандаша, то дробили его грифель, растворяли в воде и получали что-то вроде фиолетовых чернил. Их хватало дольше, чем если бы мы писали этим карандашом. Когда не стало перьевых ручек-вставочек, я их сама вырезала из дерева. Когда кончились стальные перья, я стала делать «гусиные» — только не из гусиных, а из самых больших найденных нами куриных перьев. Когда не стало остатков химических карандашей, я научилась делать «свекольные чернила»: мы резали на мелкие кусочки свеклу — а ее у нас было в избытке — и выжимали сок в баночку. Поразительно: семьдесят лет назад я записала свои стихи свекольным соком в альбом — и их все еще легко прочесть и сегодня.

Маня и няня каждый раз просили прислать нитки для шитья. Но больше всего в папиных посылках мы радовались сахару. В остальное время, чтобы подсластить напитки, пользовались сахаринном, растворяя его в воде. Поскольку ни чая, ни кофе не было, то «кофе» у нас называлось питье, которое Маня готовила из сушеной свеклы и морковки, — она нарезала их полосками и сушила на печке, а потом толкла и заваривала в кофейнике.

В посылке кроме прочего был солидный запас пшена, которое составило основу нашего рациона всю оставшуюся зиму. Насколько я помню, пшенную кашу мы ели каждый день.

Сережа, для которого самым важным занятием было рисование, больше всех страдал от отсутствия бумаги. Свои письма к папе он обильно снабжал рисунками. Писал о каждой из своих сестер, жаловался на скуку, когда даже домашних заданий нет. Вдохновленный папиным интересом, он сообщал Амзонские хроники: «Расскажу немного историю Амзонии: амзонцы родом греки, или метисы, скорей. Амзонию основал спартанец Амзон, которого за какую-то провинность в религии выгнали из родины; он с 20 своими единомышленниками занимался в Средиземном море чем-то вроде пиратства, потом на корабле “Арго” уехал в Атлантический океан и после долгих блужданий наткнулся на Южную Америку. Они там жили 2 года, воюя с индейцами. Один раз они уехали из Америки и наткнулись на два острова, лежащие на 4° вост[очной] долг[оты] 2° южн[ой] широты, и остались там жить».

Как мы ни старались экономить топливо, но дрова, оставленные мистером Крейном, подходили к концу. Для кухонной печки Маня и няня пользовались высушенным коровьим навозом, а одну из комнат топили только тогда, когда купали младших детей (Сережа и я уже были большими настолько, что нас можно было брать в баню). Все остальное время мы не снимали дома шуб, валенок и варежек — только правую варежку, когда ели или писали. В шубах мы не замерзали, и Маня считала, что важнее покупать сено для коровы, чем дрова.

Где-то в середине октября и Маня, и Навалихины получили по письму из Петрограда от Юзи, жившего у нашей тети Вари Лисовской. В письмах, написанных по ее настоянию, он предлагал, чтобы мы немедленно распродали все наше имущество в Омске и приехали к тете Варе в Петербург. Такое же письмо получил от него и папа. Вскоре пришли два официальных письма от дяди Вадима, адресованных в Транспортный отдел омской администрации с запросом на выдачу нам разрешения на переезд в Петроград.

Мы были потрясены: ведь уже настроились зимовать в Омске и весной уехать на *восток*, чтобы встретиться с папой! Мы так надеялись, что семейные дела как-то пойдут по-старому... За четыре года, с тех пор как мы последний раз виделись с тетей Варей, в семье сложились новые отношения — Маня и няня стали ее частью. Более того, Манина главная

роль во всех семейных делах, а моя — как ее помощницы — не подвергались сомнению. Все наши надежды, наши заветные желания были сосредоточены на встрече с папой. Больно было даже подумать о том, чтобы еще откладывать встречу на неизвестный срок, да к тому же мы ничего не слышали от папы об этом решении.

Взрослые срочно собрались на совет у Навалихиных, и было решено, что неразумно торопиться предпринимать что-либо до того, как мы узнаем папино мнение.

Папа в то время остался без работы, и в перспективе ничего не предвиделось. Раздумывая, ехать ли ему в Бельгию, где он получил свое инженерное образование, или в Латвию, в Либаву, где он надеялся строить свои печи, отец на всякий случай подал прошение о визах в обе страны. Одному ехать было бы гораздо легче, да и к нам он оказался бы ближе, будь мы в Петрограде... Два дня папа провел в тяжелом раздумье, а 19 октября послал нам телеграмму: «Обстоятельства изменились подтверждаю решение переезжайте все Петроград Лисовским».

Телеграмма всех взбудоражила, но срочно отправляться куда бы то ни было в середине зимы нельзя было даже и думать. Тем более дети все время простужались и болели. Мы уже настроились провести зиму в Омске и поэтому ничего не предприняли после папиной телеграммы, решив дожидаться письма от него.

В начале ноября пришла телеграмма от нашего знакомого Пиккерсгилла из Читы, датированная 25 октября, где было написано, что мы должны (как первый этап) ехать в Читу (т.е. на восток!). Положение запутывалось еще больше, и нам оставалось только дожидаться папиного письма.

В ноябре простудилась Катя. Мы все простужались, но у нее простуда перешла в воспаление легких — уже второе. Маня тревожилась: дом был холодный и сырой. Доктор настаивал, чтобы Катю выносили на улицу, даже при том, что на улице было 40 градусов мороза.

Маня сама лечила нас, читая и перечитывая мамину книгу под названием «Письма к матерям». Там перечислялись все детские болезни с подробными описаниями симптомов и изображениями разных видов сыпи, опухолей, общего телесного состояния при разных болезнях, включая искривленные ноги и раздутые животы при рахите. В книге содержались подробные советы матерям, живущим вдали от врачей, как лечить домашними способами ту или иную болезнь, хотя и рекомендовалось всегда,

когда возможно, обращаться к медикам. Для воспаления легких предписывались банки, и все мы хотя бы раз испытали на себе лечение ими с одобрения нашего доктора.

В конце ноября пришло письмо от папы, посланное 20 октября.

Дорогие и милые детки, Настасья Павловна и Маня, третьего дня я получил от Юзи из Питера письмо, в котором он пишет, что все родичи после его рассказов о вашем житье решили, что вам надо скорей переезжать в Питер к сестре Варе, где вы все вместе с Маней и няней будете жить и при посылаемых мною деньгах будете иметь все, что необходимо. Поэтому вчера я телеграфировал вам: обстоятельства переменились переезжайте все Петроград Линовским.

Мне очень-очень грустно лишаться надежды скоро увидеть Вас здесь, но обстоятельства мои действительно переменились к худшему — я лишился постоянного заработка, и потом ваше пребывание здесь было бы связано со всяким риском, тогда как у тети Вари вы все будете у родных и любящих вас людей, ученье будет, конечно, гораздо легче, чем здесь, и мне легче будет зарабатывать то, что необходимо вам на жизнь.

Это решение, которое вышло помимо меня — против моего горячего желания с вами увидеться, — очевидно, предназначено судьбой, и потому ничего не поделаешь.

Крепко целую вас, мои дорогие, и призываю благословение Бога на вас всех, но если вы уже тронулись в Читу — то, конечно, продолжайте путь ко мне. Жду телеграммы о положении дел от Пикк[ерсгилла] и буду писать вам в Питер, если вам надо денег, телеграфуйте Пиккерсгиллу в Читу. Из Питера прошу Маню, Мулю и Сережу писать мне регулярно два раза в неделю по воскресеньям и четвергам.

Крепко-крепко всех-всех целую.

К этому времени наступила настоящая сибирская зима. Катя была все еще нездорова. У Навалихиных снова собрался совет, и решение было — оставаться на зиму в Омске.

После того как папа послал телеграмму Пиккерсгиллу в Читу 25 октября, он, по-видимому, был очень занят поисками работы и способов прокормить нас, когда мы приедем. 14 ноября он отправил письмо, которое дошло до нас лишь в конце декабря:

Дорогие и милые детки, я отменил мое распоряжение письмом 20 октября и телеграммой 19 окт[ября] о вашей поездке в Питер и телеграфировал 25 окт[ября] Пиккерсгиллу, чтоб он вам телеграфировал: ехать в Читу, как было раньше условлено. Т.е., вернее, ждать в Омске разрешения ехать в Читу. Ужасно боюсь, что телеграмма вас не застала и вы уже поехали в Питер. Но если и так, то все же буду изо всех сил стараться перевести вас сюда. Только тогда (из Питера), конечно, все дело затянется и надо будет ждать весны. Очень-очень жаль, если так, и я все же надеюсь, что вы пока в Омске и тогда, переждав некоторое время, может месяц, — будет уже совсем ясно, есть ли шансы вашего переезда в Читу. Если нет, то вы уже сами решайте, оставаться ли в Омске или ехать в Питер. Твердо знаю одно — хочу вас иметь здесь при мне и вас всех, с Маней и няней непременно, иначе мы не справимся. То письмо посылаю также и Варе, чтобы она была в курсе моих писем. Ей я тоже телеграфировал, что хочу вас сюда. <...>

Бумаги Сереже не послал, ибо думал, что вы уже едете, но, очевидно, так скоро все не делается и надо запастись мужеством и терпением. Как мама говорила: не все на небе будет ночь, авось и солнышко проглянет. Крепко-крепко всех целую, люблю. Пишите чаще.

Папа

Через несколько дней пришло еще одно письмо от папы, написанное 16 ноября, где он сообщал, что будет нам регулярно посылать по 500 000 рублей через жену его друга, профессора Юзофера, который временно находился в Омске, а жена его — в Чите. Сумма эта была лишь малой частью того, что требовалось, чтобы выжить, и папа это понимал. Он надеялся поддержать нас как-нибудь еще — например, пытался послать деньги для нас и для Жени через Европу своей племяннице Гале в Петроград. Папа просил Маню вести учет всем полученным деньгам, и Маня выполняла его просьбу предельно добросовестно. Я помню длинные колонки цифр, которые она записывала, со всеми бесконечными нулями, поскольку самые дешевые вещи стоили сотни тысяч рублей. Так продолжалось, пока не ввели новые деньги, приравняв новый рубль к 10 000 старых.

В начале декабря Мане удалось раздобыть немного дров, и теперь, по утрам и когда мы приходили из школы, дом был относительно теплым и можно было сидеть без пальто и варежек. Знакомые помогли нам провес-

ти электричество, и теперь в столовой и в спальне, где спали младшие и Маня с няней, сияли электрические лампы. Стало можно читать, писать и рисовать за большим столом в столовой, не споря за место поближе к керосиновой лампе, а когда по вечерам за окном завывала выюга, дом наш казался нам еще уютнее и надежнее.

У Лены теперь было много свободного времени, и она читала все, что попадало ей в руки. Она написала папе: «За последнюю неделю я прочитала: “Смелая жизнь” Чарской; “Тысяча и одна ночь”; “Война миров” и “Остров доктора Моро” Уэллса; “От земли до луны”, “Вокруг луны” и “Лотерейный билет” Жюль Верна. Все книги, кроме Чарской, я взяла у Александра Львовича Юзофера. Я была у него в гостях. Он взял у меня сумочку и положил в нее сахару 11 кусков и сушеных яблок и не позволил смотреть. Я пришла домой, тогда я посмотрела, что было в сумочке; тогда было Танино рождение, все так и набросились на сахар и в неделю все съели; после этого у нас сахару не видели. <...> А сегодня получили твою посылку. В тот день, как пришла посылка, Маня заплакала и говорит: “Как тяжело жить на свете!” А Катя сказала: “Не плачь, Маня, ведь теперь сахар есть!”».

Приближалось Рождество. Снегу было столько, что дом заваливало по самые окна, а иногда и выше. Снег шел каждую ночь. Для нас это была уже третья зима в Омске, и к сибирской зиме мы уже вполне привыкли. Открывая наружную дверь по утрам, приходилось лопатой откапывать проход. Даже просто проложить путь по свежее выпавшему снегу требовало сноровки. В школу мы обычно шли по середине улицы — деревянных тротуаров не было видно под снегом. В воздухе без малейшего ветерка мороз колол щеки, пар от нашего дыхания оседал на шарфах, и они скоро заледеневали. В школу мы приходили бодрые и полные сил.

Обратно идти было уже гораздо легче, к этому времени снег на улицах уже был утрамбован санями и приятно поскрипывал под ногами.

Мы готовились к елке. Как и прежде, Сережа и я делали украшения. Цветной бумаги теперь было не достать, и Маня предложила использовать керенки, которые теперь, как уже всем стало ясно, никакой цены не имели. Они хранились спрятанными в разных неожиданных местах — в подушках, матрасах. Мы их wygrебли оттуда — голубые, розовые, светло-зеленые, они вполне годились для цепей, корзиночек и прочего. Мы даже постарались вспомнить, как мама делала разные многогранники. Елка

получилась не очень красочная, а свечек не было вовсе. Зато, как мы шутили, у нас была настоящая «денежная елка».

Сережа продолжал посылать папе Амзонские истории: «Я теперь передумал все об Амзонии, и она стала не воюющей совсем страной. Я все больше и больше отвыкаю от войны»; «В Амзонии случилась вот такая история. Амзон умер, и его старший сын Войка после недолгой смуты между сыновьями Амзона взял каску и меч, знаки императорской власти. “Герцогства” остались за братьями Войки. Это было в IV веке до Р.Х. Вот рисунки одежды тех времен. Дальше расскажу в следующем письме».

НОВАЯ ШКОЛА

Вскоре после Рождества директора нашей школы М.В. Каеш уволили. В школе, к большому недовольству прежних учеников, появился новый директор. Многие учителя тоже ушли, или их заставили уйти. Атмосфера в школе стала еще хуже. Ходить туда было потерей времени. Лена перестала посещать школу, но мы с Сережей продолжали, хотя и безо всякой радости.

Впрочем, вскоре группа бывших учителей организовала частную школу. Юридически это оказалось возможно потому, что один из учителей был гражданином Польши. Учителя хорошо знали маму и знали, что с ней случилось, поэтому нам с Сережей предоставили право учиться бесплатно. Лена, которая давно уже опередила свой класс по чтению, занималась только арифметикой с М.В. Каеш. Занятия происходили в одном частном доме, пока хозяева были днем на работе. Мой класс занимался в столовой, где стояло еще и несколько кроватей. Мы садились вокруг стола, и нам, как я помню, очень не хватало доски. Один мальчик нашел кусок старого линолеума, рисунок на нем уже совсем стерся и осталась довольно грубая черная поверхность. Частной школе достать мел было невозможно, но мы открыли, что можно писать на этом линолеуме кусками гипса, которые мы подбирали на улице. Своей изобретательностью мы сильно гордились, но мне что-то не помнится, чтобы учителя гипсом часто пользовались.

Детей в классе было немного, и учились мы очень интенсивно, с большими домашними заданиями. Расписание же было совсем легким: три урока в день по 45 минут, обычно с половины десятого до двенадцати или

до часу и каждый день не все предметы. Мы с Сережей учились русскому языку и литературе, французскому, немецкому и географии. По математике Сережа занимался только арифметикой, а у меня были и алгебра, и геометрия. Еще у меня были латынь и физика. По истории, которую раньше преподавала мама, учителя не было.

Как-то раз вместе с двумя мальчиками из моего класса я решила пойти в старую школу, посмотреть, как там дела. У нас в тот день уроки кончились очень рано, и мы надеялись застать еще уроки в той школе. Мы вошли в пустой рекреационный зал — он выглядел грязным и запущенным. Большинство классных комнат уже опустело, но наконец мы нашли класс, где еще шли занятия, вошли туда и сказали, что пришли в гости. Нам разрешили войти, и мы сели за парты. Там было так холодно, что все школьники и учитель были в зимних пальто. Около доски стояла маленькая железная печурка, явно совершенно холодная, потому что учитель сидел на ней. Шел урок истории — учитель рассказывал о Троянской войне. Для нас все это было примитивно — будто для маленьких, — мы стали задавать каверзные вопросы, на которые никакого удовлетворительного ответа не получили, и ушли оттуда, гордые своей эрудицией. Никакого сравнения и быть не могло между нашей маленькой школой и этим «массовым обучением».

После уроков мы делали во дворе горку из досок. Ее поливали водой, и вода тут же с треском превращалась в лед. Первые несколько ведер замерзали, даже не докатываясь до низу горки. Чтобы сделать всю горку ледяной, воды требовалось много. Во дворе был колодец с воротом; когда из колодца вытаскивали ведро, оно то и дело задевало за обледенелые стенки, выплескивая часть воды. Доставать воду было целым приключением — наши варежки, валенки и даже шубки сразу покрывались льдом, даже не успевая промокнуть. Я очень любила заглядывать в черную дыру колодца и ловить там отблеск воды в глубине — обычно воды не было видно вовсе.

Чтобы кататься с горки, мы подбирали короткие доски и, как нас научили местные ребята, покрывали их мягким коровьим навозом, чтобы они стали ровными, а потом поливали водой. Способ изготовления проверялся годами: вода сразу замерзала и получались великолепные салазки — толстые и гладкие. Горка была нашей радостью даже в сильные морозы. Младшие сестренки тоже катались с нами. Вот только дни были короткими — часа в три начинало смеркаться, и обычно к вечеру холодало так, что даже горка нас уже не привлекала, и мы шли домой.

РАССКАЗ ЛЕНЫ

В 1936 году Лена написала еще один рассказ об этом периоде нашей жизни:

Таня, Зоя и Катя папу не помнили, но Лена о нем часто думала. Папа был смутной фигурой в ее памяти — кто-то, кому можно писать письма... Все, что она о нем знала, навевало жалость: «Бедный папа, он будет так тревожиться, если мы ему не станем писать, — сказала как-то раз Муля. — Он подумает, что мы его не любим!» Лене это показалось ужасным. Она была уверена, что любит его, каким бы он ни был, хотя и не могла бы сказать почему. Каждое воскресенье Лена неукоснительно писала папе. Она знала, что по какой-то таинственной причине он живет в чужой стране, он их всех любит и время от времени пишет им письма.

Папа стал видаться совсем в особенном свете, когда в одной из толстых книг с восхитительными иллюстрациями, привезенных Маней из Уфы, Лене попался «Король Лир». Лена читала медленно, прорываясь сквозь трудные слова, вся захваченная повествованием, наполнявшим ее жалостью к несчастному королю. Завернувшись в мамину меховую накидку, она читала ночью, когда все уже спали и никто не мешал ей придвинуть их единственную свечку поближе к книге. В комнате было тихо, только ветер привычно завывал в трубе. Иногда вдруг всхрипнет няня, или загремит от ветра железо на крыше — и опять тихо. Вся охваченная волнением, Лена лихорадочно листала страницы и наконец выронила книгу и заплакала, потрясенная страшным концом. Она рыдала безутешно, все громче и громче, меховая накидка упала, и стало холодно. «Лена, что случилось?» — проснулась от ее рыданий Муля. «Ой, Муля, я прочла «Короля Лира», и они все умерли!» — плакала Лена. «Я знаю, знаю, но ведь это же в книжке, это не по-настоящему, ложись спать». Муля — она всегда утешала, задула свечку и подоткнула одеяло вокруг Лены. Как хорошо, что Муля проснулась, — вынести эту тяжесть в одиночку казалось невыносимым.

Но заснуть долго не удавалось. Лена лежала под одеялом, стараясь, чтобы согрелись ноги. Ей виделись бесконечные равнины, где в стогах сена живут бездомные дети и их замечает снег, и виделся король Лир, бредущий по этим равнинам под бурей. Потом Лир превратился в мальчика в стоге сена, он был обернут газетами и цветами... «В терновнике северный ветер свистит...» Разве газеты согревают на холоде? А затем на сне-

гу стоял папа с длинной седой бородой и говорил: «Как больно бьется сердце...» Ветер гудел в трубе. Лена заснула.

В марте мне пришло длинное письмо, которое папа отправил еще в декабре. Он поздравлял с Новым годом и писал: «Моя милая и дорогая Маргариточка, крепко, крепко тебя и всех целую и желаю счастливого Нового года. Ты ведь теперь наша главная хозяйка вместе с Маней и няней и главная заместительница нашей милой бедной Леночки для всех твоих брата и сестер. Помни это хорошенько — теперь им больше неоткуда получить хороший добрый совет по таким делам, где можно было советоваться только с мамой, и это большая и тяжелая на тебе ответственность, дорогая милая маленькая Муличка — теперь большой человек, который должен поддерживать всех своих. Дай тебе Бог сил и доброй души, чтобы все это исполнить. <...>

Все-таки есть много добрых людей на свете, и этим только и можно жить дальше и твердо верить, что будут все жить хорошо и любить друг друга, и что те, которых уже нет, погибли не даром, а, наоборот, создали возможность благополучия нам, остающимся. Самое главное теперь — поднять твоих брата и сестер в добром желании любить и быть хорошими людьми. Твердо верю, что вы все таким и будете».

Папино письмо, пожалуй, еще больше усилило мои тревоги и чувство, что ответственность, лежащая на моих плечах, мне уже не по силам. Я сама еще была ребенком, младшие не считались со мной, и при этом я должна была «поддерживать всех своих...» и давать «хороший добрый совет по таким делам, где можно было советоваться только с мамой...». Мне самой такой совет был нужен, я поэтому так ждала встречи с папой! Он надеялся, что у меня хватит силы духа — а откуда мне было ее взять? Я чувствовала, что мне просто не справиться с такой задачей, и меня угнетала мысль, что воспитание младших брата и сестер станет делом всей моей оставшейся жизни — а как же мои мечты о сцене или о подвигах? Впрочем, надежды увидеть папу и повседневные занятия, игры, чтение вскоре отодвинули такие мысли на задний план.

Папа надеялся устроить наш переезд в Читу: у него там были друзья и он сам туда часто приезжал. Папа явно рассчитывал, что мы сможем устроиться там на какое-то время. Еще он писал, что его опять приглашают на работу в компанию «Бабкок и Уилкоккс», на этот раз в Тяньцзинь, но, если мы приедем в Читу, он тоже немедленно туда приедет.

Зима шла к концу, и надежды отправиться на восток, где мы встретимся с папой, уже казались реальными. Папа договаривался в Харбине с Епишиным и Покровским, представителями Комитета помощи голодающим, чтобы кто-нибудь из них забрал нас с собой по пути в Маньчжурию.

Пасха в 1922 году пришлась на 22 апреля. Сережа нарисовал открытку с вазой с пасхальными яйцами и написал:

Христос Воскресе, милый папочка!

Мы празднуем Пасху, как в старое время: с красными пасхами, с белыми куличами, благодаря твоей посылке, хоть яиц было только 17. У нас все здоровы <...>. Нам завтра уже идти в группы, и наверно, через две недели после приезда Покровского в Харбин и мы будем там и увидим тебя и ты нас.

Твой Сережа

ОТЪЕЗД ИЗ ОМСКА

В середине мая мы получили телеграмму, что Епишин выехал из Перми. Он ехал в теплушке, которой распоряжался единолично, и должен был нас забрать, проезжая через Омск, и отвезти в Харбин, к папе. К этому времени Мане удалось продать обеих наших коров. Кур зарезали и съели после Пасхи. Маня и няня принялись собирать все наше имущество. Мебель продали разным людям, которые разрешили нам пользоваться ею до отъезда. Хозяева нашли уже других постояльцев, и те должны были въехать сразу после нашего отъезда. Уже потеплело, все наши зимние вещи упаковали. Маня с няней наготовили массу еды в дорогу. Но у Мани еще оставались золотые монеты, и встала проблема — что с ними делать? Золото вывозить не разрешалось.

В те времена обязательной частью детского белья был лифчик, застегивавшийся спереди на пуговицы. По нижнему краю лифчика тоже были пуговицы: к ним пристегивались штанишки и резинки, на которых держались чулки. Пуговиц в магазинах давно уже не было, и люди делали деревянные, обтягивая их материей, чтобы можно было пришить. Находчивая Маня крепко-накрепко пришила новые обтянутые пуговицы к нескольким лифчикам. Когда мы уже совсем оделись, чтобы ехать, дети

стали жаловаться, что лифчики тяжелые. А Маня всю дорогу беспокоилась, что какая-нибудь пуговица оторвется и ее секрет откроется.

27 мая, в субботу, все было готово к отъезду: дети одеты, сундуки отвезены на станцию. Поезда, на котором должен был ехать Епишин, ожидали с минуты на минуту. Навалихины вышли на платформу и вернулись сказать, что поезд прибывает. Но страшное разочарование — теплушки Епишина там не было! Это значило, что нам надо ждать до завтра. Что было делать? Дом уже стоял пустой, новые жильцы могли приехать в любую минуту. Навалихины жили очень далеко, но все-таки мы решились оставить багаж на станции под надежным присмотром и ночевать у них. Восьмером мы втиснулись в их квартиру. Спали в гостиной — маленьких положили на диван и на кресла, остальные спали на полу. Мне было позволено переночевать в «неприкосновенной» комнате их покойной дочери.

На следующий день мы снова отправились на станцию — и снова Епишина нет. Еще один день ожидания, опять в чужом доме, где надо следить за маленькими, чтобы они ничего не портили и не скучали. Все наши вещи были упакованы, у нас не было ни книг, ни бумаги. Мы совершенно истомились. Пришло несколько телеграмм от Епишина, которые ничего определенного не сообщали. И наконец 3 июня, после целой недели ожидания, пришла весть, что Епишин приехал.

В страшной спешке собрали все, что было с нами у Навалихиных, и на извозчике доехали до станции. Еще одна неожиданность — в теплушке, оказывается, ехало больше пассажиров, чем мы ожидали: кроме Покровских, матери и ее девятилетней дочери Ольги там была еще одна дама с сыном и еще одним мальчиком, которого она тоже везла в Харбин. Места в теплушке оставалось мало, и в результате мы смогли взять лишь малую часть багажа — только то, что могло понадобиться в дороге. Мане пришлось срочно перепаковать багаж; все книги, зимние вещи пришлось оставить.

Хоть мы и задержались в Омске на неделю, мы все равно не смогли попрощаться со многими друзьями и знали, что, возможно, больше с ними не увидимся. Но радость, что мы снова увидим папу, была сильнее печальных мыслей. Мы машем на прощанье Навалихиным. Три удара колокола... и поезд трогается, набирая скорость.



ГЛАВА 15

ДОЛГИЙ ПУТЬ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Стоя у распахнутой двери, мы следили, как удаляются железнодорожная станция и друзья, махавшие нам вслед. Вот они уже исчезли из виду, и кончились домики пригородов Омска. Мы отошли от двери и стали исследовать теплушку. Она представляла собой обычный товарный вагон, оборудованный для перевозки людей. Открывалась только одна из раздвижных дверей, а другая, с противоположной стороны, была заделана наглухо. Больше ни дверей, ни окон не было. Теплушка была прицеплена к хвосту грузового поезда. Внутри вагон делился на три части. В средней стояли маленькая железная печка для обогрева и для готовки, а также маленький кухонный стол. Один конец вагона отделялся перегородкой с дверью, за которой ехал сам Епишин: там стояла его кровать, и там он работал. Детям туда входить не разрешалось. В другом конце вагона по трем стенам были полки в три ряда, где нам всем предстояло разместиться. Туалета не было — только горшки, которые выливались прямо по ходу поезда. Помимо Епишина в вагоне теперь ехало тринадцать человек: девять детей — три мальчика и шесть девочек — и четыре женщины.

Решено было, что старшие женщины будут спать на нижних полках, Катя вместе с няней, а Маня и все остальные дети на верхних — на одном уровне мальчики, на другом — девочки. Мы стали знакомиться с другими детьми, Маня принялась расстилать наши постели, а няня достала еду, потому что все уже проголодались. Младших уложили спать еще до сумерек; они хотя и устали, но бунтовали и ложиться не хотели.

Дни стояли уже теплые, дверь была открыта, и пока старшие размещали багаж по углам и утихомиривали маленьких, мы сидели на красшке у двери, свесив ноги, и смотрели на расстилавшиеся вокруг болота, луга, заросшие травой, и проплывавшие мимо редкие берзовые рощицы. Пейзаж этот тянулся пока хватало глаз. Человеческого жилья почти не было, редко-редко вдалеке виднелся дымок — может быть, из труб в деревне, а

может быть, от костра. Немножко тянуло туда, к цветам на лугах. Стоял июнь, день тянулся долго, но в конце концов настали сумерки, глаза уже не различали пейзажа за окном, воздух остыл, и нам пришлось встать и забраться в вагон. Раздвижную дверь на ночь закрыли, а внутри, посреди вагона, зажгли керосиновую лампу. В печке горел огонь, и стало тепло и уютно. Мы начали укладываться на верхних полках, настаивая, чтобы нам разрешили зажечь свечки, и пререкаясь, кому читать те немногие книжки, что мы смогли взять с собой.

Так чудесно было опять засыпать под ритмичный стук колес и редкий печальный свист паровоза. Было чувство, что все плохое прошло и никогда не вернется. И папа нас ждал где-то впереди, и никто нигде не остался. Даже когда поезд подрагивал на стыках или останавливался на станциях или когда вагон отцепляли и прицепляли вновь — все это ничему не мешало, становилось только еще интереснее. Нас укрывало чувство уюта и защищенности в нашем собственном безопасном пространстве.

Так нам предстояло путешествовать больше двух недель, и необходимо было сблизиться с нашими спутниками. Детям требовалось занятие. Конечно, случались и ссоры, и обиды, как всегда бывает, когда приходится жить так близко с людьми, раньше незнакомыми, Маня и няня сражались за место для готовки, каждая мать оберегала своих детей, особенно при ссорах. Сережа был счастлив, что появились новые слушатели, но огорчился, что ему негде и нечем рисовать. Лена проводила большую часть времени, уткнувшись в книжку, Зоя и Катя были всегда с няней, а Таня часто помогала Мане готовить. Я, как всегда, старалась организовать какие-то игры, чтобы все были заняты, но к нашим играм не все были привычны, и в конце концов мы остановились на картах и играх в слова, особенно в географические названия (когда каждый должен написать как можно больше названий на одну и ту же букву). В более подвижных играх дети делились на две команды и изобретали секретные языки, которые надо было запоминать и потом говорить на них. На остановках мы соревновались в ходьбе по рельсам и клали медные монетки, чтобы по ним прошел поезд — потом они превращались в тонкие расплюснутые кружочки большего диаметра. Еще играли в «чижика» — били палкой по маленькой, заостренной с двух концов деревяшке, деревяшка подлетала, и надо было ее успеть ударить биткой.

Как только поезд останавливался днем на какой-нибудь маленькой станции, к нему подходили женщины и дети, продавали яйца, кур, домаш-

ние пироги. Запасы наши быстро таяли, и Маня обычно слезала с поезда и покупала что-нибудь, торгуясь с продавцами.

На некоторых станциях поезд стоял подолгу. Тогда нас трудно было удержать, чтобы мы не спрыгивали и не играли на путях, — ведь так приятно было почувствовать твердую землю под ногами после долгих дней в поезде. Но заранее никогда нельзя было знать, долго ли простоят поезд, прежде чем его отведут на запасной путь или он снова тронется, и поэтому Маня и няня строжайше следили за нами на всех станциях, ни с одного из нас ни на минуту не спуская глаз. Я, конечно, даже играя сама, тоже должна была следить за маленькими.

Часто случалось ложиться спать, пока поезд стоял на запасном пути, а потом просыпаться ночью от резкого рывка и радоваться, что мы опять едем.

Через несколько дней ландшафт стал меняться. Появились леса и холмы, сперва вдаль, потом ближе, иногда совсем закрывая горизонт.

ИРКУТСК — БАЙКАЛ

Чтобы доехать до Иркутска, нам понадобилось две недели. Дальше поезд не шел, вагон отцепили и отвели на запасной путь. Нельзя было ждать, что мы вновь поедем раньше, чем через день или два, когда наш вагон прицепят к какому-нибудь другому поезду. Надо было ходить и договариваться, Епишин должен был предъявлять наши разрешения и другие документы местным властям.

Иркутск стоит на берегу Ангары, вытекающей из Байкала. Ангара славится чистотой своей воды, и нам не терпелось убедиться в этом. Знакомых в Иркутске у нас не было — мы решили рискнуть. Вот так Маня, Сережа, Лена, Таня и я отправились со станции, чтобы посмотреть город.

В Омске мы жили в тихом пригороде и видели в основном немощные улицы, маленькие деревянные одноэтажные домики и каменное здание нашей школы. В центр города мы выбирались редко. Иркутск же, хотя он и меньше, запомнился мне своими домами, тротуарами с фонарями на высоких столбах, витринами магазинов; по улицам ездили конные экипажи и даже несколько грузовиков. Но больше всего нас поразила река — поразила так, что мы ее помним по сей день. Она была не такая

широкая, как Иртыш, через нее шел деревянный мост, и мы стояли на нем, глядя на спокойно текущий поток под нами. Сквозь хрустально чистую воду, в свете ослепительного солнечного дня каждый маленький отшлифованный камешек можно было разглядеть на дне, и каждый светился оттуда чудесным светом.

На следующий день теплушку прицепили к грузовому поезду, который вез материалы для ремонта многочисленных туннелей и галерей на железной дороге, огибающей Байкал с юга.

Тяжелый поезд ехал медленно, колеса скрежетали на изгибах дороги. Еще километров 120, и между горами нам открылось величественное озеро. Поезд съехал на скальный уступ, специально вырубленный в горах над водой для железнодорожного полотна. С правой стороны была крутая скала, но мы ее не видели, потому что окон у нас с той стороны не было, зато слева, сквозь широко раздвинутую дверь, прямо перед нами разворачивался невероятный вид. Снежные шапки ярко сверкали на солнце, они замечательно оттеняли зеленоватую воду озера, мирно плескавшуюся о берег внизу. Как нам хотелось выскочить из вагона и побежать к воде! Впрочем, мечта наша скоро осуществилась — поезд остановился перед первым туннелем. Не слушая Маниных окриков, мы спрыгнули на землю и пошли вниз по склону. Вода была ужасно холодная, и мы не поддались искушению поплескаться в ней. Маня, в страхе, что поезд вот-вот тронется, отчаянно звала нас сверху. Мы выбрались наверх, и поезд тут же тронулся.

Груженный камнем, кирпичом, песком и цементом, состав наш двигался медленно, часто останавливался и тормозил с громким скрежетом — мы называли это «вестингаузовал», потому что было известно, что тормоза делает компания Вестингауз. Как-то раз тормоза одного из вагонов загорелись. Поезд встал, пассажиры и поездная бригада лезли с ведрами вниз за водой, чтобы потушить пожар. Поездка вокруг Байкала заняла три дня.

Маньчжурия

Наконец мы прибыли на пограничную станцию, так и называвшуюся — Маньчжурия. Все вещи уже были упакованы, и мы распрощались с нашей теплушкой. Откуда-то появились люди, предложившие довести наши несколько сундуков на телеге, а мы шли следом, нагруженные чемо-



Александр Брюллов
Портрет работы Карла Брюллова



П.А. Брюллов



С.И. Зрудный



Мама
Около 1910 г.



Я в 3 года
Иваново



Е.С. Зарудная-Кавос



В.С. Зарудная



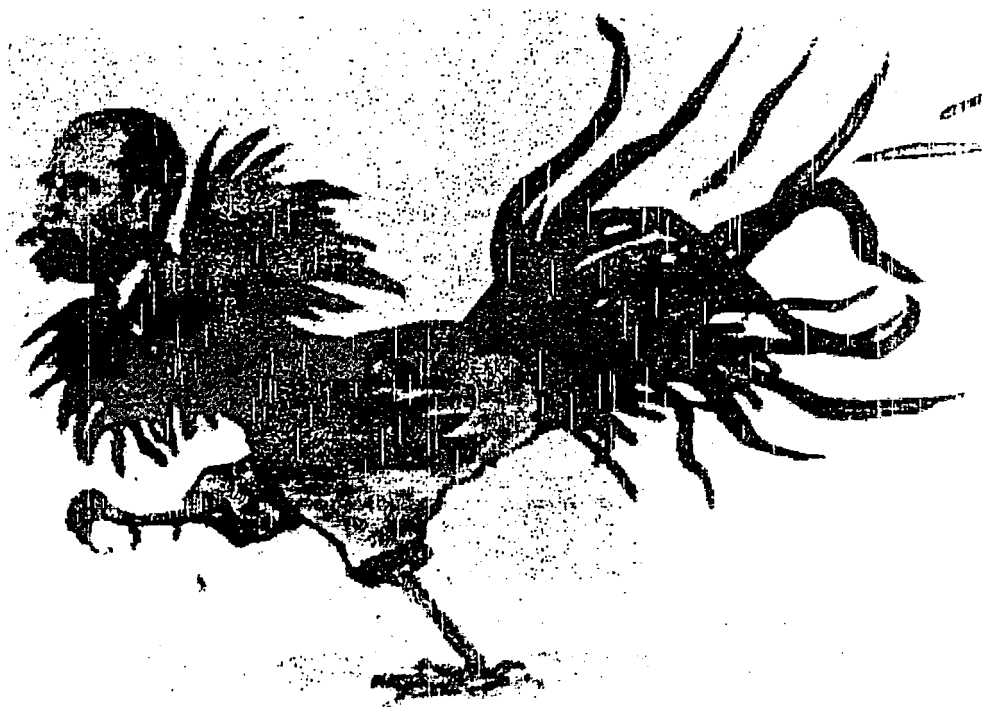
Папа
Около 1912 г.



Маня (М.К. Юркина)
Либава, 1912 г.



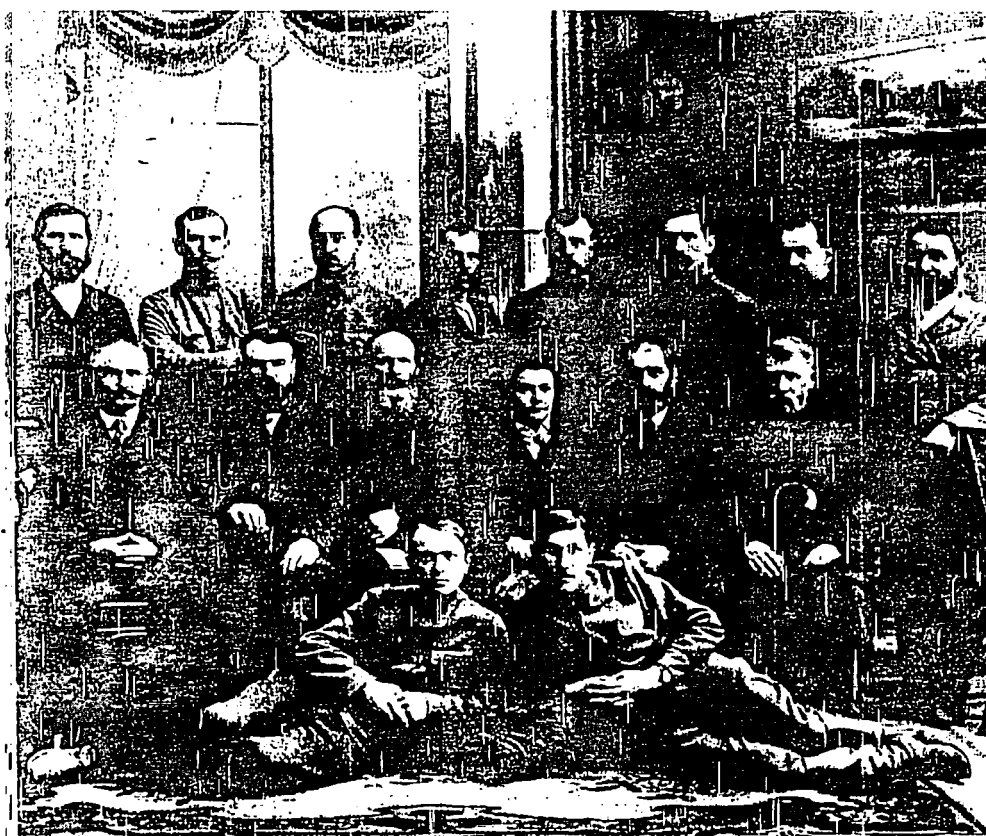
Рабочие на Выксинском заводе



Папа ссорится с М. Буйневичем из-за «Мечты»
Рисунок Е.С. Зарудной-Кавос



Муля, Сергей, Лена, Таня и Зоя. Уфа, лето 1918 г.



Группа освобожденных из тюрьмы
Мама и папа сидят во втором ряду, четвертая и пятый слева. Уфа, 1918 г.

Предъявитель сего гражданин Оренбургской Губернии
инспектор Бальмонтского Завода Иванъ Сергѣевичъ ЗАРУДНЕЦЪ,
подлежавшій подлѣ стражи въ Уфимской Губернской тюрь-
мѣ по распоряженію Уфимскаго Губернскаго Революціоннаго
Комитета Совѣта Рабочихъ, Крестьянскихъ и Солдатскихъ
Депутатовъ отъ 5 Марча 1919 года за № 2631.

По распоряженію Уфимской Судобно-Блѣдственной Комис-
сіи отъ 1 сего Апрѣля за № 1940, изъ подлѣ стражи осво-
божденъ 1-го Апрѣля сего 1919 года. Что подписанъ съ
присоединеніемъ печати удостоверяю -

1919 года Апрѣля 16 дня № 1706.

Начальникъ Уфимской Губернской

ТЮРЬМЫ

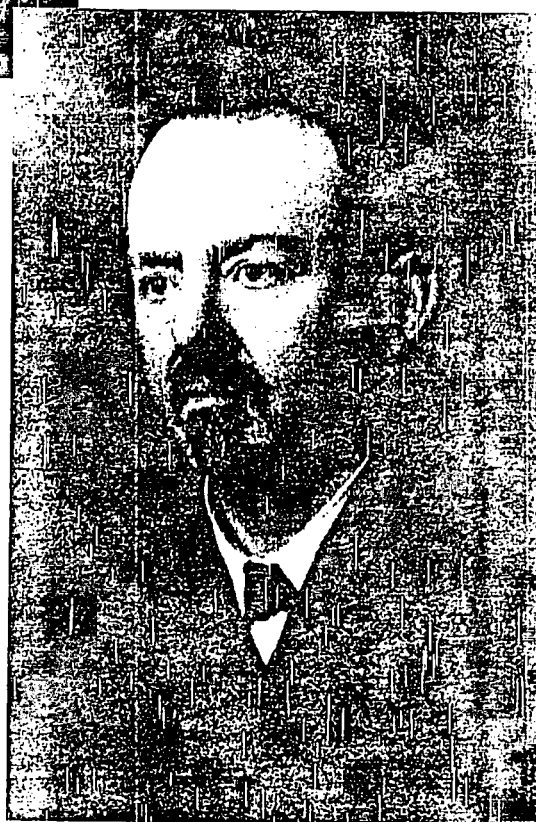
Документ от освобождения папы из тюрьмы



Муля в 12 лет
Акварель Евгения Кавоса



Мама
Тюремная фотография, 1921 г.



В.П. Брюллов

89 а
Васильев

Заведывающему Губернским Отделом
Юстиции

24/5 1768

Назначенная Губернским Отделом
Юстиции 16-я Гос. Школа
1-й ступени Елена Павловна Зарудная,
учительница Зарудная кроме занятий в
нормальной школе, имела еще уроки на кур-
сах № 2 и № 1, подготовительных в выс-
шее учебное заведение на курсах крас-
ных учителей по ликвидации безграмот-
ности в школе взрослых № 4 в общей
сложности не менее 55 часов в неделю.

Арест учительницы Зарудной поставил школы, в которых
она работала, в тяжелое положение, т.к. Зарудная-прекрас-
ная преподавательница и высоко образованный человек-дейст-
вительно незаменимый работник.

Школьный Подотдел и Политпросвет Гусаробраза
просят Вашего ходатайства о скорейшем рассмотрении дела
учительницы Зарудной.-

Завомгуботнаробраз

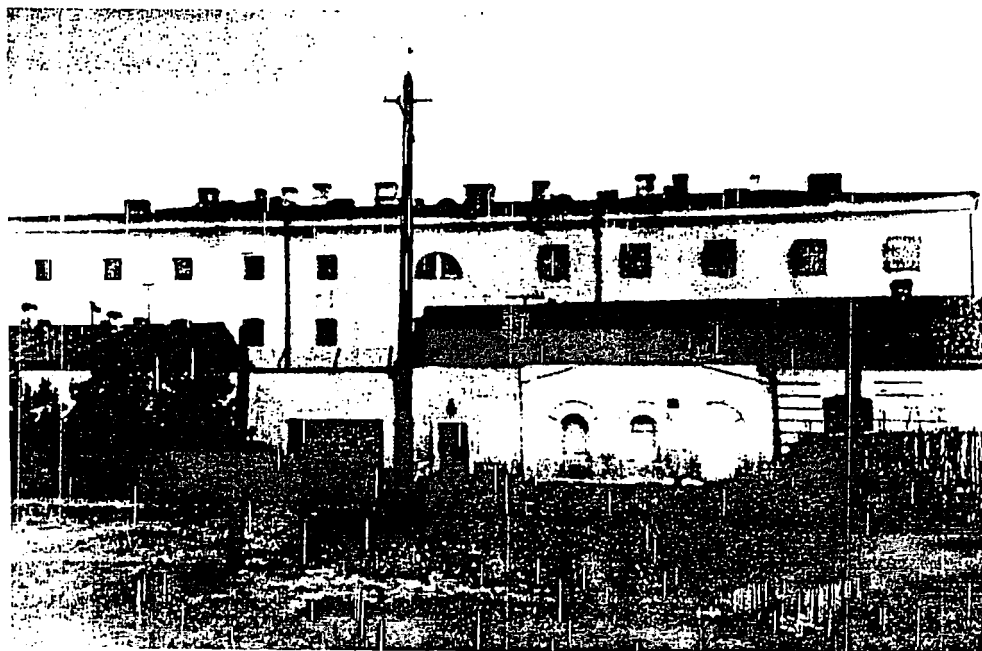
Зав. П"отдединтрудшкол

3/ii
1065

Завполитпросвет

Секретарь

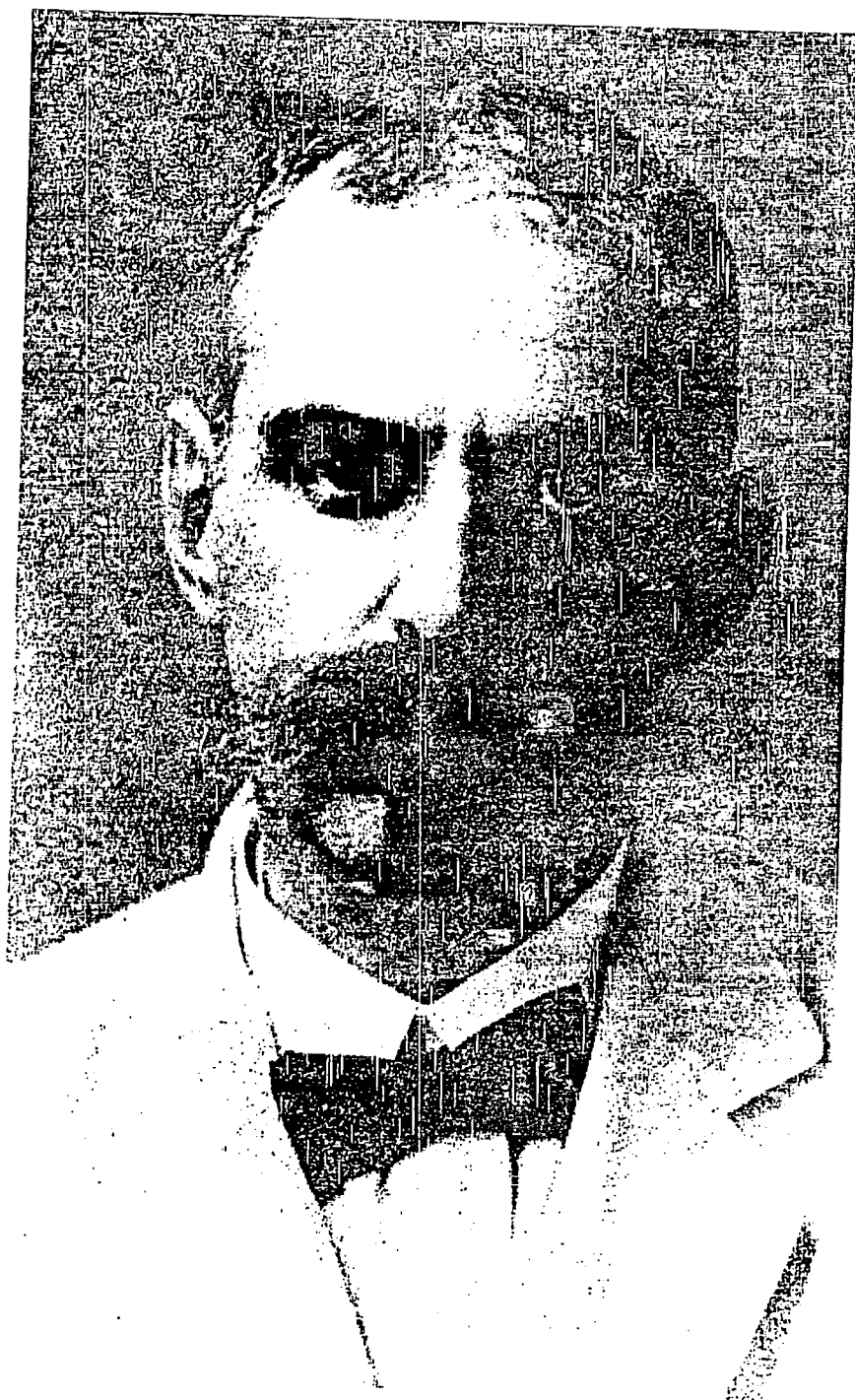
Ходатайство о Е.П. Зарудной



Омская тюрьма. 1921 г.

Христос Воскресе
 Всех крепко христом целую и поздравляю
 С праздником Великого Глобального
 Детского подвига и победы
 Вавружия

Записка мамы из тюрьмы



Папа. Япония, 1920 г.



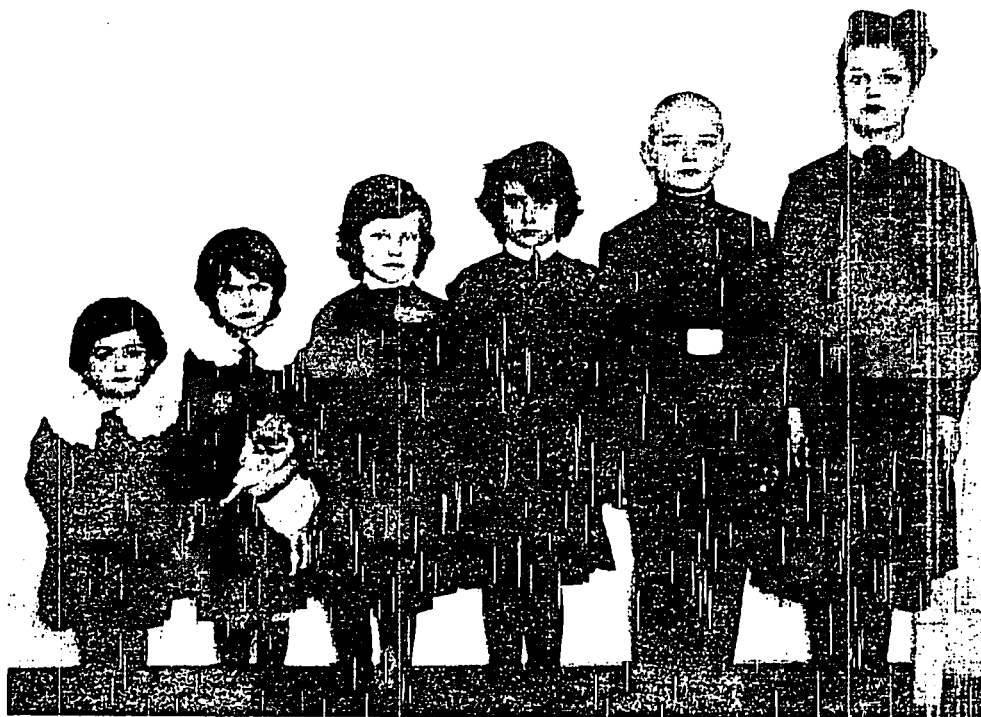
Фотография, сделанная мистером Крейном. *Омск, 1921 г.*

Омск. 16 декабря 1921 года

Здравствуй милый хороший
папочка! Я тебя очень прошу, что-
бы ты прислал мне карандаш,
потому-то у меня нет даже
маленького обрывка а вернее твоих
записочек не получаю. Ерунда буд-
ет если ужасно, дерется и одоет
тут же книги тужал. и однажды
и за этого вышла целая история.
Я писала совершенно одна и по-
этому надела много ошибок.
Если ты увидишь то пожалуйста
спи поправь. Досвидания!

Лена, папина дочка.

Письмо Лены папе



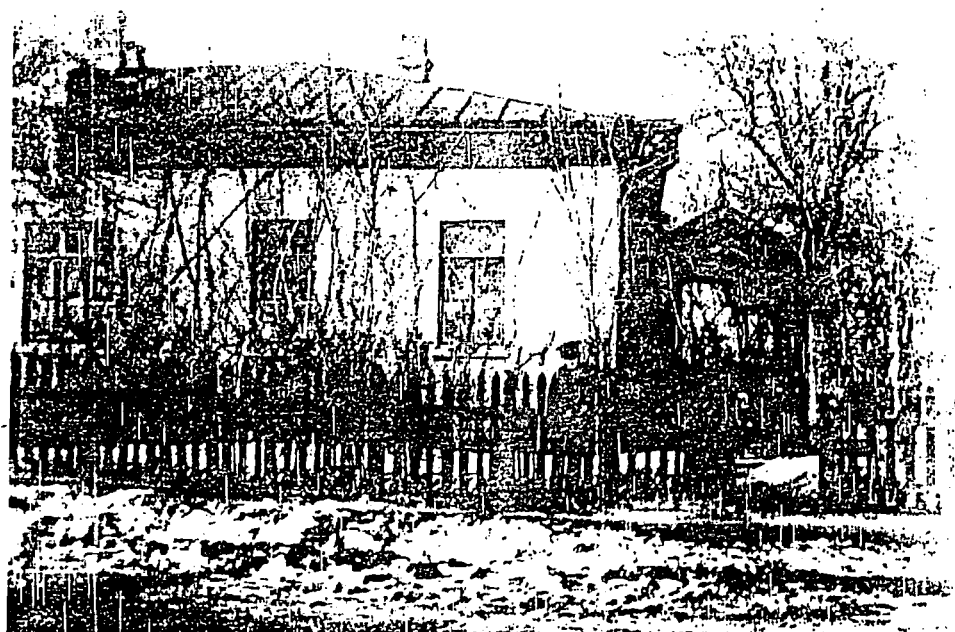
«Лесенка». Четверо старших — в школьной форме



Все шестеро. Папина любимая фотография



Маня
Харбин, 1925 г.



Дом на Главной улице



Пасхальный стол с маминей фоторграфией



А.П. Павлова



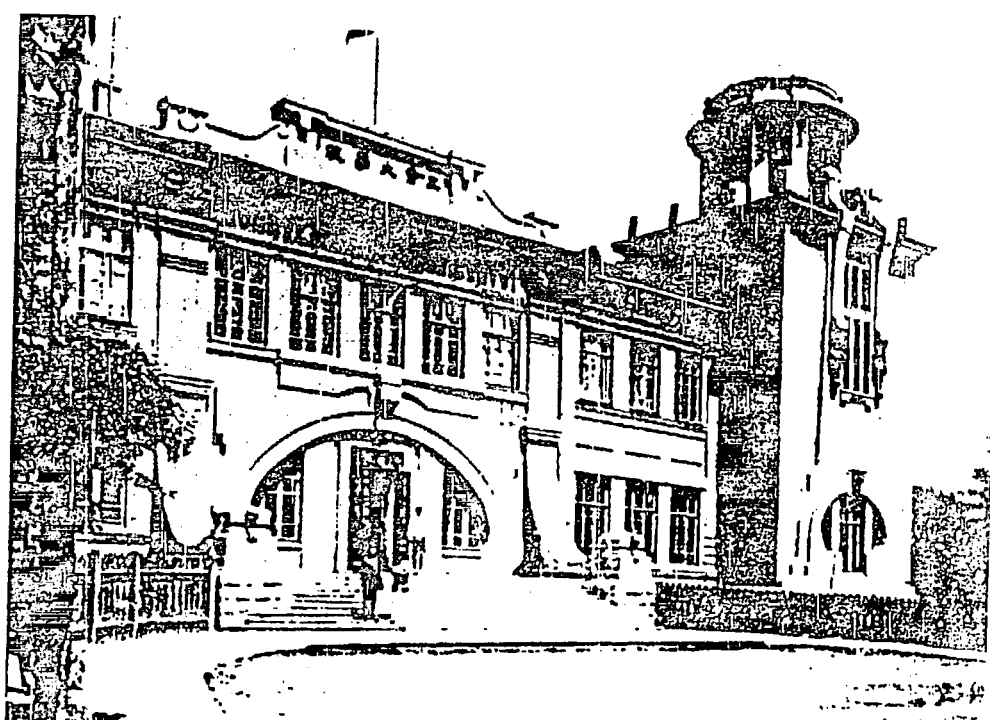
А.С. Зарудный



Я в Харбине в 1925 г.



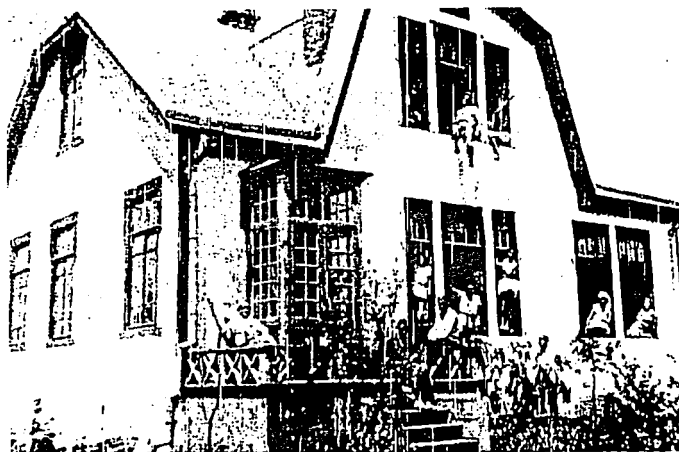
Παπα. Χαρότι, 1924 γ.



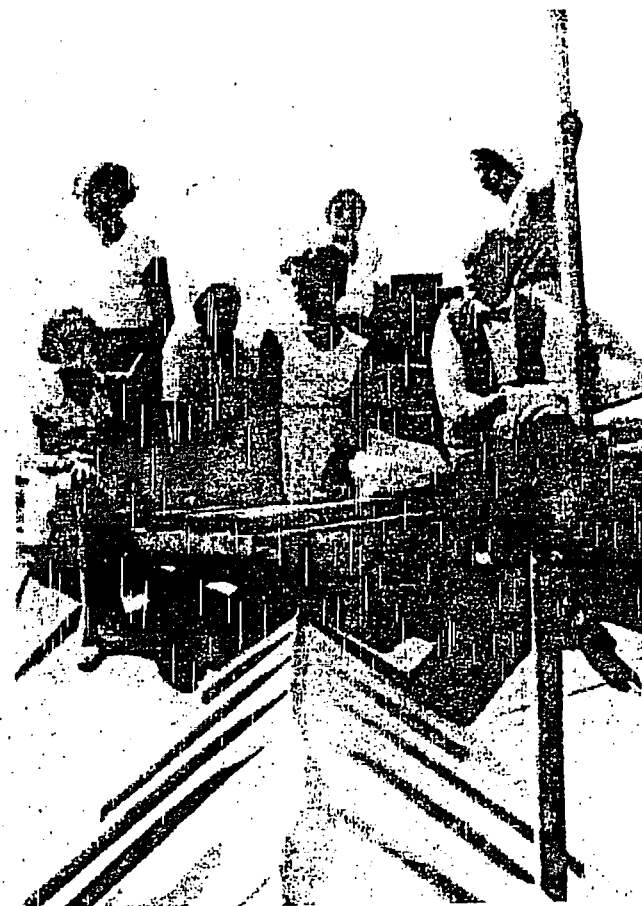
Харбинский политехнический институт



Мистер Крейн. Пекин, 1930 г.



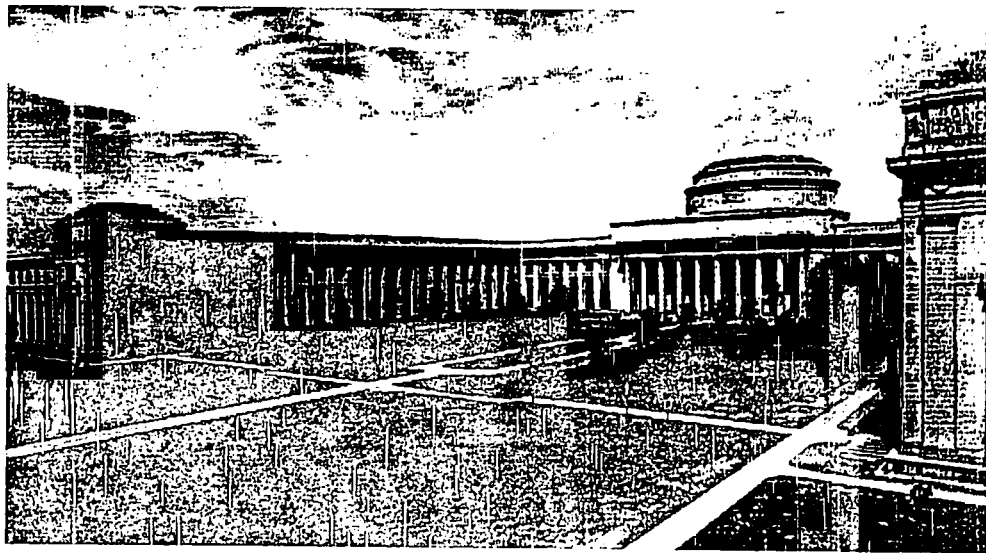
Новый дом в Харбине. 1931 г.



Вся семья на крыше нового дома



На борту парохода «Хикава Мару». 1931 г.

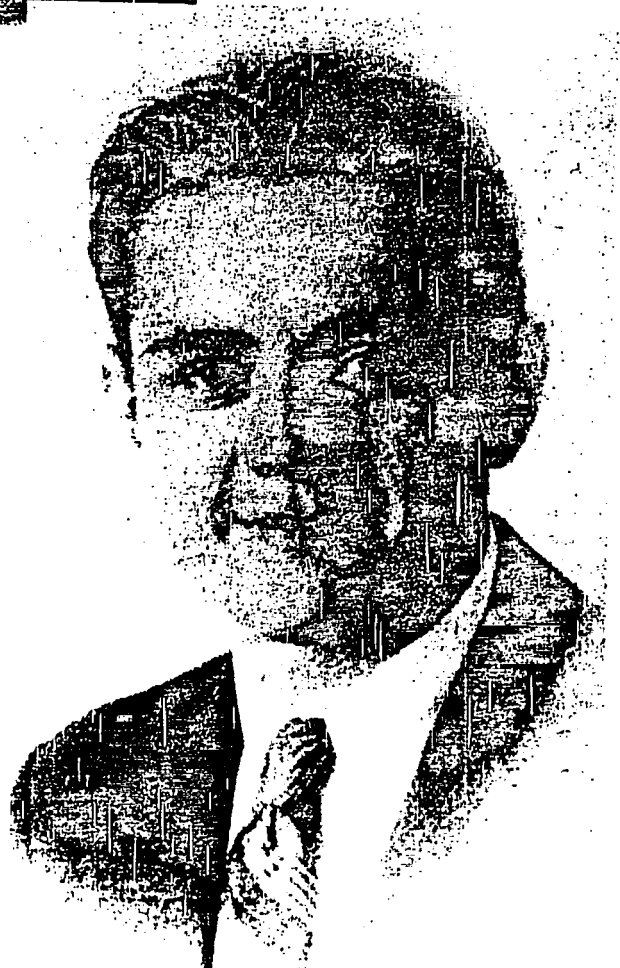


Массачусетский технологический институт

Харолд Фриман. 1932 г.



Сереза. 1932 г.





Пять сестер наконец вместе!



Слева направо: Георгий Вернадский, Марина Карпович, Лена, Таня, Нина Вернадская, Михаил и Татьяна Карповичи



Прокуратура Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

644099, г. Омск, ул. Ленина, 1

23-01-93 № 13

на № _____ от _____

СПРАВКА

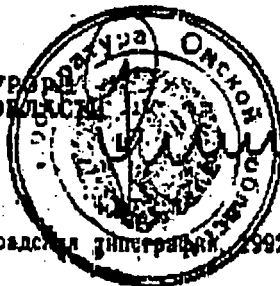
Гр.н (ка) ЗАРУДНАЯ ЕЛЕНА ПАВЛОВНА
по приговору Омского областного суда (Западно-Сибирского краевого
суда, Тарского окружного суда, линейного суда водного транспорта
Н-Иртышского бассейна, линейного, специального суда Омской ж. д.,
военного трибунала войск НКВД Омской области), по постановлению
ГЧК по Сибкраю, тройки УНКВД по Омской области (при ПП ОГПУ по
Запсибкраю, Особого совещания при НКВД СССР) за к/рев.
от 14 марта 1921 г. по судебной деятельности ук
РСФСР был (а) заключен(а) в ИТЛ-на _____ (расстрелян(а)).

В соответствии со ст. 1, 3, 5, 8 Закона РСФСР от 18 октября
1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий», он(а)
считается полностью реабилитированным(ой).

Основание: заключение прокурора области от 23.01.93 1993

До ареста работал (а) учительницей школы №16
преподавала на курсах "красных учителей"
г. Омск

Зам. прокурора
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ



Д.А. Якунин

Павлоградская типография, 1992 г. Заказ № 119, тир. 10000

Справка о военной реабилитации



Справа налево: Муля, Лена, Таня, Зоя, Катя. Август 2000 г.



Мой дом в Бельмонте. Массачусетс, 2001 г.



В работе над этой книгой. Бельмонт, Массачусетс, 2001 г.

данами. Перебравшись через пути, мы дошли до вокзала. Там проверили наши бумаги, Маня купила билеты, и мы пошли по перрону к уже стоявшему там пассажирскому поезду. Мы забрались внутрь и нашли свои места. Диваны в вагоне были мягкими, вещи наши погрузили в багажный вагон. Все это для нас было чем-то новым.

Теперь с нами ехал и Володя Вараксин, сын папиной квартирной хозяйки в Харбине. Родители послали его одного до этой станции, чтобы нас встретить. Володя оказался дружелюбным и разговорчивым. Одет он был в школьную форму, и мне стало стыдно своего неопрятного вида. Мы засыпали Володю вопросами про город, школу и папу. «Ой, да он совсем с ума сошел, — сказал Володя. — Что он со своей комнатой сделал! У него там птицы летают!» Я ужаснулась: папа сошел с ума? Зачем же мы к нему едем? Может быть, он от горя, что умерла мама, потерял рассудок? Мне вспомнились его вспышки ярости, когда что-нибудь его сердило, и вспомнились рассказы Чарской, где люди теряли разум или заболевали «воспалением мозга»... Я никак не могла заснуть, хотя спать в этом пассажирском поезде было гораздо лучше, чем в теплушке.

На следующий день Володя болтал без умолку, рассказывая о своей жизни в Харбине, а я ни о чем не могла думать, кроме одного: каким ждет нас отец в конце всего нашего пути? Была уже середина июня 1922 года, с нашего отъезда из Омска прошло уже почти три недели.

Наконец Володя сказал: «Подъезжаем». Поезд замедлил ход. Чемоданы были уже собраны, мы прилипли к окнам. Показались перрон и толпа людей, стоящих на нем. Мы искали глазами папу — вот он! Я узнала его сразу же — сутуловатую фигуру в темном пальто, знакомую трость в руке... Бородка и усы остались, но щеки он теперь брил. Ничего дикого в его взгляде не было. Он высматривал нас и мгновенно узнал наши лица в окнах. Когда поезд наконец остановился и все вылезли по лесенке наружу, я все еще была насторожена и следила за папой подозрительно и с опаской, хотя обняла и поцеловала его. Ни с кем другим я своей тревогой не поделилась, а все остальные ликовали. Маня и няня плакали. Папа поднял Лену и обнял ее особенно тепло, слезы катились у него по лицу. «Леночка!» — шептал он ее имя — имя своей жены.

С папой пришли несколько друзей, они помогли Мане выгрузить багаж. Нас всех посадили в две пролетки, младшие дети сели на колени к старшим, чемоданы привязали сзади, и мы отправились в наш новый дом.

Ехали мы с час — сначала по городу, потом немного по деревенской дороге. Наконец пролетки остановились у маленького одноэтажного домика, который стоял посреди двора, заросшего травой. Дети, не желая больше ждать, высыпали из пролеток и побежали осматриваться, пока папа с Маней и няней выгружали багаж. Потом папа ввел нас в дом. Он был обставлен скудно, только самой необходимой примитивной мебелью: раскладные кровати, один или два комода и несколько стульев; в столовой — длинный стол, узкие лавки и два стула. Мане много времени не понадобилось, чтобы распаковать наш самовар, и мы сели пить чай за столом, накрытым клеенкой. Папа и няня сидели на концах стола на двух единственных стульях, а остальные разместились на лавках. Каждому нашлось что рассказать. Перебивая друг друга, мы выкладывали все, что с нами случилось за дорогу, а папа только просил, чтобы мы говорили по очереди. Мане и няне так и не удавалось вставить ни слова, пока мы наконец не наелись и не пошли на улицу осматривать окрестности, конюшню, лошадей. Скоро согрелась вода для мытья, и все вымылись в ванне. Маленьких купали по двое. Долго укладывали детей на приготовленные постели, и так чудесно было чувствовать себя чистой и спать на своей кровати на чистых простынях. Как замечательно окончился этот особенный день! Папа подошел к каждому из нас, чтобы перекрестить и поцеловать в лоб на ночь. Он соблюдал этот обычай много лет.

Засыпая, я слышала, как взрослые все еще разговаривали в другой комнате. Постепенно их голоса слились в неясный ритмичный говор, как я помнила еще с Выксы, где взрослые подолгу засиживались вечером за разговорами. Я представила себе, что все эти годы были просто страшным сном, что мама каким-то чудом спаслась и найдет нас здесь, и мы опять станем жить без страхов и печалей, как раньше.



ГЛАВА 16

ХАРБИН

Папа начал готовиться к нашему приезду за несколько недель. В конце весны 1922 года он написал своему другу: «Я начал так: арендовал большой огороженный участок, где есть небольшой домик (три комнаты и кухня) и несколько деревьев, посаженных этой весной. Кроме того, есть конюшня, в ней две лошади и при них живет конюх (русский офицер). Это в четырех километрах от Старого Харбина и в 100 метрах от дороги в деревню. Место довольно отдаленное и имеет все преимущества и недостатки отдельного жилья в краю хунхузов, но мне оно обходится в 40 долларов в месяц и пока могу им довольствоваться и справляться».

В предшествовавшие месяцы папа отсылал нам все деньги, что у него были, и теперь он надеялся, что Маня сумела хотя бы что-то привезти в Харбин. Но курс рубля достигал уже 1 800 000 к одному доллару, и непонятно было, как можно привезти советские деньги.

Маленький домик подходил для того, чтобы заново учиться жить вместе. Папины друзья помогли ему обставить комнаты и приготовить для нас одежду. Вера Лачинова (дочь тогдашнего директора КВЖД) вспоминала потом, как ее мать повторяла: «Ты только подумай — шесть пар носков, шесть пар белья, шесть рубашек — и это только чтобы каждому по одной смене!» Камилла Альбертовна Хорват отдала часть лишней мебели. Папа не хотел брать ничего ценного и настаивал, что он за все заплатит.

Прошло несколько дней, и я понемножку начала успокаиваться. Стало понятно, что нет причин тревожиться по поводу папиного душевного здоровья. Папа был с нами терпелив, ласков, весь открыт. У меня уже не было обязанности воспитывать младших, хотя я все еще по привычке командовала ими. Маня и няня тоже почувствовали, что груз ответственности частично снят с них. Они привыкали к новой кухне, новому рынку, ко всем мелочам домашнего хозяйства, но теперь уже не было сомнения, что папа — главный и у него можно все спросить. Работы у папы не

было, и он проводил с нами много времени. Сережа обрел нового, поразительно терпеливого слушателя, да и все другие могли позвать папу помочь разрешить споры или послушать наши рассказы. Папе все время хотелось, чтобы мы были рядом. Ему нравилось, когда он сидел во дворе на складном кресле и читал, а маленькие играли у него под боком. По папиному распоряжению во двор сразу завезли песок, и он восхищался вместе с нами каждым новым построенным замком.

Но меня все-таки беспокоило то, что нам по дороге рассказывал Володя Вараксин, и как-то раз я у папы спросила: «А что это такое рассказывают про птиц у тебя в комнате, где ты раньше жил?» — «Ах, это, — сказал папа. — У меня была длинная и узкая комната, я ее перегородил пополам и в одну половину запустил разных птиц, по большей части тропических. Мне так одиноко было без близких голосов в доме, он казался таким скучным и пустым!» Так вот, значит, о чем говорил глупый мальчишка, да еще считал папу сумасшедшим! К тому времени я уже познакомилась со всем их семейством и поняла, как у них должно было быть скучно. Теперь я успокоилась, больше того, вся эта история помогла мне узнать папу еще лучше.

Иногда нас навещали папины друзья, а когда госпожа Хорват приехала в Харбин, чтобы закрыть свой дом и отправить имущество в Пекин, мы пошли к ней в гости. У Хорватов был великолепный дом, полный тяжелой и неудобной резной китайской мебели и больших мраморных китайских статуй. К этому времени они там уже несколько лет не жили, и их личных вещей там не было. Красивая и обаятельная Камилла Альбертовна встретила нас очень тепло, но я сильно смущалась посреди непривычной роскоши, и мы все время старались показать свои хорошие манеры.

Еще стояло лето, но уже пора было решать вопрос о школе. Лучшим учебным заведением считалось Коммерческое училище при КВЖД. Были и другие школы, все они придерживались программы прежних русских средних школ. Как и до революции, в гимназиях отдавалось предпочтение древним языкам — греческому и латыни, а в реальных училищах — математике и физике. В Коммерческом училище преподавали еще такие практические предметы, как коммерческая арифметика, бухгалтерия, экономическая география и политическая экономия. Все школы выдавали единое свидетельство о среднем образовании. В школу поступали в семь лет и учились три года в начальной, а затем восемь лет в средней. Бес-

платных школ не было. В Коммерческом училище оплата была разной, в зависимости от жалования родителей. Детям служащих железной дороги полагалась скидка.

Папа хотел, чтобы мы получили русское образование: он все еще надеялся, что со временем мы сможем вернуться в Россию, и совсем не хотел, чтобы мы попали в атмосферу полного отрицания социалистических идей, типичную для эмигрантов. Да и себя он считал уже достаточно старым и не очень здоровым, и надо было позаботиться, чтобы дети получили практическое образование, которое позволило бы им зарабатывать деньги, что не исключало, конечно, помощи младшим со стороны старших. Итак, папа выбрал для нас Коммерческое училище.

В училище требовалось сдать экзамены. Список предметов был внушительным: четырнадцать экзаменов мне, одиннадцать Сереже и пять Лене. По большинству предметов надо было сдавать и устный и письменный экзамен, даже по математике. Мы засели за работу и все лето сидели и готовились. Английский язык в училище был обязателен, поэтому мы с Сережей готовили еще и английский.

Из событий этого лета мне хорошо запомнился страшный град. Мы всегда любили, когда выпадал град и маленькие кусочки льда прыгали по земле. Но этот был страшен — сверху падали градины, некоторые размером с голубиное яйцо. Мы побежали прятаться в дом, а там прижались к простенкам между окнами и смотрели, как со звоном летят мимо нас на пол куски разбитых стекол. Разбиты были почти все окна. Град длился недолго, но убирать после него и затягивать окна тем, что нашлось под рукой, пришлось потом несколько часов.

КОММЕРЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ

Наступил день в конце августа, когда мы — Лена, Сережа и я — поехали сдавать экзамены. Пешком до школы было слишком далеко, нас вез на коляске русский офицер, который жил у нас при конюшне. В массивном кирпичном здании школы, состоящем из двух корпусов с застекленным переходом между ними, нас встретила госпожа Вараксина, которая там преподавала. Она познакомила нас с директрисой женской школы — чопорной дамой невысокого роста, одетой в темно-синее платье с маленьким белым воротничком. Волосы у нее были уложены в ак-

куратный пучок на макушке. Директриса учтиво поздоровалась с нами за руку и сказала, что надеется, что мы выдержим экзамены и будем хорошими и послушными учениками. Затем она нас отпустила, и Вараксина повела каждого в свой класс. Сережа отправился в мужскую школу по застекленному переходу. Мы немножко робели: после очень свободной атмосферы наших «групп» в Омске мы вдруг попали в дореволюционную русскую школу, в какой никогда не бывали. С нами вместе должны были сдавать те, кому на осень назначили переэкзаменовку. Старые ученики одеты были в школьную форму — у девочек коричневые платья с черными фартуками, а у мальчиков длинные черные брюки, черные рубашки с пуговицами с гербами и форменные фуражки, которые в здании полагось снимать. Новенькие выделялись тем, что были без формы.

Экзамены мы все выдержали, не блестяще, но и не плохо. Зачислили меня в четвертый класс, Сережу во второй, Лену в третий приготовительный, а Таню в первый приготовительный, отчего я сильно расстроилась — ведь Таня уже умела читать и писать. Получалось, что мои педагогические усилия пропали даром. Теперь нам полагалось ходить в форме везде, где мы появлялись на людях. Девочки в торжественных случаях надевали белые фартуки. Исключение делалось только для тех, кто носил траур, — тогда носили черный фартук постоянно.

Денег у нас было мало, и сшить нам форму оказалось для Мани трудной задачей. Хорошо помню, как мы выбирали самую дешевую коричневую фланель на три форменных платья. На юбки в складку ушло бы больше материи, пришлось остановиться на юбках в сборку. Пришла портниха, которая на своей ручной зингеровской машинке с Маниной, няниной и моей помощью за неделю сшила всем нам форму и осенние платья для младших сестреноч. Шить надо было все, вплоть до белья, готовым ничто не продавалось, поэтому портниха приходила каждый год, весной и осенью, и так повторялось до самого нашего отъезда из Харбина.

Наконец 1 сентября начались занятия. Одетые в новенькую форму, с сумками, полными учебников, тетрадок, карандашей и ручек, мы все четверо отправились в школу на коляске.

Теперь здание было полно школьников. Сергей пошел к мальчикам, мы с Леной легко нашли свои классы, а Таню, которая немножко боялась, я проводила в ее класс. Так удивительно казалось видеть столько школьников: все одетые в одинаковые платья, они здоровались с подругами, а у меня знакомых не было. Помню, какой дешевой выглядела моя

форма по сравнению с элегантными шерстяными платьями других девочек — в Коммерческое училище в основном поступали дети служащих, живших здесь уже подолгу и достаточно зажиточных; мы же были беженцами. Я уверила себя, что для меня это неважно: я завоюю себе место в классе усердными занятиями и способностями; таких ошибок, какие я сделала в моей первой школе в Омске, я больше допускать не буду.

Перед началом уроков нас построили в пары по росту около классов в коридоре, и все направились в церковь на второй этаж в здании школы для девочек. Мальчики уже ждали в коридоре, пропуская нас вперед, чтобы идти вслед за нами.

Церковь представляла собой большой зал, по одной стене шел ряд высоких окон, а в торце на небольшом возвышении размещался алтарь с иконостасом. От других церквей эта отличалась тем, что была очень светлой и, кроме того, прямоугольной, что делало ее похожей на обычную классную комнату. Я все смотрела на одну икону, где Богородица с младенцем на руках была написана гораздо реалистичнее и современнее, чем на большинстве других. Позднее я узнала, что это копия иконы, написанной В.М. Васнецовым.

Девочки стояли рядами с одной стороны, мальчики точно так же выстроились напротив. Школьный священник (он же преподаватель Закона Божия в школе) отслужил молебен, это длилось минут пятнадцать. К моему удивлению, некоторые хорошо известные молитвы мы должны были петь сами. Более того, священник велел нам петь в полный голос, а мне — ведь я не пела с самой Выксы, после тех злосчастных слов нашего хорового дирижера, сказанных моей гувернантке, — казалось, что он обращается прямо ко мне и велит петь. Я старательно открывала рот, беззвучно проговаривая все слова, и сразу расстроилась: я же так хотела все-все делать как надо в новой школе, и вот с самого начала у меня ничего не получилось. Надо было как-то получить официальное разрешение не петь.

С трудом дождавшись первой же перемены, я отправилась к директрисе. «Что случилось?» — удивилась она, увидев меня в своем кабинете. Чуть не плача, я призналась, что не могу петь. Директриса меня утешила, сказала, что надо постараться, но вообще-то это не важно. Я ушла успокоенная, но все равно удрученная: пришла признаваться в том, что мне казалось важным, а директриса, похоже, сочла мой приход неуместным.

Петь не могла и впоследствии — это осталось моим больным местом в течение многих лет, я чувствовала себя чем-то вроде калек.

В классах стояли парты, за каждой из них — две ученицы. Уроки длились 45 минут, всегда в одной и той же комнате, кроме лабораторных занятий. Разные предметы вели разные учителя, приходившие к нам в класс. У каждого класса была классная дама, она отмечала наше присутствие в специальном журнале, выставляла отметки за поведение, проводила в лаборатории и поддерживала порядок.

По всей длине обоих зданий и на верхнем, и на нижнем этажах шли широкие и светлые коридоры. Физическая и биологическая лаборатории находились в женском отделении школы, а гимнастический зал, кабинет географии и большой зал со сценой для театральных представлений — в мужском. Поэтому и девочки и мальчики все время должны были шагать по коридорам «чужой» школы, выстроившись в шеренгу парами по росту.

Во время десятиминутных перемен классы проветривались, а мы должны были гулять по коридору, опять же рядами, но на этот раз нас не ставили по росту, а можно было выбрать, с кем гулять. Помню эти чинные прогулки вдоль всего коридора, в торце которого обычно стоял и директор господин Борзов, и директриса. Директор был низенький, осанистый, всегда прямой, словно аршин проглотил. Лицо его, с большими седыми усами, лучилось благосклонной улыбкой. Подходя к нему, мы делали реверанс всем рядом сразу, хорошо при этом зная, что благосклонная улыбка может мгновенно смениться угрожающим взглядом, если директор заметит непорядок. Чтобы не делать реверанса, девочки часто поворачивали всем рядком, не доходя до края коридора, так что один конец оставался пустым, а в другом образовывалась толпа.

Две перемены были большими, по полчаса: одна, когда мы шли завтракать в школьную столовую, а другая для прогулки на улице. Школьное расписание было жестким, все предметы обязательны, выбирать ничего не полагалось. Каждый день пять уроков, по субботам четыре. Кружки, такие как театральный, физический, биологический, географический (я в разные годы ходила в разные из них), собирались по субботам после уроков или по воскресеньям в лабораторных комнатах или в большом зале. Отстающим назначалась переэкзаменовка на осень, или их оставляли на второй год. В каждом классе у нас бывало несколько второгодниц. Многие родители нанимали репетиторов. Для молодых людей, закончивших школу, репетиторство было неплохим заработком.

В нашем тесном и бедно обставленном домике Маня все так же поддерживала чистоту и порядок: определенное время для завтрака, обеда и

ужина, час, когда мы ложились спать. Всю работу по дому делали Маня и няня, мы должны были только стелить постели и держать свои книги и одежду в порядке. Мы всегда чувствовали, что и папа и Маня хотят, чтобы мы следовали маминым социалистическим принципам. Все делилось по справедливости — и внимание, и вещи. Книгами и игрушками, которых у нас было очень мало, тоже полагалось делиться — это часто приводило к спорам и перебранкам, тогда вмешивались взрослые и решали дело. Распределение обязанностей происходило по парам: мы с Сережей; Лена и Таня; Зоя и Катя.

Хотя мы и составляли «пару» с Сережей, но вечно ссорились. Считалось, что Сережа имел свои обязанности, потому что он мальчик, а я свои — потому что я старшая и девочка. Сережа был сильнее меня в аргументации и споры всегда выигрывал. Тогда споры перерастали в ссоры. Остальные были «маленькими», и для меня их всегда было слишком много.

В гостях у папиных друзей

Теперь, вспоминая то время, я могу представить себе, как разительно изменилась папина жизнь с приездом детей. Раньше наше воспитание было в основном маминым делом. У папы хватало времени на встречи со знакомыми, на интеллектуальное общение, а рядом была мама, с которой он мог делиться своими мыслями. Пока мы не приехали к нему в Харбин, он жил холостяком — ходил в гости, иногда приглашал знакомых к себе. Теперь он оказался в доме, полном детей. Папа относился к этому легко и естественно: сидя во главе стола во время обеда или ужина, он забавлялся, словно на пикнике, принимая как должное отсутствие сервировки и хороших манер у детей. Мы были буйными, порой драчливыми, кричали, перебивали друг друга... Папа называл наши обеды «кормлением зверей». Он не отдавал себе отчета, что для всех детей, кроме меня, ну, может быть, еще Сережи, такая обстановка была единственной, какую они знали.

Иногда папа уходил к своим друзьям. Однажды и меня пригласили вместе с ним на обед к Лачиновым. Я надела свое лучшее платье (только не то хорошенькое, которое мне досталось после Веры, дочери Лачиновых). У Лачиновых был большой сад, а в доме красивая мебель, ковры,

картины на стенах — мне все это напомнило Выксу. Вера была красивой девочкой, выше меня, с двумя роскошными русыми косами; когда она садилась, кончики кос лежали на стуле. Очень свободная и приветливая, она повела меня к себе в комнату, старалась развеять мою неловкость, но от вида ее красивой, ухоженной комнаты я стеснялась еще больше. Вера в школу не ходила — к ней на дом приходили учителя по всем предметам, включая три иностранных языка. Раз в год она сдавала экзамены у нас в школе и получала свидетельство о переходе в следующий класс. У нее было два брата — один старше ее, один младше.

Гостей позвали в столовую, где стоял великолепно накрытый стол. Кроме нас в гостях было еще несколько человек. Опять все напомнило мне такую далекую теперь Выксу. Я села рядом с Верой, чувствуя себя очень неуверенно. Самое худшее началось, когда горничная обносила гостей и предложила мне блюдо, с которого надо было положить еду к себе в тарелку. На Выксе я была еще слишком мала, за меня это делали взрослые, теперь мне самой предстояло быть взрослой. Наблюдая за остальными, я справилась. Но теперь на тарелке лежала половинка маленького цыпленка — как ее полагается есть? Ножом и вилкой? Я не знала. Мне обычно приходилось брать курицу руками, но тут никто так не делал. Я посидела какое-то время в замешательстве, но папа, сидевший напротив, заметил мою растерянность и сказал, чтобы я смотрела, как он делает. Я с трудом сумела съесть немного еды и осталась расстроена, что не доела, — мое представление о хороших манерах требовало, чтобы на тарелке ничего не оставалось.

Весь обед я наблюдала за отцом. Он был частью этого мира, так грациозно и живо держался, легко отвечал на реплики по-английски, по-французски и по-немецки, часто острил. Вера тоже принимала участие в разговоре. Папа был в этой обстановке как дома, а я решительно не знала, как себя держать.

После десерта детей отпустили гулять. Мы подошли к хозяйке, Вериней матери, поблагодарили ее, сделав книксен, и побежали в сад. Воспоминание об этом обеде надолго было у меня связано с чувством неловкости, и я всегда это ощущала, встречаясь с Верой, хотя в конце концов мы с ней подружились. Лачиновы оставались самыми близкими папиными друзьями до конца его жизни.

Папа мое смущение понял. Начиная с этого дня он стал следить за нашими манерами за столом, поэтому младшим сестрам никогда не до-

велось почувствовать себя униженными, как мне в этот день. И я поняла: светский мир близок папе, но, попадая в другое окружение, он держится на уровне своих собеседников. Он знал, как разговаривать с рабочими не свысока. Мне он говорил позднее: «Настоящий аристократ не нуждается в том, чтобы выглядеть особенным. Суть хорошего воспитания в том, чтобы не дать другим почувствовать себя неловко».

Город Харбин

Поздней осенью того же года мы переехали в новый дом на Большом проспекте — большой кирпичный дом на несколько квартир, который только что отстроили Лачиновы и куда они сами незадолго до того переехали. В нашей новой квартире были электричество, горячая вода, центральное отопление; несколько комнат, так что у старших детей хватало места для занятий. Я была счастлива иметь теперь собственный письменный стол, хотя своей комнаты не имела — мы делили ее с Леной. От дома Лачиновых до школы было недалеко, мы стали ходить пешком и постепенно освоились с городом.

Новый город — та часть Харбина, где располагались дом Лачиновых и наша школа, — был выстроен вблизи вокзала, по заранее разработанному плану: с широкими улицами, тротуарами, со множеством административных зданий и жилых домов для служащих железной дороги. Через некоторое время мы познакомились и с другой частью Харбина, под названием Пристань, тянувшейся вдоль реки. Пристань носила совершенно особый, интернациональный характер, там находились представительства иностранных компаний, русские и китайские магазины, яхт-клуб, и жили там в основном люди, не связанные с железной дорогой. В этом районе на улицах гораздо чаще встречались китайцы и слышалась китайская речь.

Через весь Новый город шел Большой проспект — широкая прямая улица, хорошо вымощенная, обсаженная по краям деревьями. Вдоль тротуаров тут и там стояли скамейки. Все это делало проспект привлекательным местом для прогулок. Одним концом проспект доходил до церкви и кладбища. Новый дом, в который мы переехали, был с этой стороны, минут в 15 ходьбы от училища. На полпути от дома до Коммерческого училища проспект пересекал большую площадь с замечатель-

ным деревянным собором в центре, выстроенным русскими и китайскими мастерами без единого гвоздя. Собор окружали чугунная узорная ограда и широкий тротуар, по которому во время праздников свободно мог пройти крестный ход.

Перпендикулярно Большому проспекту от площади к вокзалу шла Вокзальная улица. На пересечении этих двух улиц стоял большой универсальный магазин Чурина, где можно было купить практически все, а вокруг множество других магазинов поменьше, ресторанов, жилых домов и контор. Два симметрично стоящих здания нашего училища и здание Железнодорожного клуба завершали проспект. В клубе был большой театральный зал с балконом и хорошо оборудованной сценой. В течение тех лет, что я прожила в Харбине, каждую зиму местная оперная группа давала по несколько спектаклей в неделю, часто с приезжими солистами. Летом же оперный оркестр устраивал симфонические концерты на открытой эстраде в парке при клубе.

Никакого другого языка, кроме русского, мы не слышали: немногие китайцы, которых мы знали или встречали на улицах, говорили по-русски, а китайские рабочие говорили на ломаном русском. Единственный известный нам русский человек, говоривший по-китайски, был наш учитель востоковедения.

Существовал еще и чисто китайский город — Фудзядян, стоявший совсем отдельно и населенный только китайцами. Там говорили исключительно по-китайски. Мы туда ходили редко, и я его плохо помню.

Поля за пределами города и Зоны, если не считать некоторых мест вокруг разных станций железной дороги, для нас являлись запретной областью: там жили китайские бандиты — хунхузы. Они нападали на путешественников, терроризировали китайские деревни и порой похищали русских, требуя за них большой выкуп. С пленниками они обращались безжалостно. Впрочем, Харбин в то время был хорошо защищен. Его охраняли китайские военные, которые жестоко расправлялись с хунхузами, когда те попадали к ним в руки.

В городе имелось несколько такси. Водители курсировали по одному и тому же маршруту, сажая в машину нескольких пассажиров и беря определенную плату. Было много извозчиков — русских и китайских. Самый простой наемный экипаж назывался «драндулет»: китайская двухколесная тележка, на которой могли усесться два пассажира за спиной у

кучера. Тащила тележку обычно маленькая маньчжурская лошадка, а кучер был, как правило, китаец.

Учеников разных школ можно было легко различить по цвету формы — коричневой, темно-синей или темно-зеленой. У мальчиков на фуражках был рант, тоже разного цвета.

С наплывом беженцев стали открываться новые предприятия и учебные заведения. Иные оказались недолговечными, а некоторые просуществовали много лет. Политехнический университет пополнился новыми профессорами. Вообще в 1922 году, когда мы прибыли в Харбин, в городе бурлила лихорадочная деятельность.

Хотя дом Лачиновых был только построен, нам пришлось свести знакомство с тайными жильцами города — клопами. Оказалось, что обычно строители жили в тех домах, которые строили, — так им не надо было ни ездить, ни платить за квартиру, и работать они могли дольше. Спали они на своих тюфяках, а в них гнездились клопы. Поэтому стены не обклеивали обоями, а красили, а сверху для красоты наносили узор при помощи трафарета. Также было лучше не спать на деревянных кроватях, потому что они не разбирались до конца, когда время от времени морили клопов. Даже если кому-то удавалось избавиться от клопов в одной квартире, очень скоро соседские клопы узнавали о том, что место свободно. Мне самой случилось наблюдать цепочку аккуратных коричневых, похожих на пуговки насекомых, неуклонно ползущих из другой квартиры под нашу дверь.

Зима 1922—1923 годов

Приближалась зима, наступали холода, и опять встала проблема одежды. Климат Маньчжурии, тоже резко континентальный, несколько отличался от сибирского: мы теперь находились градусов на десять южнее Омска. Летом было теплее, как днем, так и ночью, дни были длиннее, чем в Омске. Осенью шли долгие дожди, зимой дули непрекращающиеся холодные ветры, температура доходила до —40 градусов, а снега выпадало гораздо меньше. Белый снег часто покрывался тонким слоем красноватой пыли из пустыни Гоби, переносимой ветрами на тысячи километров. Пыль проникала даже в заклеенные на зиму окна, и на подоконниках оставался ее тонкий налет.

Вся наша зимняя одежда осталась в Омске вместе с остальным имуществом. Навалихины несколько раз пытались отправить что-нибудь из оставшегося, но мы ничего не получали, и теперь папе предстояло одеть на зиму восемь человек. Единственной теплой вещью в семье была большая темно-синяя накидка, подбитая беличьим мехом. Раньше мама надевала ее, когда куда-нибудь ехала зимой на открытых санях, а потом мы укрывались ею как одеялом в большие холода. Накидка была слишком ценной, чтобы ее разрезать, да и нечестно было бы, если бы такое сокровище досталось кому-то одному, а как одеялом мы могли ею пользоваться все по очереди. В ту зиму и в последующие нам пришлось довольствоваться самыми дешевыми пальтишками, какие Маня сумела найти в захудалой китайской лавке, — грубо сшитыми, с воротниками из кошачьего или собачьего меха. Старшие еще могли надеяться, что скоро из них вырастут, а младшим пришлось носить свои и доставшиеся от других по нескольку лет.

В конце ноября папа получил место секретаря комиссии по надзору за установкой автоматической системы на телефонной станции с зарплатой в 250 рублей в месяц. Папа очень гордился этой системой и однажды даже взял меня с собой, чтобы показать сложное устройство с выключателями и рукоятками для автоматического соединения вместо длинного ряда телефонных операторов с наушниками, соединявших абонентов вручную.

Кроме того, отец получил должность помощника контролера железной дороги с зарплатой 1500 рублей в год плюс 325 рублей на жилье. Эта работа была не особенно интересной, да и зарплата была невысокой, но папа согласился. Большая часть этих денег уходила на наше обучение. Вдобавок папина должность давала ему право на квартиру в одном из домов, принадлежавших железной дороге, и льготы на обучение детей в школе. Присутствовать на работе служащим полагалось с девяти до трех, что оставляло папе достаточно времени на детей.

Много вечеров мы провели, слушая папино чтение вслух. Мы все собирались в одной из комнат, бывшей одновременно и спальней и гостиной, и устраивались поудобнее. Няня брала свое вязанье (она всегда вязала чулки на четырех спицах), потом начинала клевать носом и наконец засыпала. Маня, если не слишком уставала, тоже садилась с нами, обычно занимаясь починкой одежды или вышиваньем; я, как правило, штопала или вышивала крестиком; Сережа, конечно, рисовал, сидя за столом, разложив вокруг себя бумагу и карандаши, а остальные дети ста-

рались сидеть как можно тише. Папа выбирал какую-нибудь книгу, которую мы сами не могли прочесть. Так, он прочел нам «Илиаду» в переводе Гнедича и «Одиссею» в переводе Жуковского, позднее многие романы Диккенса. Помню, как он бывал тронут тем, что читал, — голос у него начинал дрожать, даже слезы появлялись. Мне от этого становилось неловко. И лишь годы спустя, сама попробовав читать вслух своим детям, я стала понимать его чувства.

В тот год папа много делал для родительского комитета нашей школы, его даже выбрали председателем, но ненадолго — не имея опыта работы с неподконтрольными ему людьми, мнение которых к тому же часто расходилось с его собственным, он оставил свой пост с явным облегчением. Но, будучи председателем, он часто приносил домой разные отчеты, давал их мне прочесть и делился своим недовольством. Мне эти отчеты казались скучными, длинными, малопонятными. Читала я медленно, и жалко было тратить на них время. Папу мое равнодушие огорчало, он раздражался, чего я всегда побаивалась. Я вообще была упрямой и не соглашалась с ним по каким-то мелочам, чаще всего, когда дело касалось воспитания младших, их игр и занятий или того, когда им ложиться спать. Я чувствовала себя продолжательницей «маминых традиций», как я их понимала, и защищала свою правоту как могла. Дело порой доходило до ссор, бурные вспышки пугали всех, но обыкновенно кончались моими слезами и окончательным примирением перед сном.

Весной мы все успешно сдали экзамены и перешли в следующий класс, но я по-прежнему считала, что Тане надо бы учиться на класс старше, о чем и сказала папе, предложив, что буду с ней заниматься все лето и подготовлю ее к осени к экзаменам в третий приготовительный. Папа согласился, тем более что Тане и самой этого хотелось, и обещал в случае успеха подарить мне серебряные наручные часы. А для меня это было проверкой, могу ли я чему-то учить.

С Таней вместе мы трудились все лето. Она была по характеру мягкой и уступчивой, а я старалась не перегружать ее. Осенью она сдала экзамены, а я получила свою награду — часы, на которых было выгравировано: «Муле за Таню, 1923». Я берегла эти часы много лет.



ГЛАВА 17

УЛИЦА ГЛАВНАЯ

Помню, как в первый свой школьный день я возвращалась домой из школы, а на улицах пронзительно кричали мальчишки-газетчики: «Землетрясение в Японии! Землетрясение в Японии!» Сердце у меня забилося, стало страшно. Сразу всплыл в памяти жуткий вой сирены в Белорецке — как этот вой означал взрывы на заводе, и как никто не знал, что же на самом деле произошло, и как мы боялись за папу. Наверное, от этого воспоминания страх был таким сильным. Япония у меня всегда ассоциировалась с папой. Газету я не купила, потому что не было денег, а побежала домой с криком: «Папа, какой ужас, в Японии землетрясение, там люди погибли!» Я чуть не плакала. Япония казалась такой близкой, совсем рядом... Та самая Япония, о которой папа столько рассказывал.

Папа успокаивал меня, он ведь понимал, что со мной делалось после всего пережитого. Он говорил, что да, это ужасно, но не здесь, землетрясение далеко. Утешив, он послал меня купить газету, беспокоясь о своих друзьях; сказал, что сразу им напишет, узнает, не пострадал ли кто из них. Насколько я помню, из его друзей никто не пострадал.

К лету 1923 года папе наконец дали квартиру, которая ему полагалась в счет жалованья. Новая квартира находилась на Главной улице, мы переехали туда в начале сентября, как только в ней закончили ремонт и уборку. Впервые за несколько лет после всех временных пристанищ у нас было собственное жилье.

Новый дом находился недалеко и от школы, и от Железнодорожного клуба. Папе до работы тоже можно было идти пешком. Я, как сейчас, вижу его сутуловатую фигуру, как он в своем длинном темном пальто и мягкой шляпе, слегка помахивая тростью, идет по тротуару мимо одноэтажных домиков за штакетными заборами.

Наш дом был кирпичный, тоже одноэтажный, на две квартиры с отдельными входами с разных сторон. К нам в квартиру входили через откры-

тую веранду, откуда дверь вела в длинный коридор. Коридор упирался другим концом в ванную комнату с колонкой. Колонку топили дровами, и только для купания. Я так хорошо запомнила эту ванную комнату, потому что это было единственное место в доме, где я могла побыть одна.

Первая комната справа по коридору была папина. Вдоль одной стены там стояла его узкая железная кровать. Как же я хорошо ее помню, эту кровать... Пружины у нее растягивались так, что она напоминала гамак. Может быть, она и папе напоминала подвесные койки, на каких он спал в плаваниях в бытность свою кадетом Морского корпуса. Папа часто рано ложился в кровать, а мы приходили в его комнату и там читали или делали уроки. Порой мы с ним разговаривали, порой нам просто хотелось посидеть рядом с ним, пока он не засыпал. Из другой мебели в комнате были только книжный шкаф у противоположной стены и рабочий стол у окна, выходившего в сад.

В комнатке напротив через коридор жили Маня и Таня — там стоял огромный сундук, где хранились летом наши зимние вещи. На сундуке спала Маня, а кроме сундука там помещались только Танина кроватка и маленький столик. Дальше шла наша с Леной комната, она же гостиная, в углу ее была небольшая печка с изразцами. Лена спала на кушетке, а моя кровать представляла собой три доски, положенные на козлы. На досках лежал тонкий матрас из конского волоса. У меня был свой письменный стол, а у Лены свой, маленький. В нашей же комнате стояло единственное на всю семью мягкое кресло. По стенам висели увеличенные семейные фотографии.

Напротив нашей комнаты находилась столовая с длинным обеденным столом, накрытым клеенкой; вдоль стола стояли длинные скамейки. С годами клеенка на столе вытерлась, и первые свои заработанные деньги Сережа потратил на новую. Из столовой шла дверь в узкую и довольно темную кухню с кирпичной плитой, в которую был вмазан котел: когда на плите кончали стряпать, в котле уже была готова горячая вода для мытья посуды. Оттуда дверь вела на задний двор через холодные сени. На нашей стороне коридора последняя и самая большая была комната, где спали няня, Зоя и Катя. Одежду хранили в фанерных гардеробах. Помню, как папа сам делал чертеж этих гардеробов и объяснял китайскому плотнику, как их строить.

Электрические провода прикреплялись снаружи к стенам маленькими керамическими изоляторами. Отапливался дом двумя кирпичными печками, встроенными в стены между комнатами.

В этом доме мы прожили семь лет — дольше, чем в любом другом до того. В этом доме я из робкой школьницы превратилась в студентку старшего курса инженерного отделения института, здесь маленькая Катя пошла в школу, здесь мы научились разбираться в проблемах политики.

Парадная дверь нашего дома выходила на веранду, а оттуда несколько ступенек вели в большой сад. Сад этот тянулся на целый квартал вдоль боковой улочки, вокруг него шла низкая ограда, а от заднего двора он отделялся забором. Высокие тенистые деревья в середине расступались, оставляя лужайку с цветочными клумбами. Между деревьями каждый год сеяли траву, она вырастала густой и высокой — о том, что можно косить газон, никто и не слыхал, — и мы старались ее не слишком мять. По саду шли дорожки, посыпанные гравием и обложенные кирпичом.

Летом мы проводили все время в саду. Нанять китайцев на работу можно было дешево (их труд ценился очень низко), поэтому каждую весну приходил китайский садовник и сажал траву под деревьями и цветы на клумбах. Где и как сажать цветы, распоряжался папа. А летом мы сами поливали и пропалывали клумбы.

Папа всегда был неистощим на выдумки и старался занять нас чем-нибудь. Одной из его идей была клумба в виде Африки. Полоска синих цветов означала реку Нил, пустыня Сахара была покрыта желтыми цветами, а на месте тропической растительности росли высокие густые цветы. Там даже лежал кусок стекла — это было озеро Чад.

Чтобы вода для полива нагревалась от солнца, недалеко от водопроводного крана была врыта в землю бочка. Младшие могли в ней иногда искупаться. Вокруг бочки лежали камни. От крана тянулся шланг, чтобы наполнять бочку водой. Он проходил между камнями, и кончик его с металлическим наконечником можно было направить вверх — получался фонтанчик. Папа часто развлекал детей тем, что клал шарик для пинг-понга на струйку воды, бьющую из шланга, и он мог плясать на воде часами.

Середину сада решили выровнять под теннисный корт. Денег на сетку не было, и мы научились плести сети, вроде рыбачьих, и стали собирать веревки. В конце концов у нас получилась сеть. Мы разметили корт, и для множества наших друзей игра в теннис стала первейшим развлечением. Мячи вечно залетали в густую траву и кусты вокруг корта, и мы больше времени тратили на их поиски, чем на игру.

Зимой теннисный корт заливали водой — получался каток. Залить каток было совсем непросто, потому что при двадцатиградусном морозе вода замерзала буграми прежде, чем успевали вылить следующее ведро. Чтобы получился ровный каток, мы собирали в доме все возможные емкости — ведра, кастрюли, ванночки, — наполняли их водой и выстраивали вдоль корта. Каждый из нас брался за одну или две, а затем по команде все сразу опрокидывали на землю. Вода, быстро замерзая и потрескивая на морозе, стекалась к середине, оставляя иногда в самом центре незалитый кусочек. Но остальная поверхность становилась гладкой, и можно было кататься.

Одна из папиных затей была связана с живописью — он предложил нам нарисовать пейзаж на большой пустой стене нашей веранды. Масляных красок у нас не было, но папа предложил, чтобы мы их приготовили сами. В дело пошли растительное масло, сажа из печки, синька для белья, толченый мел и охра. Немножко красной краски нам пришлось купить. Сережа начертил контуры двух рисунков, и мы все вместе расписали стены: на одной были изображены японские ворота — тори, стоящие посреди озера, в окружении гор, а на другой — Великая Китайская стена.

В саду была еще устроена доска, концы которой были закреплены, а середина прогибалась. Получалось что-то вроде трамплина, на нем можно было прыгать — в одиночку или по несколько детей сразу.

В дальнем конце заднего двора в сарае мы держали кур. Мой самый грандиозный проект заключался в строительстве курятника. Три стены уже были — стена дома, сени и высокий забор. Я выстроила четвертую стену с дверью и косую крышу. Проблема была в том, как сделать, чтобы крыша не протекала, но в консервных банках недостатка не было. — я собрала нужное количество, распрямила их и покрыла крышу, как drankой.

Ужасно интересно было наблюдать, как вытуплялись цыплята. Мы так боялись, что курица-мама раздавит новорожденных цыплят, что обычно приносили яйцо в дом, как только на нем появлялась трещина, и когда вот-вот должен был появиться цыпленок, все наблюдали, как он вытупляется. Затем это жалкое маленькое существо осторожно возвращали к маме под теплое крыло.

Бывало, что особые музыкальные звуки возвещали о приходе китайского кукольника с кукольным театром, или фокусника, или даже мастера, делавшего кукол из рисового теста. Каждый из них звенел колоколь-

чком или бубенчиком, а то и быстро постукивал по особой доске, и сразу целая куча детей — а детей в доме или в саду всегда было много — радостно откликалась, заслышав эти звуки. Маня иногда соглашалась нам на забаву пригласить бродячих артистов в сад.

Быстрое металлическое позвякивание означало, что пришел точильщик, и если Мане нужно было что-то поточить, то мы стояли и наблюдали, как он крутит колесо своего станка.

Когда мы подросли, в саду стали устраивать встречи гостей. Из цветной бумаги и коробок от папиных сигарет делались фонарики. Мы вставляли внутрь свечки и развешивали фонарики по всему саду. Все гуляли, разговаривали и танцевали в саду под виктролу¹⁶, и атмосфера казалась невероятно романтической. Иногда свечка падала, бумага вспыхивала, горящий фонарик летел вниз, и общему восторгу не было конца.

Домашняя жизнь

Годы шли, няня все старела, и постепенно все хозяйственные заботы легли на Маню. Рынок и стряпня отнимали почти все ее время — каждый раз за стол садилось не менее девяти человек. Кроме того, Маня убирала дом и каждый день мыла крашеные деревянные полы. Я, как сейчас, помню небольшую Манину фигурку, как она наклоняется к полу, не сгибая колен, большая тряпка у нее в руках мерно двигается влево-вправо, а сама она постепенно отодвигается назад. Няня занималась починкой одежды, штопкой, помогала заготавливать продукты на зиму, одевала и купала младших.

Раз в неделю приходила стирать женщина по имени Надежда Гавриловна. Она трудилась в темном углу кухни над большим металлическим корытом и стиральной доской, а на плите, в большом чане с добавленной туда золой в это время кипятились простыни. Выстиранное белье развешивали во дворе, зимой оно замерзало, его вносили в дом как огромные куски картона, и кухня и даже столовая наполнялись чистым запахом мороза и свежестыранного полотна.

Там же в кухне Надежда Гавриловна гладила большим утюгом с горячими углями. Она предпочитала именно такой утюг, хотя каждый раз угорала от его дыма. Простая женщина из беженок, без всякого образования, вдова купца, Надежда Гавриловна носила маленькие бриллианто-

вые сережки, остаток лучших времен, и это как-то подчеркивало ее достоинство.

Каждый месяц папа вручал Мане почти все свое жалованье, за вычетом денег на наше обучение, и именно Маня решала, на какие нужды его тратить. Себе папа оставлял немного — на сигареты и газеты. Карманных денег мы никогда не получали. Мы фактически вообще не держали в руках денег, разве что мелочь, которую нам давали на школьные билеты в театр или на концерт. Маня управляла нашей жизнью по своим собственным соображениям о первоочередных нуждах — еда, здоровье, образование, книги, приличная одежда. Няня смотрела на это управление косо. Нас ее ворчанье и подозрительные взгляды не трогали, но Мане они, должно быть, были неприятны.

Маня вставала раньше всех, будила нас, чтобы мы встали вовремя к завтраку, потирали, чтобы не опоздали в школу; она же встречала нас, когда мы возвращались. Она следила за тем, как мы делаем уроки, и выхаживала нас, когда мы болели, огорчалась от наших ссор и споров, и даже очень уставая от работы, она редко сердилась. Лишь порой, совсем замучившись, она в слезах жаловалась: «Да отстаньте вы! Я же не ваша собственность, я не из вашей семьи!» Но мы-то как раз чувствовали, что она наша, часть нашей семьи, и от ее жалоб нам становилось стыдно. Не помню ни единого случая, чтобы кто-то из нас нагрубил Мане.

Ей трудно было что-то подарить — сколько раз мы с папиной помощью покупали ей к какому-нибудь случаю материю на платье, и всегда это в конце концов оказывалось платьем для кого-то из нас или для няни. Кроме рынка и церкви, Маня никуда не ходила. Из чужих людей она виделась только с теми, кто приходил к нам или к папе в гости.

В доме всегда были рады гостям, будь то взрослые или дети. Папа предпочитал, чтобы мы не ходили в гости к другим детям, а принимали их у себя. Некоторые даже праздновали у нас свой день рождения, принося с собой праздничный пирог, и Маня никогда не жаловалась. Шумная ватага носилась по комнатам под громкие марши или вальсы. Папа сам играл на пианино, и чем громче и веселее расходились дети, тем больше он радовался. Когда одного или двух из нас не было дома, папа, бывало, говорил: «Что-то детей маловато, надо бы побольше».

Обычно мы возвращались из школы в начале четвертого, папа приходил тогда же, и все немедленно усаживались вместе обедать, соревнуясь

за столом, кто раньше расскажет про свои дела за день. Папа следил, чтобы каждому досталось время для рассказа; он внимательно слушал, одобрял, распекал, восхищался — как того заслуживал рассказчик.

Как-то раз, только мы сели за стол, папа объявил: «Странная штука со мной сегодня приключилась. Я шел по улице и вдруг увидел, что на штакетине забора что-то написано мелом. Посмотрел поближе, а там написано имя — Елена Зарудная. Вынул я платок, наклонился и стер надпись. Иду дальше, а там опять то же имя на заборе. Я его еще раз стер. А дальше еще и еще имя моей дочурки на каждой досточке. Так что старому папке пришлось-таки поработать, чтобы их все стереть своим носовым платком!» Все смотрели на Лену и молчали. Лена покраснела и тоже ничего не сказала. «Вот я вам только это и хотел рассказать», — закончил папа и больше к рассказу не возвращался. Лишь много лет спустя Лена поведала мне, как ее поразило, что в школе ее называли по фамилии, ей так нравилось, как это звучало, что она стащила в классе кусок мела и по дороге домой писала свое имя на каждой штакетине забора. Очень ее пристыдил папин рассказ.

Папу, по-видимому, не раздражали детские споры, стычки, драки, крики. Он только требовал, чтобы мы всегда вели себя честно. Впрочем, если мы его сердили, он говорил громко и строго. И я и Сережа испытывали на себе его гнев — я потому, что была слишком строга и начальственна с младшими, а Сережа потому, что ссорился со мной. Впрочем, мы всегда знали, что папин гнев направлен на наши поступки, а не на нас, и даже если нам порой казалось, что он понял нас неправильно, в его любви мы никогда не сомневались. Неизменным доказательством служили папины обьятия для раскаявшегося виновника.

Отчитываясь о своих успехах в школе, мы получали поцелуй за хорошую отметку, а за плохую — два, в утешение, чтобы рассказчик не очень горевал. Папа всегда исходил из того, что мы старались.

День завершался вечерним чаем за самоваром, всегда с зашедшими к нам гостями. В будние дни гости уходили часов в одиннадцать. Маленьких няня укладывала раньше, а измученная Маня сваливалась на свою постель на сундуке, не дожидаясь конца оживленного застольного разговора. Мы никогда не помогали ей мыть посуду, она говорила, что мы ей мешаем в темной и узкой кухне. «Идите лучше учиться или почитайте», — говорила она, стоило нам появиться в ее владениях.

Верный своей «Молитве одинокого сердца», папа ушел в поглотившее его целиком занятие — радио. Радио тогда только-только начинало развиваться. Можно было купить детекторный приемник и услышать сигнал через наушники — поначалу лишь сообщения азбукой Морзе, но к 1922 году уже удавалось услышать голоса и музыку. Отец вскоре соорудил маленький ламповый приемник, даже с громкоговорителем, что было большим достижением. Мы все собирались у папы в комнате и слушали сквозь треск и помехи еле различимые человеческие голоса. «Слушайте, — говорил папа, — это трансляция итальянской оперы из Рима!» Помню, как-то раз папа вошел к нам в комнату с динамиком в руках, разбудил нас, чтобы дать послушать полуночный бой часов лондонского Биг-Бена. Заражаясь папиным энтузиазмом, я слушала с интересом, но втянуться в это по-настоящему мне не удавалось. Сережа на какое-то время тоже заинтересовался конструированием приемников, и папа очень им гордился. Но на большой размах такого увлечения не было денег; например, папа никогда не пытался сам что-либо передавать. Фактически каждый раз при реализации новой схемы ему приходилось разбирать на части старый приемник и пользоваться его деталями.

Помимо радио папа много читал. Многие книги, особенно французские, он брал у друзей. Изредка он уходил в гости к ним, чаще всего к Лачиновым или Устряловым.

Профессор Устрялов когда-то отвечал за политическую прессу при Колчаке. Юрист по образованию, он теперь читал лекции на недавно открытом юридическом факультете и публиковал множество статей на темы текущей политики в местных газетах. Высокого роста, импозантный, талантливый и вдохновенный оратор, Устрялов был заметной фигурой среди русских эмигрантов. В местных издательствах вышло несколько его книг. Политически он принадлежал к лидерам движения «Смена вех», которые оправдывали то, что происходило в России, не со всем, однако, соглашаясь. Сменовеховцы исходили из того, что раз уж правление Россией находится в руках большевиков, всякий, кто не хочет окончательно разорвать отношений со своей страной, должен признать и принять этот факт. Более того, они считали, что большевики спасают бывшую Российскую империю от распада, что отвечало их патриотическим чувствам. Утверждая, что можно надеяться на постепенное улучшение политической ситуации, они настаивали, что это улучшение должно совершаться при их участии.

Советская печать приветствовала их потому, что это вело к расколу среди эмигрантов. Более того, все это способствовало возвращению многих из эмигрантов на родину.

Папа очень уважал Устрялова, и хотя и не во всем с ним соглашался, но какое-то сочувствие в нем позиция Устрялова вызывала.

В 1935 году, когда никого из нас уже не было в Харбине, Устрялов с семьей все-таки вернулся в Россию, но в 1937 году его арестовали, держали в тюрьме и в конце концов расстреляли. Жена его провела восемь лет в концлагере, сын их за это время умер от туберкулеза. После лагеря ей жить в Москве не разрешили, а младший сын, хотя и окончил университет, не мог найти работы и в конце концов уехал на Север страны. Он был женат, имел детей. Умер он от удара молнии в возрасте 40 лет в инспекторской поездке по железной дороге.

К папе постоянно приходили какие-то люди — за советом в жизненных делах, просить помощи в устройстве на работу... Среди друзей бывали и женщины, радовавшиеся его и Маниному гостеприимству; они вели с ним долгие беседы за бесконечными чашками чая.

Поводов для празднования всегда хватало. Кроме Рождества и Пасхи с традиционными приготовлениями и украшениями мы праздновали и дни рождения, и именины каждого члена семьи. День рождения ознаменовывался традиционным маршем из «Аиды» в папином исполнении на пианино, когда виновник или виновница торжества входили в столовую к завтраку, и подарком — обыкновенно, книгой — на столе.

На именины, как правило, приходили вечером друзья, просто так, без всякого приглашения, чтобы поздравить именинника или именинницу. На папины именины в июне обычно приходили Лачиновы и еще кто-либо из взрослых. Все садились за чай с Маниным традиционным для таких дней кренделем. Летом бывало еще и мороженое, которое делали в специальной мороженице с соленым льдом, для чего все по очереди вертели ручку.

По обычаю, который мы привезли из Либавы, стул именинника украшался зелеными ветками. Сначала мы так делали для всех, но потом обычай сохранился только на Ленины именины в мае, может быть потому, что она родилась в Либаве, а может быть, просто потому, что в мае легко достать зеленые ветки. Для папы Ленины именины были особенными еще и тем, что они же были и мамиными.

ОТРОЧЕСТВО

В дни моего отрочества дом был всегда полон маленьких детей, а внимание взрослых — постоянно приковано к ним. Я чувствовала себя отделенной от остальных. Кроме встреч в школе, у меня не было отношений со сверстниками. Сережины друзья были для меня слишком маленькими, и ни с одним из них мне не было интересно. У папиных друзей не было детей моего возраста, кроме семьи Лачиновых, где я всегда чувствовала себя не совсем уверенно. Школа оставалась для меня главным местом общения.

На первом году моим любимым предметом стала русская литература — в основном из-за юной и восторженной учительницы, которую я обожала. Невысокого роста, с высоко собранной на макушке прической из пышных рыжих волос, которые иногда падали ей на спину, закрывая ее ниже пояса, — тогда она их торопливо подбирала и вновь скалывала костяными шпильками, — она расхаживала по классу и с горящими глазами декламировала стихи наизусть. Ей самой это так явно доставляло наслаждение, что и мы невольно приобщились к красоте поэзии. Писала и я собственные стихи — очень детские, наивные, от всей души:

Телеграфными столбами
По дороге меж камней
Мчатся годы за годами
Бледной юности моей.

А над ними, а над ними,
Оплетая их как сеть,
В бесконечности пустыни
Проводам дано гудеть...

В тот год я заучила массу стихов наизусть и по вечерам, когда уже никого в саду не было, декламировала их вслух у нас на веранде. Я так стояла и читала часами каждый вечер, всю осень, даже когда уже сильно похолодало.

Математика, особенно геометрия, давалась мне так легко, что уроки казались скучными. Я брала с собой в класс книгу и читала очередной роман или повесть, пока другие девочки бились с задачей у доски под мягкое подсказывание нашего бесконечно терпеливого и неторопливого учителя Корецкого, знаменитого среди учеников своей много раз повто-

ряемой фразой: «Подумать! Сказать! Записать!» — именно этого порядка действий он от нас добивался.

Иногда он замечал, что я читаю постороннюю книгу, подходил ко мне и предлагал другую, более сложную задачу. Я тут же решала ее и опять бралась за книгу. Корецкий никогда не вызывал меня к доске и не спрашивал, если я поднимала руку. Моего чтения он не осуждал, а потом вообще оставил меня в покое, и я прочла несколько длинных романов во время уроков математики.

На заключительном экзамене, чтобы мы не могли списывать друг у друга, Корецкий писал на доске четыре разные задачи для четырех учениц, которые сидели за двумя смежными партами. Пока он писал, я решила все четыре и потом потихоньку посылала шпаргалки тем, кому нужна была помощь. Если бы я этого не сделала, со мной потом не стали бы разговаривать — по неписаным правилам, сильным ученикам полагалось помогать другим, даже рискуя быть пойманными.

Кроме того, я ходила во все кружки, в какие могла. В первый год это был зоологический кружок, потом у меня много времени стал отнимать драматический кружок. Мне дали несколько главных ролей в школьных спектаклях, и до чего же восхитительно было выходить на авансцену перед полным темным залом! Оказалось, что мой голос без всякого напряжения звучит так, что достигает каждого в зале. Наверное, сказала моя практика читать стихи вслух на террасе.

Еще можно было заниматься в школе бальными танцами. Помню бурные споры на собрании родителей и учителей, можно ли нам танцевать фокстрот. По моральным соображениям фокстрот был решительно запрещен.

В субботу по вечерам и по воскресеньям в школьной церкви бывали службы. Я ходила часто и даже сама вызывалась продавать свечи или проходила среди прихожан с корзиночкой, собирая пожертвования во время службы. Мне нравилось помогать. Не сказать, чтобы папа был доволен (он в этом видел что-то ханжеское), но не возражал.

Учителя относились ко мне хорошо, но ждали от меня хорошего поведения и хорошей учебы — просто из-за фамилии Зарудная, которую они знали по папе и дяде Саше, а я это ненавидела, потому что хотела, чтобы меня ценили за мои собственные заслуги. К тому же я не хотела ходить в «любимчиках». Как-то раз наша чопорная директриса распекала девочек за слишком фривольное поведение: некоторые, представьте себе,

носят волосы на уши, или завиваются, или, Боже упаси, ходят с кружевными воротничками на форме! Тут она велела мне встать и продемонстрировать мою гладко причесанную голову с аккуратными косичками как пример правильной прически. Я стояла вся красная, мечтавая провалиться сквозь землю, и ненавидела ее в ту минуту всеми силами души. Ведь она как-то раз вернула мне забытую в школе тетрадь с моими стихами, прибавив от себя саркастические замечания!

Краснела я мучительно по любому поводу, почти до слез, и очень от этого страдала. Девочки меня дразнили, зная, что достаточно было кому-нибудь из них, желая позабавить других, сказать: «Муля, покрасней!» — и я тут же заливалась краской.

Не знаю, насколько хорошо ко мне относились девочки, — я была слишком серьезной и слишком невинной; никогда не достигая вершин, я все-таки обычно была среди лучших учеников. Живя в атмосфере женской школы, я стала стесняться мальчиков, с которыми теперь встречалась только в кружках. Мне не удавалось устанавливать приятельские отношения с ними, как бывало раньше. Девочки в классе были одержимы мыслями о мальчиках, они все время собирались группками и оживленно щебетали на эти темы между собой. Иногда я подходила к такой группке, но мне говорили: «Тебе это неинтересно, ты еще маленькая!» Я послушно отходила, смутно чувствуя, что есть какие-то вещи, которые мне полагалось бы знать. Главным вопросом был, конечно, секс, хотя я даже не знала тогда, как это назвать. Надо бы узнать, откуда берутся дети, ведь моя обязанность — посвятить в это младших сестер, но я все оттягивала выяснение этого, не зная, как к этому подступить, да и не чувствуя насущной необходимости.

В целом, хотя мне хотелось быть «своей», я чувствовала себя чужой. Активная внешне, я часто грустила и унывала. Я чувствовала, что мое отрочество лишено причитающегося ему, по моим разумениям, блеска, — я так считала, сравнивая с разрозненными мамиными воспоминаниями о ее юности в Петербурге. Дома меня всегда относили к детям: когда к папе приходили друзья, они вели свои взрослые разговоры или в его кабинете, или за столом, отослав детей. Маня и няня разговаривали с папой почти на детском уровне (думаю, я была еще слишком мала, чтобы оценить Манину житейскую мудрость). Наверное, ни я, ни Сергей так никогда и не научились правильно соблюдать уважительную дистанцию между собой и старшими.

Мне очень не хватало мамы, но претила сама мысль искать материнскую поддержку у других женщин: ни одна из знакомых мне взрослых женщин не могла с ней сравниться по уму и мудрости. Чувство это еще усиливалось оттого, что папа со своей стороны ее идеализировал: в доме царил культ мамы, ее незримое присутствие ощущалось всегда. Папа, когда ему было трудно справиться с кучей детей, и вправду говорил, будто про себя: «Леночка, помоги!» Мы для него всегда были ее детьми.

Книги требовали много времени — я все еще читала очень медленно. Я пробовала читать по вечерам в постели, но папа меня обычно за этим ловил — наша дверь была стеклянной, и он из коридора видел у меня свет — и очень сердился. Ему казалось, что я мешаю Лене, да вообще мне надо больше спать. Споры между нами по этому поводу не прекращались.

Сережа, Лена и я прочли за эти годы много книг иностранных авторов в русских переводах: Дюма, Виктора Гюго, Диккенса, Вальтера Скотта, Фенимора Купера, Джека Лондона. Сережа выучил наизусть монологи из роستانовского «Сирано де Бержерака». Но, подрастая, мы стали обращаться преимущественно к русским писателям XIX века. Папа дарил нам на дни рождения книги русских классиков, и таким образом стала собираться семейная библиотека. Скоро у нас уже были полные собрания сочинений Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Жуковского, Гоголя, Чехова, Тургенева и Толстого.

По выходным или в каникулы мы иногда ходили слушать оперу в Железнодорожный клуб. Девочки, как правило, очень расстраивались, что им полагалось даже в этом случае носить школьную форму с белым фартуком, которая, как они считали, делала их похожими на горничных. Меня же это как раз спасало от огорчений: у меня не было красивого выходного платья. Мы покупали ученические билеты по пятьдесят центов, то есть очень дешево, и нам разрешалось сидеть на любом свободном месте. Свободные места обычно бывали впереди, у самой сцены. Постоянная оперная труппа в Харбине была не из лучших, но ее украшали хорошие певцы из беженцев, а позднее стали приезжать гастролеры. То же самое можно сказать и про оркестр. Впрочем, мы ничего лучше не слышали и наслаждались. Оперы исполнялись по-русски, так что мы все понимали.

С нашего приезда в Харбин прошло два года. В пятнадцать лет я была все еще невинным подростком. Друзьями моими были несколько дево-

чек со схожими интересами. Самой лучшей подругой была моя тезка, Маргарита Сечкина. Ее единственная сестра была гораздо старше нас. Она читала больше меня, так же как и я, любила поэзию, писала невероятно красивым почерком и училась как я или немножко лучше по всем предметам, кроме математики. Мы много времени проводили вместе.

На танцы в школу девочки и мальчики приходили отдельно, и часто девочки танцевали с девочками. Маргарита, более решительная, чем я, помогала мне знакомиться с мальчиками.

На каждом танцевальном вечере наступал момент, когда оркестр играл лезгинку, которую почти никто не умел танцевать, и середина зала оставалась пустой. Маргарита замечательно исполняла сложную мужскую партию лезгинки и вытаскивала меня на середину танцевать женскую партию. Быстрый, почти дикий танец требовал всего пространства танцевального зала, и все смотрели, как мы танцуем. Героем вечера была, конечно, она.

Весной

Наступала весна. Долгие службы Великого поста, прогулки вдоль Большого проспекта под медленный скорбный перезвон колоколов, в сумерках сзывающих прихожан на вечерню, — все это наполняло романтические вечера моего отрочества. В Страстной четверг после долгого чтения Двенадцати Евангелий каждый уносил из церкви зажженную свечу, и дома от этой свечи зажигали лампадки. Словно сотни светлячков расплзались по улицам всего города в этот вечер. Если свеча гасла, ее опять зажигали от чьей-нибудь.

В годовщину маминой смерти няня, которая всегда следила за соблюдением всех церковных обычаев, всегда заказывала в церкви панихиду. Папа посещал церковь только в этот день — раз в году. Мы все молча доходили до площади и входили в пустую, темную церковь. Панихида шла долго, и на последних словах «...со святыми упокой...» мы все опускались на колени, даже папа, хотя ему это было трудно. Как и всегда, я ничего не могла почувствовать, мне хотелось только, чтобы служба скорее кончилась.

По субботам Великого поста в школьной церкви перед уроками тоже служили панихиду, и каждый раз хотя бы одна из девочек, недавно поте-

рявшая кого-нибудь из родных, падала в обморок или начинала рыдать. Я всегда ждала этого с ужасом, твердо решив никому не показывать своих чувств. Мне было очень больно.

На Страстной неделе мы исповедовались и причащались. По обычаю, перед исповедью надо было избавиться от всех чувств обиды и вины. Мы должны были просить прощения у всех знакомых, особенно у тех, с кем бывали в ссоре. На это требовалась определенная смелость. Но затем у тебя тоже просили прощения, и надо было принять это с добром и на самом деле простить. После исповеди наступало удивительное чувство очищения.

В какую-то весну я поведала священнику на исповеди свою особую беду: я не могла верить во все слова тех молитв, которые слышала в церкви. Может быть, я верила в святых, в то, что существует рай, в вечную жизнь или в кого-то наверху, кто все устроил. Мне нравилось молиться — но и только. Священник, который одновременно был нашим учителем Закона Божия, разрешил мои сомнения, сказав, что все обычаи, все традиционные молитвы созданы для того, чтобы человек приходил в то состояние духа, которое позволяет ему молиться, и что только это и важно. Я была так счастлива и чувствовала такое облегчение — оказывается, можно просто наслаждаться службой за ее красоту. Это определило мое отношение к православной церкви на много лет.

Дома же происходила обычная весенняя уборка. Всю мебель сдвигали, переворачивали, чистили, каждый угол бывал выметен и вымыт. Маня и няня работали до полного изнеможения. Затем начиналось приготовление пасхальных блюд — пасхи, куличи, крашеные яйца. И при всем при этом и Маня и няня ни разу не пропустили службы в церкви.

Наконец в Пасхальную ночь выставлялись на стол все пасхальные яства — ветчина, запеченная телятина в гофрированных бумажных украшениях, пасхи, яйца, куличи и несколько бутылок вина. Украшив стол и немного вздремнув, Маня и няня вместе со старшими детьми шли в церковь.

Мы выстаивали до полуночи, когда радостным пением и неумолчным звоном колоколов завершалась первая часть службы. Тогда все начинали троекратно целоваться, а мальчики при этом радостно выискивали тех девочек, которые им нравились. Мы шли домой, где нас ждал папа, целовал каждого из нас, и все садились за праздничную трапезу. На столе, на видном месте, среди цветов и праздничных блюд, заботливо поставленная папой, пока нас не было, всегда стояла мамина фотография.

Лето 1924 года

Гражданская война кончилась. В конце 1922 года возник Союз Советских Социалистических Республик. Россия, разоренная годами войн, голода, казней, эпидемий и общего развала экономики, начала постепенно восстанавливаться с помощью новой экономической политики (НЭП), введенной в 1921 году.

В начале 1924 года умер Ленин. В СССР была принята новая конституция. Новая экономическая политика несколько ослабила тяжелое экономическое положение. Стабилизировался рубль. С Советским Союзом установили дипломатические отношения Англия, Италия, Норвегия, Австрия, Греция, Швеция, Китай и Дания. Советское правительство, по-видимому, утвердилось в России более или менее прочно, и стало казаться, что после тяжких времен Гражданской войны наступило время относительного покоя. В душах пострадавших русских эмигрантов стала загораться надежда, что жизнь в России может еще переродиться во что-то приемлемое.

Переписка с родными в Петрограде — теперь Ленинграде — все еще была трудна, поскольку дипломатические отношения между Китаем и СССР еще не были установлены. Судьба КВЖД была одним из камней преткновения. Переговоры о железной дороге велись все время, но разрешить противоречия не удавалось, и было очевидно, что по достижении соглашения между Россией и Китаем грянет много изменений.

Считая, что дети и так уже много перенесли, папа старался дома поддерживать атмосферу, насколько это возможно, обычной и спокойной. В школе политические вопросы вообще не обсуждались, дома тоже. Папа, конечно, читал газеты, но разговор о прочитанном откладывал до встреч со взрослыми друзьями.

Папа любил, когда мы строили планы на летние каникулы. Сережа и я предложили свою программу «содержательных занятий», в основном состоящих из чтения и спорта, которую папа с готовностью поддержал. Кроме работы в саду, которая у каждого была своя, мы время от времени ходили на Сунгари купаться, а иногда даже брали лодку и переплывали на другой берег и купались там.

Должна признаться, что временами я мечтала вырваться из дома и сада, полного шумной детской беготни. Можно было побыть одной, просто гуляя по улицам. Кроме того, по вечерам в парке Железнодорожного клуба

иногда давали симфонические концерты, и там всегда можно было найти место на стульях вблизи от ярко освещенной эстрады, встретиться с друзьями. Музыка нас захватывала. Мы часто оставались в парке, когда концерт уже давно заканчивался, и беседовали, гуляя по усыпанным песком дорожкам, а вокруг в прохладном вечернем воздухе разливался аромат множества цветов.

Лена и Таня уехали в летний лагерь, находившийся у одной из станций железной дороги, в месте известного курорта, куда ездили отдыхать с семьями многие служащие дороги. Папа заплатил за определенное количество бутылок кумыса — ферментированного кобыльего молока, считавшегося очень полезным для здоровья, — которые Лене с Таней надлежало выпить до возвращения домой. Кумыс им не нравился, но пили они послушно.

Этим летом папа взял меня с собой в летний открытый театр, где давали «Гамлета». Кроме этого раза, я не помню, чтобы папа ходил со мной в театр. На мне было белое платье... и тут я увидела на нем большое кровавое пятно. Я не понимала, что происходит, и вдруг вспомнила, как шесть лет назад, зимой, в занесенной снегом сибирской деревне мама, беременная в ту пору, говорила мне, что когда-нибудь у меня будут кровотечения. Поняв, что случилось, я отчаянно старалась, чтобы папа не заметил пятна на платье. «Пусть другие, я их не знаю и никогда не увижу, пусть они видят, только пусть не папа!» Я почти ничего не запомнила из спектакля и не помню, как мы доехали домой. Кажется, папа решил, что я еще слишком мала, чтобы оценить замечательную игру знаменитого заезжего актера.



ГЛАВА 18

ПОСЛЕДНИЕ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Всю весну и лето 1924 года Россия и Китай вели переговоры об установлении дипломатических отношений. Важной составляющей этих переговоров была судьба КВЖД. Соглашение было подписано 31 мая, а 20 сентября ратифицировано. Нас там касались следующие пункты:

1. Железная дорога управляется Советом директоров, по пять человек с советской и с китайской стороны, назначаемых своими правительствами; председательствует в Совете один из китайских директоров.

2. Советский управляющий и его заместитель назначаются советом директоров. Их обязанности также определяются советом.

3. Городское управление Харбином, включая полицию, суд и управление образованием, осуществляется китайской стороной. То же касается и остальных станций железной дороги.

4. Прежние русские паспорта, выданные правительством Российской империи или Временным правительством России, считаются недействительными.

5. Советское правительство в Харбине представляет консульское управление. Сотрудники консульства пользуются дипломатической неприкосновенностью. Они не ведут коммунистической пропаганды, поскольку дорога рассматривается как строго коммерческое предприятие.

6. Советское консульство в Харбине выдает, по своему усмотрению, советские паспорта лицам, заявившим о них. Лица, не имеющие советских паспортов, находятся под защитой своих консульств или китайского правительства.

7. Все служащие железной дороги должны иметь либо советское, либо китайское гражданство; должности на железной дороге распределяются по принципу равного представительства.

Оговаривалось, что если начальник какого-то подразделения — из одной страны, заместитель его должен был представлять другую страну,

а также что под управлением китайских и советских начальников должно находиться равное количество отделений.

Теперь для русских в Харбине, а особенно для служащих КВЖД (в том числе для нашей семьи), жизнь определялась этими условиями: чтобы сохранить свои рабочие места, люди должны были получить либо советское, либо китайское гражданство. Служащие, не имевшие ни того, ни другого гражданства, увольнялись. Поскольку старые их паспорта объявлялись недействительными, то без советского или китайского паспорта они вынуждены были, уже как беспаспортные, иметь дело с продажными чиновниками из местных китайских властей.

Тем, кто подал заявление о советском паспорте, советское консульство выдавало соответствующее свидетельство, и до момента выдачи паспорта (или отказа) они могли продолжать занимать свои должности. В случае отказа их автоматически увольняли, а место занимал кто-нибудь, прибывший из СССР.

Папе надлежало решить, какое гражданство выбрать. Вопрос стоял так: готов ли он отказаться от надежды для себя и для своих детей на возвращение в Россию?

В прежние времена многие русские жили за границей много лет — иные добровольно, например получая образование, как сам папа когда-то, когда жил в Бельгии; иные вынуждены были жить там по политическим или еще каким-то мотивам. Большинство из них надеялось в конце концов рано или поздно вернуться на родину, имея русский паспорт. Связи с Россией, домом, друзьями и родными продолжали сохраняться. Но теперь все менялось: без советского паспорта возможность связей с Россией резко сужалась. В глазах советских властей такой человек становился врагом. Не только надежду на возвращение приходилось оставить, но рушились даже отношения с родственниками. Русский эмигрант продолжал жить воспоминаниями о былых временах, а Россия менялась так стремительно, что уже почти и не напоминала ту страну, откуда он уехал.

Относительно себя папе было ясно, что пути назад в Россию нет. Но дети — смогут ли они вернуться, хотя бы потом, в далеком будущем?

Без того или иного гражданства папа автоматически терял работу. Найти другую в Харбине было совершенно невозможно, как и переехать в другой дом. Отъезд в Китай или Японию сулил долгий путь в полную неизвестность. Потеря работы означала также, что для детей придется искать другую школу, скорее всего, более дорогую. Да и где еще в Харбине

найти школу, которая давала бы детям русское образование, то есть позволяла бы им не оказаться изгоями, доведись им вернуться в Россию?

Папа терзался сомнениями. Поздно ночью слышно было, как он ходит у себя в комнате из угла в угол — он всегда любил думать на ходу. Он то хорошо знал цену политическому режиму, ныне пришедшему к власти. Это те самые люди, что убили его жену, — разве они могли измениться? Но при любом правительстве Россия оставалась землей его предков, его многострадальной родиной, на благо которой трудились все в их семье. Многие родные все еще жили в России, и он надеялся, что наступит день, когда его дети смогут там жить, работать и быть активными гражданами. Он не хотел, чтобы его дети стали врагами его родины.

Многие из папиных друзей выбрали китайское гражданство. Но папа не мог представить, что он воспитает своих детей в эмигрантских или в китайских школах, и Китай станет их родиной либо они станут вечными беженцами. Он написал письмо брату Александру в Ленинград. Сообща было решено, что он подаст просьбу о советском гражданстве, даже рискуя получить отказ и остаться в Харбине под юрисдикцией китайского правительства на неизвестный срок. Все-таки пока у него будет статус подавшего заявление, это позволит ему сохранить работу, а детям ходить в ту же самую, теперь советскую, школу и получать образование наравне со своими сверстниками в России. Когда дети подрастут, они могут сами подать заявление о советском гражданстве, если захотят. Как бы то ни было, заявление гарантировало еще год работы и возможность нам продолжать образование. Папа подал просьбу о советском гражданстве.

Русское население Харбина переживало болезненный раскол. Здесь жили люди самых разных политических убеждений. Были старожилы, не испытавшие непосредственно на себе трагедии революции и Гражданской войны. Для них вопрос решался просто: они всегда останутся русскими, какое бы там ни было правительство. Дело сводилось просто к обмену паспортов. Но кроме них были и беженцы, принадлежавшие к разным партиям или не принадлежавшие ни к какой. Иные хлебнули горя и лишений, иные уехали спокойно, но для каждого из них события последних лет в значительной степени определяли настоящую жизнь, и неудивительно, что открытое признание своего отношения к ныне существующему СССР являлось для них актом первостепенной важности, причем вопрос был не только политическим, но и нравственным.

Старые друзья переставали здороваться; совсем незнакомые люди живо интересовались, кто какой паспорт захотел получить. Прежде, чем заговорить с человеком, важно было знать: «Какой паспорт?» Те, кто попросили советского гражданства, чувствовали себя словно под надзором незримой секретной службы, и всякое их слово или знакомство могло привести к отказу в выдаче паспорта и, соответственно, к потере работы. Впрочем, нам удалось сохранить старых друзей, несмотря на то что некоторые из них просили о выдаче других паспортов или решили остаться без паспорта.

Еще резче разделились местные газеты, каждая из которых теперь имела явную политическую ориентацию. Прокоммунистические газеты вывешивались на стендах.

ШКОЛА

Учебный год в 1924 году начался 1 сентября, как обычно. На школьных порядках все важные события последнего времени никак не сказались — мы все так же волновались по поводу новых предметов, новых учителей, радовались встрече со старыми друзьями. К концу сентября мы уже знали, что начальство на железной дороге сменится и наши родители должны принимать серьезные решения. Но на нас это пока не отражалось.

Однажды в начале октября мы вдруг почувствовали, что среди учителей что-то происходит. В тот день нас, как всегда, собрали, чтобы вести на молитву, но велели пойти всем ученикам, даже неправославным, которые обычно в церковь не ходили. Присутствовали директор, директриса и все учителя. Вместо обычной пятнадцатиминутной службы перед началом занятий к нам прямо с амвона обратился Борзов. Он попрощался с нами, сказал, что теперь у нас будет новый директор, что часть учителей тоже покинет школу и учебная программа изменится. Общей молитвы перед занятиями тоже не будет. Церковь останется в школе до весны, а потом переедет в другое место. «Я надеюсь, — добавил директор, — что вы по-прежнему будете добрыми и послушными учениками, какими мы вас знали».

Для большинства старшеклассников новость эта не была неожиданной. Что грядут перемены, мы знали; не знали только когда. Но для малень-

ких, которых родители обычно оберегали от тревог, новость прозвучала как гром среди ясного неба.

Мы молча разошлись по классам. Новый порядок страшил своей неизвестностью. Исчезла былая устойчивость. Девочки младших классов всхлипывали. Старшие задавались вопросами: что будет со школой? Кто из учителей уйдет, а кто останется?

Совет директоров КВЖД назначил новым директором школы профессора Устрялова. К тому времени он был хорошо известен своими публикациями в эмигрантской прессе. Он стремился примирить враждующие партии с нынешним политическим режимом, что встречало одобрение со стороны советской печати. При этом он все-таки не был советским чиновником, и его назначение было легче принять и оставшимся учителям, и ученикам. Однако часть учителей ушла, ушли и многие ученики, в том числе некоторые наши друзья.

Закон Божий был теперь отменен, зато в старших классах введена «политическая экономия». В младших появился предмет «антирелигиозная пропаганда». Был создан ученический комитет, по большей части из новых учеников, имевший равные права наравне с педагогическим советом.

Однажды на стене в коридоре появилась стенгазета, типичная для советских школ, где критиковались учителя и кое-кто из старых учеников. Газета была с явным коммунистическим душком.

Взамен прежнего русского гимна мы теперь должны были разучить «Интернационал», и некоторые вставали, когда его исполняли.

Дома папа пытался нас успокоить, говорил, что надо учиться, как учатся дети в России. Он понимал, что теперь у него новая задача — противопоставить что-то школьному влиянию, показать, что бывают разные точки зрения, не настраивая нас против новых властей.

Дядя Саша

Теперь, когда возобновилось почтовое и железнодорожное сообщение с Россией и советские граждане получили доступ в Зону, в Харбин из СССР стали приезжать актеры, музыканты, лекторы с гастролями или курсами лекций. Папин брат, дядя Саша, решил на поездку к нам. К тому времени он уже не пытался работать юристом и зарабатывал на жизнь тем, что ездил по разным городам с лекциями о своей былой деятельнос-

ти защитника. И вот теперь он получил разрешение на несколько лекций в Харбине в январе 1925 года.

О дяде Саше надо рассказать подробнее.

Он родился в 1863 году и был на 12 лет старше папы. Находясь под сильным влиянием своего отца, он тоже получил юридическое образование и сперва стал прокурором. Но на этой должности долго не продержался: если он не был убежден в виновности обвиняемого, его речь в суде больше походила на речь защитника. На какое-то время дядя получил место судьи, не удержался и там и в конце концов ушел в адвокаты. Знакомый судья того уезда говорил: «...рад, что удалось убедить Александра Сергеевича бросить судебную службу, она его явно удручала. Где ему, с его святостью и болезненно-чуткою нервной организацией, творить нашу суровую повинность — он прирожденный защитник, и его место в адвокатской вольнице».

Став адвокатом, Александр Зарудный брался за политические дела или те, в которых усматривал нарушение законности со стороны властей, брался также за дела, связанные с преследованием национальных меньшинств.

Он составил себе по памяти список дел, которые вел с 1885 по 1917 год по всей России — от Восточной Сибири до Кавказа и Молдавии; список насчитывал 157 дел. «И было еще 265», — добавляет он. Как сказал о нем один из его коллег О. Грузенберг, «словно карета скорой помощи, носился он по слякоти и бездорожью политической юстиции».

При Временном правительстве в 1917 году Александр Зарудный был товарищем министра юстиции, но, не согласившись с политикой этого правительства, в мае ушел в отставку. В июле Керенский назначил его министром юстиции, но в сентябре он ушел снова. При советском режиме его спасло то, что Общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев¹⁷, пользовавшееся большим уважением, избрало его почетным членом. Какое-то время ему удавалось выступать защитником в советских судах, но вскоре он в них сильно разочаровался и прекратил это занятие. Женился он рано, но скоро развелся. Жил дядя Саша вместе со своим сыном Сергеем, которого обожал, и с сестрой Зоей, помогавшей ему в качестве секретаря.

Дядя Саша приехал в Харбин вскоре после Рождества в январе 1925 года. Мы встречали его на станции. Дядя был такого же роста, как

папа, с аккуратно подстриженной седой бородой, добрыми черными глазами и чудесной теплой улыбкой, которая нас всех сразу покорила. Мы знали, что он «знаменитость», и сперва немного его стеснялись, но все это быстро прошло. Дядя Саша умел прекрасно ладить с детьми, сам становясь при этом почти ребенком.

Для нас он был непрестанным источником радости. А. Бенуа в своих воспоминаниях называет дядю Сашу «неистовым»*. Жгучий брюнет, красавец, он неизменно становился душой любой компании и всегда мог расшевелить даже самых вялых и скучных гостей. Даже теперь, постарев и поседев, он все еще умел превращать самые простые вещи в необыкновенные. А какие фокусы, ручные и карточные, он нам показывал — сущий волшебник! Ежедневно для каждого из нас на столе появлялись маленькие сюрпризы. За столом он рассказывал удивительные истории, от которых мы не могли оторваться.

Однажды дядя Саша объявил, что мы будем разыгрывать подарки, которые он для нас привез. Свертки с ними лежали на полке в папиной комнате, а мы тянули билетки с номерами. После каждого номера дядя Саша шел в папину комнату и приносил сверток — удивительным образом оказывалось, что в нем подарок именно для того, кто тянул. Таня очень волновалась: а вдруг ей достанется вон тот подарок, какой-то мокрый и странно пахнувший? Но досталась ей кукла, как раз такая, о какой она мечтала. А мокрый сверток достался папе — там оказался омар! Таня все недоумевала — как же дядя Саша это делает? — и в следующий раз вынула два билетика сразу. Номер был один и тот же! Тут Таня поняла, что дядя Саша каждый раз меняет билетки, так что каждому достается его собственный. Но она никому не сказала и долгое время хранила эту тайну.

Катя только что научилась читать, и дядя Саша так поражался ее замечательному умению, что она вызвалась научить и его. Он оказался послушным учеником, учился очень старательно, но в конце концов мы ей подсказали, что он ее разыгрывает. Бедная Катя заплакала, убежала и спряталась в чулан. Потребовалось много времени, чтобы ее утешить.

В местных газетах появилось объявление о дядиных лекциях. Одна была о деле Бейлиса в 1913 году, другие — о расследованиях еврейских погромов и о других политических процессах, в которых ему доводилось уча-

* Бенуа А. Мои воспоминания. М., 1990. Кн. IV. С. 8.

ствовать. Лекции касались только дореволюционного времени. Местные газеты неодобрительно подметили это стремление ограничиться прошлым.

Мы ходили на все лекции — папа, Сережа и я. Меня поразил огромный зал, полный народу, громкие аплодисменты, когда дядя вышел на сцену — очень представительный, во фраке; поразила его свободная, задушевная манера рассказывать — будто наедине с нами в маленькой комнате, среди друзей, и при этом каждое его слово было слышно в самых дальних уголках зала. Говорил он о несправедливости и косности старого строя, о людях, безвинно осужденных, о тех, кто самоотверженно протестовал против несправедливости, об идеалистах, встававших на защиту прав угнетенных, о тех, кто верил в торжество истины и правосудия. Говорил он и о собственных действиях по защите таких людей. Аудитория, наэлектризованная его рассказом, слушала замерев, и в конце лекции раздались громовые аплодисменты. В жизни Харбина лекции Александра Зарудного стали важным событием. Я очень гордилась, что его племянница.

По ночам папа и дядя Саша подолгу спорили. Папа не мог примириться с жестокостью советского режима, и помню, как ночью, когда они оба уже легли, он кричал на брата: «Мне противно все, что делается в России!», а дядя пытался его успокоить. Но тесная связь между ними была несомненной.

Дядин визит скоро кончился, ему предстояло ехать с лекциями в другие города. Но память о его приезде осталась надолго. Мне становилось тепло на душе, когда я вспоминала его доброту, постоянную готовность выслушать обе стороны в любых спорах, его безграничную веру в окончательное торжество истины и справедливости, даже в самых мрачных обстоятельствах. От сознания, что в далекой России живет кто-то, кого мы знаем, кто нас любит, кто-то «наш», она казалась ближе.

На пути во Владивосток у дяди Саши украли чемодан со всей его выходной одеждой. «Кому-то мой фрак понадобился больше, чем мне», — писал он. Позднее, когда его сын Сережа женился, дядя Саша отдал свою комнату молодоженам, а сам, чтобы не выселять Зою, переехал в Дом политкаторжан, где и жил до конца своих дней.

Он умер в 1934 году, через два дня после убийства Кирова, и похороны его совпали с траурным кортежем, провожающим гроб Кирова на Московский вокзал для захоронения в Москве. Процессия с гробом дяди Саши вынуждена была ждать несколько часов, пока пройдет бесконечный

поток людей. Убийство Кирова послужило началом волны арестов, переросшей потом в сталинский террор, в котором погибли и многие обитатели Дома политкаторжан и наверняка погиб бы и дядя Саша, если бы не умер раньше.

Весна 1925 года

После заключения нового соглашения между СССР и Китаем политическая жизнь в Маньчжурии стала сложнее. Стало очевидно, что обе страны понимали условия договора по-разному.

В апреле 1925 года советский управляющий железной дорогой А.Н. Иванов распорядился уволить всех русских, не имеющих советского гражданства или документа о подаче прошения о нем. Уволили даже тех, кто подал заявление о китайском гражданстве. Демонстрация протеста, проведенная и русскими и китайцами, под недвусмысленной охраной китайской полиции, заставила Иванова отменить приказ, но стало ясно, что ситуация сложнее, чем казалась раньше.

Однако в школе явных проблем пока не было. Программа осталась в основном та же, и мы не осознавали грядущих перемен.

Мое свободное время занимали театральный кружок и поэтические выступления. Сценическая декламация была все еще очень популярна. В Харбине появился декламатор Ештин, который занимался чтением профессионально. Актер по образованию, он обладал очень странной манерой исполнения — почти пел стихи. Я была зачарована, и когда мне довелось с ним познакомиться, рассказала, как работаю сама над декламацией. Он попросил меня почитать, похвалил, предложил поучить своей манере исполнения. Я очень старалась, ему мое чтение нравилось, и однажды у нас в гостях он рассказал, что собирается открыть в Харбине театральное училище. Я тут же загорелась — мне так хотелось стать актрисой! — и осторожно приступила к папе: «Что бы ты сказал, если б я решила бросить школу и перейти в театральное училище?» Папа помолчал, а затем, стараясь не угасить моего энтузиазма, ответил: «Чтобы стать актрисой, конечно, нужен талант. Может быть, он у тебя и есть, но ведь профессию актера стоит выбирать, только если ты сможешь быть великой актрисой. А ты можешь точно сказать, что будешь такой же великой, как Комиссаржевская, а? Если нет, я бы не советовал бросать школу».

Настаивать я не решилась. Театр остался несбывшейся мечтой. Насколько я знаю, план Ещина о театральном училище так и не был реализован.

Весна пришла в том же знакомом звоне пасхальных колоколов. Многие из нас пошли в школьную церковь, зная, что служба идет здесь последний раз. Да и нельзя же упустить случай мальчикам и девочкам поцеловаться! Я по-прежнему помогала продавать свечи. К нашему огромному удивлению, мы увидели, как в церковь входит Устрялов. Он был на голову выше всех и виден отовсюду. Никто не ожидал, что директор советской школы покажется в церкви. С его стороны это был рискованный шаг. Я стала еще больше уважать Устрялова.

Антирелигиозная пропаганда шла вовсю, мы уже знали, что не полагается ходить в церковь и носить нательный крест, даже если его никто не видит, кроме доктора или медсестры.

Мне это претило — не то чтобы я была глубоко предана церкви, но религия, как я чувствовала, является очень интимным делом, и никто не смеет мне указывать, как поступать. Крест я, конечно, не сняла. Наоборот — ходила в церковь чаще, чем раньше, и продолжала помогать там. Теперь, когда церковь стали преследовать, я чувствовала, что должна быть на ее стороне, хотя бы в знак протеста.

В конце учебного года нам сказали, что срок обучения теперь сокращен. Вместо одиннадцати лет (трех в начальной и восьми в средней) теперь осталось только десять. Так вдруг оказалось, что в следующем году я кончу школу. Для младших классов разница была незначительной, но нам предстояло пройти два года за один, что представлялось почти невозможным. Мальчики, которые планировали поступить в Политехнический институт (единственное высшее учебное заведение в Харбине), с одной стороны, радовались, что попадут туда скорее, а с другой — боялись, что не успеют подготовиться.

Мне тоже предстояло принять решение о продолжении образования на год раньше, а вокруг царил полная неизвестность. Папа надеялся послать меня учиться в Бельгию, но я понимала, что это одни мечты, которые вряд ли сбудутся.

В одной из поездок папа разговорился с давней знакомой о своей семейной жизни. Эта дама упрекнула его, что он не ценит Маню и не задумывается о ее роли в доме. После разговора папа написал мне письмо о

том, как много для нас значит Маня, и о том, что его знакомая считает: он должен на Мане жениться. Я пришла в ужас и ответила ему следующее:

...Я прочитала твою «последнюю страничку» и, признаться откровенно, о том, что ты там приписал в конце, я давно думала и этого страшно боялась. Я верю, вижу, что сделала для нас Маня. Я ей очень благодарна и не одна я — мы все, мы ее любим и она нас, я в этом уверена. Мы как будто насильно взяли у нее эту любовь, эту привязанность тем, что как будто бы отняли невольно ее самостоятельность. Я все это отлично понимаю и чувствую, что то, что ты написал, ты уже давно обдумывал, уже давно этим мучился. Я это видела раньше, это предчувствовала и ужасно этого боялась, поэтому я всегда старалась избежать этих разговоров.

Писать, я думаю, и тебе и мне легче.

Маня всегда останется для нас той же милой, дорогой, доброй Маней, но то, что ты пишешь, не должно быть ни в коем случае. Пойми, это для всех нас будет очень, очень тяжело. Разве только Зоя и Катя не понимают еще этого, а все остальные... Я даже сказать тебе не могу, что это будет для нас. Ведь мы уже подрастает, я скоро кончаю, там уже я больше смогу помогать дома. Можно бросить этот Париж и всякие другие прекрасные фантазии, если они висят на шее... а может быть, наша жизнь может измениться к лучшему? Если нет, то я могу остаться, ведь, конечно, Маня не сможет дать детям то, что нужно. Я смогу облегчить ее жизнь, а там, смотри, и другие подымутся, и мы будем вас, наших дорогих воспитателей, холить и нянчить. Вот, папа, никогда не думай, не говори того, что ты написал. Я даже представить себе не могу, какое это впечатление произвело бы на всех. Для меня одно бы утешение было на то время, пока я с этой мыслью не примирюсь (может быть, много лет), уехать подальше. Не обижайся и не огорчайся, но знай, что для всех нас, кто хоть раз задумывался над твоей будущей жизнью в личном смысле, — было бы самое страшное именно это. Когда я прочитала, меня просто в холод бросило. Я дальше не могла читать и долго не верила, думала, что это мне показалось. Папа, мы сумеем все подтвердить нашу любовь к ней, мы сумеем ее заставить почувствовать себя родной в нашей семье. Я сейчас учусь. Ты не сердись, если я ей мало помогаю сейчас, но ведь, может быть, правда, что мне не придется учиться дальше (это сознание для меня страшно тяжело), и я стараюсь сейчас как можно больше сделать в училище и лучше воспользоваться возможностью учиться, а

после, после я уж все свое время посвящу на эту помощь. Ей надо самое главное не мешать и понимать ее усталость. Я помню один раз, когда я была с няней, а ты зачем-то звал Маню, няня сказала: «Без мамы вот живет, а без Мани не может!» Я знаю, что она всегда ворчит и особенно на Маню, вечно ее несправедливо осуждает, а ты подумай, какое у нас тяжелое напряжение будет дома, если няня и другие увидят оправдание своих опасений. Она будет восстанавливать маленьких против нее, внушать им озлобленность, да и сама, пожалуй, уедет совсем. Нет, папа, пожалуйста, не говори даже об этом. Если мы можем для нее что-нибудь сделать, пусть это будет сопровождено даже с лишениями с нашей стороны, мы сделаем, мы должны, но только, только не это...

Каждое слово в моем письме шло от самого сердца. Папа никогда об этом больше не говорил, но мое письмо сохранил.

КОНЦЕССИЯ НА СТАНЦИИ ЭХО

Маня с младшими детьми собирались провести лето в Хингане, одной из горных концессий при железной дороге, где жили папины знакомые. Я думала о спокойном лете, собираясь играть в теннис, слушать симфонические концерты в парке и читать. Все уедут, дома останемся только мы с Сережей, а няня будет готовить. Оставалось надеяться, что мы не будем очень ссориться.

Но в начале лета я неожиданно получила приглашение от одной нашей знакомой, госпожи Ильиной. Старшая из ее дочерей двенадцатилетняя Наташа (Тата) была подругой моей сестры Лены; младшей Гуле было девять лет. На лето мать собиралась отправить их к своему брату, г-ну Воейкову, тот жил в деревне на концессии Эхо и работал там агрономом на экспериментальном поле, выводя новые сорта риса и пшеницы, пригодные для маньчжурского климата. Был он холостяком, и его сестра считала, что девочки еще слишком малы, чтобы ехать туда одним, без присмотра. Поэтому она и предложила мне поехать с ними. Приглашение звучало заманчиво, и папа разрешил мне ехать.

Лето и впрямь оказалось интересным. Ни одного моего сверстника не было — только маленькие девочки и взрослые мужчины. Концессия состояла из одного большого дома и нескольких подсобных построек вок-

руг, а дальше шли опытные поля, на которых нанимались работать китайцы из близлежащей деревни. В деревне же был расквартирован небольшой отряд китайских солдат с одним офицером и пушкой, чтобы защищать поселение от набегов хунхузов.

Хунхузы стали серьезной угрозой для русского населения Харбина. Всех ужаснула история с молодым талантливым пианистом, приехавшим навестить родителей после обучения за границей. Он с успехом дал несколько концертов, а затем был похищен хунхузами, которые запросили непомерный выкуп. Родители оказались не в состоянии собрать столько денег, и хунхузы присылали им один за другим пальцы сына, а потом убили его.

Кухарка-китаянка готовила нам русские блюда. Молодой помощник Воейкова начал оказывать мне всяческое внимание. Было ему лет 35, и он поверял мне свои надежды и мечты. Впервые я начала чувствовать, как во мне зарождается что-то очень личное, какое-то чувство к этому человеку гораздо старше меня, которому я, очевидно, нравилась. Он вел себя очень учтиво и сдержанно, катал меня на лодке и часами беседовал со мной. Я была польщена и чувствовала себя почти взрослой.

С девочками проблем не было. Мы с Татой катались верхом на лошадях, принадлежавших концессии, часто ходили купаться на речку с крутыми песчаными берегами. Вода там была такой чистоты, что можно было разглядеть рыб и ползавших по дну раков.

Дядя девочек, господин Воейков, занимался своими полевыми работами, а остальное время читал и на нас обращал мало внимания. У меня было много свободного времени. Как-то раз, гуляя вдоль реки, я решила спрямить путь домой и влезть на крутой обрыв. Почти отвесный песчаный склон метров 10—12 с редкими кустиками травы и кустов — достойная задача! До середины я добралась без труда, цепляясь за кусты. Дальше кустов не было, а пучки травы, когда я за них хваталась, тут же вырывались с корнем. Песок под ногами уже начал скользить, еще немного — и я полечу вниз прямо на камни. Звать на помощь было бесполезно: никто не услышит. Я схватилась за пучок травы, точно зная, что выдерну и его, но прежде чем это случилось, я успела ухватиться за следующий. Казалось, все, что я делаю, невозможно. Выбравшись наверх, я просто не могла поверить, что мне это удалось. Но у меня появилось странное новое чувство — чувство уверенности, оставшееся со мной на всю жизнь. Уверенности, что в крайних ситуациях, когда ты рискуешь жизнью, у тебя появляются новые силы. Мне это происшествие снилось потом много месяцев.

Однажды утром, когда мы вышли к столу завтракать, Воейков тихо сказал, чтобы мы никуда от дома не отходили. Наши китайские «защитники» вместе с офицером и пушкой этой ночью ушли к хунхузам. Хотя взрослые старались говорить спокойно и нас не волновать, тревога чувствовалась. Вскоре приехала госпожа Ильина и забрала нас.

Через несколько лет Ильины перебрались в Шанхай, где Тата стала журналисткой. Позднее Тата — Наталия Ильина — навсегда уехала в Москву, окончила там Литературный институт и стала известной писательницей. Мать приехала к ней в Россию, а младшая сестра вышла замуж за француза и осела во Франции. Наталия Ильина несколько раз приезжала в Бостон и даже выступала у меня в доме с лекцией. Она умерла в 1994 году.

Воейков продолжал работать над своими опытными сортами и все-таки попал в руки хунхузов. Те потребовали за него выкуп, обращались жестоко, как и с другими своими пленниками, но в конце концов отпустили. Работать он больше не мог.

Последний год в школе

Вернувшись в школу после каникул, мы узнали, что мальчики и девочки теперь будут учиться вместе. Но наш класс, выпускной, соединять с классом мальчиков не стали, мы так и доучились отдельно.

С самого начала года я поняла, что программа безмерно перегружена и выучить все, что от нас требуется, особенно по математике и естественным наукам, невозможно.

К этому времени меня стали интересовать естественные науки. Читала я все еще медленно, и было понятно, что это не позволит мне охватить столько, сколько требуется для специализации в гуманитарных науках. Учителя хвалили мои сочинения, и мне очень нравилось их писать, но я все еще делала много ошибок. Я очень любила литературу, но времени на то, чтобы прочесть все, что надо, у меня не хватало. А в науке медленное чтение не такая уж помеха. Я решила заниматься техническими дисциплинами.

Многие девочки в моем классе учиться дальше не собирались, но я знала, что не только мама, но и ее родные и двоюродные сестры в большинстве своем получили высшее образование, и не могла себе представить собственного будущего без университета, впрочем, неизвестно ка-

кого и где. Однако все это было далеко впереди и до конца года могло еще многое случиться.

Физика и география меня восхищали. Строгие объяснения природных явлений, казалось, открывали новые горизонты. Но больше всего меня поражало, что не все еще было объяснено, что еще оставалось огромное поле для исследований. Мне казалось неимоверно романтичным, что прямо сейчас где-то есть удивительные люди, ученые, которые расширяют пределы наших знаний. В Харбине я не знала ни одного человека, занимавшегося научными исследованиями, но меня восхищало то, что где-то такие люди существуют. Однажды мне довелось прочесть маленькую заметку об Альберте Эйнштейне, и хотя я так и не поняла, что такое теория относительности, но меня потрясла сама мысль, что живет человек, который построил новую теорию, объясняющую принципы устройства вселенной. Я вырезала из журнала маленький портрет молодого Эйнштейна и повесила у себя над письменным столом. Мне он очень нравился и вдохновлял.

За стенами школы остро чувствовалась напряженность между русскими и китайцами. 16 января 1926 года по вине управляющего железной дорогой Иванова разгорелся новый скандал. Железную дорогу охраняли китайцы, и им полагались льготы на проезд. Однако, когда отряд в три тысячи человек загружался в вагоны, чтобы проехать по дороге, Иванов потребовал оплаты наличными, заявив, что часть груза они везут с коммерческими целями. Китайцы платить отказались, после чего Иванов отказался пустить их в поезд. Китайские власти его арестовали. Китайская сторона заявила, что советская не соблюдала паритета, что доходы с дороги размещались не в тех банках, в каких им полагалось быть, что Советы ведут коммунистическую пропаганду, чего не должны делать по соглашению. Однако на какое-то время все затихло — приехал новый советский управляющий, некоторые детали управления железной дорогой были определены точнее, и жизнь пошла более или менее по-прежнему.

Меня выбрали председателем физического кружка. Членами кружка были и мальчики и девочки, но отношения между ними были все еще далекими и немножко неловкими. Теперь я хранила у себя ключ от физического кабинета, где мы собирались по субботам. Мы по очереди читали доклады на темы, немного выходившие за рамки школьной программы, пробовали делать опыты, обычно те, что были подробно описаны в наших работах и с заранее известными результатами.

Рядом с физическим кабинетом располагалась маленькая мастерская, где чинили оборудование. Я научилась работать на маленьком ножном токарном станке и выточила много крошечных подсвечников из медных палочек, которые мне разрешали там брать.

Удивительно хорошо было прийти в почти пустую школу и иметь право пользоваться инструментами, телескопом, физическими приборами. Но самым замечательным была возможность подойти поближе к статуе лошади в зале на втором этаже. Ни разу в жизни я не была в музее, скульптуры видела только на фотографиях, и эта дивная фигура бредила мое воображение. Я посвящала ей стихи — тайно, чтобы никто не знал. Я сфотографировалась вместе с ней. Она говорила мне о вольной жизни в бескрайних степях, о которых я только читала в книгах, но никогда не видела, и каким-то странным образом во мне пробуждалась тоска по родине, любовь к далекой стране, жажда подвига. Я мечтала посвятить себя «священной» профессии учителя, стать безымянной героиней...

Своим портативным фотоаппаратом я много снимала, и все просили меня сделать фотографию для них. Печатала я сама, и мне пришла в голову идея: надо, чтобы у каждой из нас остался альбом с нашими фотографиями последнего года. Мы закажем маленькие альбомы для фотографий с эмблемой школы, и каждая девочка вклеит в свой альбом портреты всех наших учителей, всех своих друзей, и еще останется достаточно места, чтобы все что-нибудь написали. Я всех сфотографирую, а карточки напечатаем на заказ. Идея была горячо подхвачена. Я собрала деньги и начала фотографировать.

Работа так меня поглотила, что для своего собственного альбома я собрала только несколько коротких записей. Наш учитель литературы Н. Годнев написал: «Вы увлекаетесь наукой, но не забудьте, что по самой природе Вы прежде всего словесница, и искусство, а следовательно, и литература должны занять в Вашей жизни первое место».

На следующей странице пишет учитель математики Л. Петров: «Я присоединил бы свою подпись к подписи Н.Г., если бы слово “литература” было заменено словом “наука” (и его производными) и наоборот. Л. Петров». Директор нашей школы Устрялов снят за своим директорским столом. Рядом с фотографией написано: «Levis haustus philosophiae ducit ad atheismum, plenus ad Deum (Bacon)» («Поверхностное изучение философии ведет к атеизму, глубокое — к Богу (Бэкон)»). Латынь мы не проходили, но надпись я поняла и поразилась, что такое написал директор

советской школы. Альбом сохранился у меня до сих пор, и мне жалко, что я уже не помню имен многих из тех, кого я тогда фотографировала.

Весной я влюбилась в мальчика — сейчас я даже не помню его имени. Мы виделись на занятиях физического кружка и часто встречались в школьных коридорах. Он был мой ровесник, но на класс младше меня. Каждый раз, когда я его встречала, у меня замирало сердце. Я была очень застенчива, и самое большее, на что я отважилась, это дать ему почитать сборник своих любимых стихов, где подчеркнула отдельные строчки, выражавшие мои чувства к нему, чтобы ему было понятнее. Он ответил тем же. Один раз он проводил меня до дому, донес мои книги и, прощаясь, быстро поцеловал в щеку. Я была потрясена.

В конце учебного года администрация школы решила не проводить выпускных экзаменов, которые сдавали все остальные выпускники в Харбине, потому что стало очевидно, что мы их не сдадим.

На выпускной вечер нам позволили надеть белые платья. Но радость омрачало то, что департамент образования отказался выдать нам школьные аттестаты на том основании, что мы не сдавали экзаменов.

Мальчики, собиравшиеся подавать документы в Харбинский политехнический институт, должны были сначала сдать экзамены за среднюю школу, а затем вступительные по математике, физике и химии — как раз по тем предметам, которые мы не прошли за год. Выпускные экзамены предстояло сдавать при департаменте образования осенью. Сдавать разрешалось любому, кто хотел получить аттестат. Некоторые из моих друзей, в том числе и Маргарита Сечкина, решили сдавать экзамены и немедленно принялись за работу.

Мы с папой долго спорили, надо ли мне записываться на частные подготовительные курсы. Папа не видел в них никакого смысла. Он не мог себе представить, что я стану студенткой инженерного института, где полагалось до окончания получить диплом машиниста железной дороги, а студенческая практика включала работу кочегаром на той же дороге. Он все еще надеялся отправить меня учиться за границу. Впрочем, теперь он уже понимал, что средств на это не хватит. Он даже написал дяде Саше письмо, где спрашивал, нельзя ли мне приехать в Ленинград и поступить в Ленинградский университет. Дядя Саша был полностью за и даже прислал кое-какие материалы по диалектическому материализму, чтобы я могла подготовиться к вступительным экзаменам. Родственники решили, что в Ленинграде я поживу у маминой сестры, тети Любы. Но папа от-

правлять меня в Ленинград пока не хотел. В конце концов мы отложили решение и записали меня на дополнительный год учебы в школе, который давал право преподавания в младших классах. Я надеялась, что мы теперь познакомимся с тем мальчиком поближе, он ведь был на класс младше меня.

Лето началось спокойно, мы отдыхали от напряженного учебного года. Я стала подрабатывать репетиторством, а когда папа спросил, что я собираюсь делать со своими заработками, я решила, что заплачу за Танины уроки скрипки. Расходовать деньги на себя казалось нехорошо, но я все-таки хотела потратить их по своему усмотрению. Игра на скрипке была моей давней мечтой, и я считала, что если буду слушать, как занимается Таня, мечта частично сбудется.

Одной из трудностей репетиторства был договор с родителями учеников об оплате. В Харбине ходили три типа денег: русские рубли, маньчжурские, так называемые «мексиканские», доллары и японские иены. Был известен их курс друг относительно друга, но он менялся день ото дня, и при неверном договоре легко было оказаться в проигрыше.

Папу беспокоило, что уроки иностранных языков в школе не дают нам разговорных навыков. По-французски он заставлял нас читать вслух и помогал с произношением, но в английском он сам был не очень уверен. Однажды он объявил, что к нам теперь будет приходить учительница, чтобы заниматься с нами разговорным английским.

Учительница оказалась русской, молодой и очень приятной. Воспитание она получила в английском монастыре в Китае. Приходила она раз в неделю на два часа. Мы все шестеро, от восьмилетней Кати до меня, семнадцатилетней, собирались вокруг нее. Разговаривать по-настоящему не получалось. Мы выучили несколько песенок, ходили гулять и по очереди рассказывали что-нибудь интересное. Не могу сказать, насколько ее уроки помогли изучить английский, но думаю, что они помогли нам сломать нежелание выражать мысль на иностранном языке. Я очень полюбила нашу учительницу, которая стала моей первой старшей подругой. Но эти встречи продолжались меньше года — она уехала в Шанхай.

Папина работа продолжалась без изменений. Ответ на его заявление о предоставлении гражданства еще не пришел. На улицах появилось больше китайских солдат. Ходили слухи, что некоторые советские граждане были арестованы за «коммунистическую пропаганду». Я этих людей не знала, думаю, что и папа не знал, то есть нас это напрямую не коснулось, но

ощущение подозрительного отношения со стороны китайской полиции стало привычным. Мы уже научились, разговаривая с людьми, все время помнить о том, какое у них гражданство, и соблюдать осторожность.

Когда я достигла нужного возраста, то подала заявление на получение советского паспорта и получила его. Теперь перспектива моего отъезда в СССР стала вырисовываться как реальная.

Маргарита Сечкина учила французский и эсперанто, готовилась к экзаменам на аттестат и собиралась в Брюссель, где позднее и поступила в университет. Моя мечта сбылась, но не у меня. Я все еще надеялась, что смогу присоединиться к ней через год или два.

В августе папа уехал в долгую командировку, а я с замиранием сердца ждала начала школьных занятий, думая о встрече с предметом моей любви, которого не видела все лето.

Наступил первый день занятий, и, к моему жестокому разочарованию, друг мой не обратил на меня никакого внимания. Теперь во время перемен он гулял с другой, незнакомой мне девочкой. Я выдержала это два дня и осознала, что у папы никогда не будет денег, чтобы послать меня учиться куда бы то ни было, и лучше сразу поступить в Политехнический институт, используя единственный имевшийся в моем распоряжении вариант. Я позвонила отцу Маргариты Сечкиной, который работал ученым секретарем Политехнического, и объявила о своем решении. Поступить было еще не поздно, но, как он сказал, для этого придется сдавать все экзамены наравне с теми, что занимались все лето.

Я посоветовалась с учителем математики Л. Петровым. Мы вообще не проходили тригонометрию и не закончили курсы алгебры и стереометрии — на вступительных экзаменах все это полагалось сдавать. Поступать я решила на электромеханический факультет. Это было ближе к физике, но требования тут были выше. Экзамены на аттестат о среднем образовании начинались через две недели, кажется, их было десять или двенадцать устных и письменных; на все экзамены полагалось десять дней. Те, что сдадут экзамены, могли сразу вслед за этим сдавать вступительные. У меня оставалось три недели, чтобы выучить по математике все, что я не знала, сдавая при этом другие экзамены.

Никогда в жизни я не работала так много и не спала так мало. Петров, мой учитель математики, предложил мне свою помощь и часами объяснял то, чего я не знала. Начались экзамены. Теперь я читала и писала конспекты ночами, а днем сдавала экзамены и пыталась еще втиснуть куда-

нибудь занятия математикой. Стало известно, что спрашивать будут по программе старых русских школ. Это означало, например, что на одном из экзаменов будут вопросы по прежнему законодательству, касавшемуся частной собственности. Законы эти уже шесть лет как были отменены. Политическая экономия не имела ничего общего с тем, чему нас учили два последних года. Учителя открыто допускали послабления по этому предмету, что и проявилось на экзамене. Я не успела прочесть рекомендованный учебник по политической экономии, а Маргарита прочла его очень тщательно. Накануне экзамена она час пыталась втолковать мне, про что там написано. Я сдала экзамен блестяще, получив лучшую оценку, чем она.

Все эти недели мне безмерно помогала Маня: сидела со мной, даже по ночам, помогая не спать; без всяких просьб приносила чай и бутерброды, когда я сидела в столовой, обложившись книгами и конспектами.

К 1 октября все было кончено. Я сдала экзамены и была зачислена на электромеханический факультет института. Папа, вернувшись, застал меня уже студенткой, что вызвало у него и удивление и гордость.



ГЛАВА 19

ИНСТИТУТ, 1926—1930

Пока я сдавала экзамены и не замечала, что творится вокруг, в Харбине происходили события, не предвещавшие ничего хорошего.

В сентябре 1926 года Китай захватил русский речной флот со всеми службами на Сунгари. СССР заявил протест, но безрезультатно. Этой же осенью Китай полностью взял в свои руки и управление образованием в зоне КВЖД, заявив, что до того оно использовалось в целях коммунистической пропаганды, вопреки соглашению. Многие русские, у которых не было советских паспортов, в том числе часть наших друзей, уезжали из Харбина в другие города Китая, в основном в Шанхай.

Вскоре после выпускных экзаменов уехала в Бельгию Маргарита Сечкина. Я осталась без единого близкого друга. Все надежды уехать из Харбина были нереальны. Политехнический институт был последним прибежищем: он позволял не тратить времени впустую и продолжать образование, хотя пошла я туда не совсем по свободному выбору. Я все больше понимала, что Харбин для меня — тупик, что надо выбраться из него, но пока радовалась знакомству с новыми людьми. Память о моей прошлогодней любви еще меня мучила.

Лекции в институте начались 1 октября. Массивное серое здание института с высокими потолками и большими окнами наполнилось студентами. Многие носили студенческую форму — черные сюртуки с золотыми пуговицами и кантами: зелеными для инженерного отделения и синими для нашего, электромеханического. Сразу можно было распознать своих «коллег», как мы друг друга называли. Носить форму было необязательно, но я помню, как завидовала юношам: мне тоже хотелось походить в таком сюртуке. На нашем курсе из 60 человек была, кроме меня, еще только одна девушка — Юля Круглова. Мы были с ней в хороших отношениях, она часто приходила к нам домой, но за пять лет института мы так по-настоящему и не сдружились.

Я не чувствовала никакой неловкости оттого, что была почти единственной девушкой в мужском окружении. У нас были общие интересы, экзамены я сдала с высокими оценками и не отставала от сокурсников ни в математике, ни в черчении, ни в других предметах. Поэтому они относились ко мне как к хорошему товарищу, и я держалась с ними на равных.

Программа была трудной: двенадцать предметов на первом курсе, и все — технические. Выбирать не разрешалось, предметы были обязательны. Своих учебников мы не имели, можно было пользоваться ими только в библиотеке, поэтому все обучение строилось на конспектах лекций. Домашних заданий практически не давали. Все лекции читались по-русски, кроме курса китайского языка в течение одного семестра. Для китайских студентов были двухгодичные подготовительные курсы по русскому, математике и черчению.

Посещения лекций никто не контролировал, но по окончании семестра полагалось сдавать экзамен — не обязательно в эту сессию, можно и позднее, но в определенном порядке. Студенты записывались на экзамен, когда считали, что готовы, и отвечали у доски. Экзамены проходили открыто — другие студенты могли при желании прийти послушать. Сессии проходили в конце каждого семестра и осенью, то есть можно было откладывать экзамен несколько раз, а провалившись, прийти сдавать снова. В результате многие студенты учились по пять и больше лет, осваивая четырехгодичную программу. После окончания курса один год отводился на дипломный проект. Защита диплома происходила тоже открыто перед комиссией преподавателей и железнодорожных инженеров. Каждое лето полагалась обязательная практика.

Мы засиживались до поздней ночи над книгами в библиотеке или в чертежной мастерской, тщательно вычерчивая тушью и акварелью чертежи для курсовых работ. Чертежи делались на больших листах бумаги — ее сперва смачивали, затем приклеивали по краям к чертежной доске. Бумага высыхала и натягивалась, как на барабане. После нескольких месяцев, по завершении работы, чертеж опять смачивали, высушивали и отрезали от доски — чистый и сияющий. Предполагалось, что по этим чертежам токарь может выточить нужную деталь. Мне эта часть работы ужасно нравилась. Защищать свои работы тоже полагалось перед группой преподавателей.

Я постоянно носила в кармане маленький угольник, линейку и даже транспортир. Один из моих сокурсников как-то рассказал, что во время оперного представления он поглядел с балкона вниз и увидел в партере

мою голову с таким ровным пробором, что подумал, не по этой ли линейке я его провожу.

Все дети в нашей семье теперь посещали учебные заведения, и плата за обучение отнимала значительную часть доходов отца. Словно чувствуя, что времени осталось не так уж много, он прикладывал все силы, чтобы поставить нас на ноги, — ведь кто мог знать, что нас ждет в будущем? Но самое главное — он старался удержать нас вместе, чтобы мы могли надеяться друг на друга. «Важнее любить, чем быть любимым», — часто повторял он.

Помимо нелегких занятий мне еще надо было зарабатывать деньги. Я вновь взялась за репетиторство — натаскивала старшеклассников, провалившихся по математике, и хорошо в этом поднаторела. На заработанные деньги я могла покупать все, что нужно было для собственных занятий, и по-прежнему платить за Танины уроки скрипки.

Сестры мои постепенно выросли. Лене шел четырнадцатый год. Вокруг нее было много друзей — и девочек и мальчиков, поскольку теперь учились вместе, — они приходили к нам домой, и разговоры за ужином проходили с ними очень весело. С ранней весны до поздней осени теннисный корт у нас во дворе никогда не пустовал. Лена, как всегда, много читала, но теперь по ней было хорошо заметно влияние советской школы — она читала новую прозу, приходившую из России, учила стихи поэтов, о которых я даже не слышала. Особенно же сильно влияние советской школы сказывалось на младших. Папа принимал неизбежность этого, однако пытался что-то этому процессу противопоставить.

Сережа учился теперь в предпоследнем классе. Учиться ему было явно скучно, друзей у него было мало, а советского влияния он не принимал. От всего этого ему было тяжело и тоскливо. Он очень страдал от грубости и насмешек своих одноклассников и не мог даже повторить, что они говорили. Папа всегда требовал, чтобы он вел себя как воспитанный человек по отношению к сестрам, и Сережа, хотя и ненавидел драться, все равно то и дело кидался в драку, «защищая честь своих сестер», если ему казалось, что кто-то о нас недостаточно уважительно отозвался. Девочек так оберегали от любых грязных слов, что Сережа как-то сказал мне, что я вообще не знаю «настоящего» русского языка, и был прав. Чтобы узнать значение русских ругательств, мне, уже в Америке, пришлось купить «Словарь русского сквернословия», составленный студентами Гарварда*.

*Dictionary of Russian Obscenities. Cambridge (Mass.), 1977.

Учился Сережа превосходно, любил историю и романтическую литературу. Любимым его героем был Сирано де Бержерак из драмы Ростана, и несколько его монологов Сережа знал наизусть. Мы с братом всегда были очень разными, но я его любила, и меня беспокоили его консерватизм и пессимистические взгляды — мне казалось, что ему не хватает реального ощущения жизни. Мы оба любили нашего отца, но по-разному. Меня привлекали в папе глубина чувств, либерализм, благородство духа, в то время как Сережа видел в нем гордого аристократа, бывшего морского офицера и любящего, но строгого отца.

Джентльменское поведение по отношению к сестрам Сережу иногда откровенно тяготило, мы все еще с ним по-настоящему дрались, к огромному огорчению папы, Мани и старенькой няни. Мне казалось, что Сережа нарочно набивается на драку, бравируя своим консерватизмом и высмеивая мои левые взгляды. Как-то раз папа, особенно рассердившись из-за нашей драки, в наказание велел Сереже взять книгу, пойти к нему в комнату и не выходить, пока не выучит наизусть весь первый акт «Горя от ума». Комедию Грибоедова мы к тому времени уже читали много раз. Сережа сердито взял книгу и ушел к папе в комнату, хлопнув дверью. Мрачная тишина повисла над домом, поскольку наказывали нас не часто. Прошло два часа — Сережа не выходил. Это уже было слишком. Прошел еще час. Он там навсегда, что ли, решил остаться? Еще через час Сережа вышел с победным видом, протянул книгу папе и заявил, что выучил все четыре акта.

Когда радость новизны институтской жизни немного поутихла, я стала чувствовать, что все мое обучение в институте — лишь «обучение», а не образование, во всяком случае не то, что я считала необходимым для образованного человека. Вот я выйду из института — и кем я буду? Инженером, то есть, по моим понятиям, узко ориентированным на технические задачи специалистом, человеком без широкого кругозора.

По вечерам в здании института шли занятия Юридического факультета. Я попробовала ходить туда на лекции профессора Устрялова по общей теории права. Лекции его пользовались заслуженной славой, он был замечательный оратор. Меня захватывали его манера изложения, его красноречие, поэтические примеры. Но времени на чтение по его предмету у меня не было, я чувствовала недостатки своих знаний, от этого очень огорчалась и скоро бросила туда ходить, чувствуя себя все более и более далекой от настоящего образования.

Тогда я стала посещать театральный кружок, где собирались студенты с более широкими интересами. Выйти на сцену по-прежнему было для меня огромным переживанием. Я стала искать среди своих соучеников таких, которые, как и я, тянулись бы к литературе и искусству, отсутствующим в нашей программе, а если находила, то звала таких студентов к нам домой. Я надеялась, что у нас получится что-то вроде семинара, где мы бы по очереди читали доклады о литературе, психологии, музыке и т.п. Может быть, Ленины друзья нас послушают, а то и захотят к нам присоединиться... Понятно, что дом, полный молодежи, в основном молодых девушек, был очень притягателен для мальчиков из почти чисто мужского института.

Наш первый «семинар» состоялся вскоре после моей первой сессии, в январе 1927 года у нас в гостиной, в которой, вообще-то, жили я и Лена. Из присутствовавших на нем я помню Юру Айнгорна, он был на курс старше меня, позднее уехал в Москву и, наверное, погиб в годы террора; Василия Прянишникова, который потом эмигрировал в США, получил докторскую степень в университете Мичигана и стал профессором в Стэнфорде; Николая Оглеснева, окончившего жизнь в Германии; Евгения Шматова, уехавшего в СССР и погибшего на Колыме; Константина Колтовера, тоже погибшего в ГУЛАГе; Михаила Бакича, студента-архитектора, поэта и актера, позднее эмигрировавшего в Австралию, где он работал архитектором; Георгия Шакуту, тоже на курс старше меня в институте, он уехал в СССР, и судьбы его я не знаю. Позднее к нам присоединилось несколько Лениных одноклассников: Лера Соловьева, Таня Густова вместе со своим братом Львом Густовым, молодой поэт Лев Барсов и Таня Аблова, которая позже вышла замуж за Михаила Бакича. Она эмигрировала с ним вместе в Австралию, а все остальные из этих одноклассников Лены так или иначе оказались в СССР, и судеб их я не знаю.

В тот первый вечер (да и во многие последующие) комната была забита до отказа. Говорили мы, кажется, о психологии сновидений. Потом Маня угощала нас чаем с вареньем и бутербродами, к чаю вышел папа, и за столом мы все продолжали оживленную дискуссию.

С годами мы сдружились очень тесно, некоторые друзья приходили к нам чуть ли не ежедневно и уж точно каждый выходной. Они стали нам как родные, папа и Маня принимали участие во всех их проблемах. Всю жизнь потом иные из них вспоминали папино влияние.

Папа внимательно следил за новостями из России: там начиналась диктатура Сталина, ужесточалась цензура, кончался НЭП. От всего это-

го папа приходил в ужас. В былое время многие члены его семьи боролись против несправедливости, деспотии и жестокости властей, то есть в самой оппозиционности правительству для него ничего нового не было, но теперь... Все казалось таким безнадежным, что страшно было и думать, что его дети могут разделить эту участь, и папа надеялся уберечь нас как можно дольше.

Он получил несколько предложений работы от своих бывших сослуживцев из Советского Союза (сейчас я допускаю, что эти приглашения были инспирированы советскими секретными службами, чтобы заполучить его). Но, не будучи пока советским гражданином, папа никак не реагировал на эти приглашения. Возможно, он знал, что сейчас ему не время возвращаться в Россию. В письмах из Ленинграда дядя Саша писал папе, что ему наверняка уже отказано в гражданстве, просто власти ждут удобного момента, чтобы сообщить об этом.

Я не знаю, что именно относительно нашего будущего предпринимал папа в то время. Знаю, что он писал мистеру Крейну, описывая, как мы живем, и, в частности, сообщал, что будет рад любой работе в любом месте земного шара. Я уверена, что он спрашивал о работе у всех, кого встречал в своих редких командировках. В Харбине найти новую работу было совершенно нереально.

Нам папа уже казался старым. Хотя его кипучий энтузиазм с годами не угас, но он, сутуловатый, теперь совсем сгорбился, и видно было, что ему трудно дышать. Мы все боялись за него, когда, вдруг резко всплыв, что обычно с ним случалось от малейшей Сережиной строптивости, он уходил к себе в комнату и шагал там из угла в угол, пытаясь отдышаться. В конце концов он овладевал собой и мог спокойно поговорить с виновным, но мы знали, что у него слабое сердце, и такие эпизоды всех пугали.

Однажды в апреле 1927 года папа принес домой газету с тревожными новостями: маршал Чан Кайши приказал произвести обыск в советском посольстве в Пекине и в помещениях Дальбанка и КВЖД. Это было предвестием грозы.

1927 год

Меня стало серьезно тревожить Сережино душевное состояние. Он непрестанно говорил, что мир отвратителен, люди злы и жить незачем. Мои аргументы его не трогали. Я и сама часто отчаивалась и горевала,

что нет возможности как-то планировать будущее, но даже в самые мрачные времена я все-таки верила, что найдется тот или иной выход для моей энергии, понимала, что надо готовиться к этому будущему.

Мне представлялось, что если Сереже в школе так плохо, надо ее бросить. Ему бы в хорошую художественную школу или в университет... Но художественных школ в Харбине не было, а в таком состоянии, в каком он находился, рисковать и пробовать что-нибудь еще ему не стоило. Советского паспорта у него не было просто по возрасту. Да и вообще папа считал, что Сережа еще слишком молод, чтобы куда-то уезжать от семьи. Единственным выходом, как мне казалось, был Политехнический институт. Он давал диплом и возможность работы. При Сережиных способностях к математике, физике, черчению он вполне мог, позанимавшись летом, сдать осенью и выпускные, и вступительные экзамены. Я уже знала, как это делается, и была уверена, что и он легко справится.

Долго убеждать брата не понадобилось. Сережа взялся за дело и усердно занимался все лето.

В это лето правительство СССР отозвало свое посольство из Пекина. Советское консульство в Харбине пока оставалось. Стала весьма ощутимой неприязнь китайских властей к советским гражданам.

Я записалась на сдачу нескольких экзаменов в осеннюю сессию, а Сережа, очень хорошо сдав все экзамены, поступил на электромеханический факультет и чувствовал себя намного лучше, чем прежде в школе. Новый учебный год мы начали вместе.

Поскольку институт существовал на деньги железной дороги, все студенты обязаны были иметь либо советское, либо китайское гражданство. У меня паспорт уже был, а Сережа, хотя по возрасту паспорта еще не имел, все равно подпадал под советскую квоту, поскольку папа подал заявление о советском гражданстве. С тех пор, правда, прошло уже много времени, и было ясно, что ему откажут, но пока он сохранял свое место служащего на железной дороге по советской квоте, и мы могли посещать советские учебные заведения.

Советские студенты института организовали вечернюю школу для советских рабочих, чтобы те могли получить аттестат о среднем образовании. Аттестат давал право сократить сроки военной службы, обязательной в СССР. Активисты вечерней школы, похоже, все были коммунисты. Я пишу «похоже», потому что членство в партии держалось в секрете от беспартийных. Я чувствовала, что члены этой группы принадлежат к ка-

кому-то сообществу, большему, чем наш замкнутый круг харбинских эмигрантов. Их горизонты простирались на всю огромную Россию, а мой ограничивался чужой Маньчжурией. И кроме того, они были мне чужды, а чем, я даже не могла бы объяснить. Мне хотелось быть такой, как они, но я знала, что такой никогда не стану: и по внешности, и по манерам, и даже по языку я отличалась от них.

Тем не менее мне предложили вместо частных уроков поработать в вечерней школе, и я с радостью согласилась. Кроме меня в школе преподавали еще двое из круга друзей, собиравшихся в нашем доме, — Шакута и Шматов. Среди учителей-мужчин я была единственной учительницей. Преподавала я алгебру, геометрию, тригонометрию и физическую географию.

С самого начала нам сказали, что придерживаться мы будем советской программы, при этом все знали, что городским образовательным властям признаваться в этом не надо. В портфелях у каждого из нас на всякий случай лежали тексты старого образца. Но хотя я и была посвящена в тайны конспиративного преподавания, все равно не чувствовала себя близкой остальным учителям. Несколько раз мы собирались во внеурочное время, и я всегда ощущала себя посторонней на этих встречах.

Зато мои ученики мне нравились — в большинстве своем они были моими ровесниками или немного старше. Работа на железной дороге кончалась поздно, и многие приходили на уроки прямо со смены, наскоро перекусив по пути. Они так уставали, что засыпали за партами, и уроки приходилось вести очень живо, чтобы не дать им уснуть. Каждый вечер бывало по два-три урока, и кончались занятия около девяти часов, при том что рабочий день у большинства начинался в семь утра. Да еще домашние задания...

Часто после вечерней школы я возвращалась в институт, чтобы еще почертить в чертежной мастерской. К этому времени там оставалось уже совсем мало народу и можно было поработать не отвлекаясь. Но если в чертежной задерживался кто-то из моих друзей, разговор мог затянуться за полночь. Если кто-нибудь из мальчиков предлагал проводить меня домой, я гордо отказывалась — мне не хотелось, чтобы меня как-то выделяли из всех. Поздние возвращения, однако, были небезопасны — лучше было не встречаться с китайскими солдатами. Они обязательно стали бы выкрикивать русские бранные слова, которых я не понимала, а то и хватать руками. Ничего более агрессивного с их стороны вроде бы не про-

исходило, но все равно было страшно. Помня китайскую пословицу: «Из хорошего железа не делают гвозди, хороший человек не пойдет в солдаты», я старалась одеваться, как мужчина. Носить брюки для девушки тогда было немыслимо, у меня их и не было, но я надевала длинный плащ и мужскую шляпу, убирая под нее волосы.

Дома уже все спали, когда я приходила, и каждый раз меня ждал на столе ужин, заботливо припасенный Маней.

В Харбине стало гораздо больше китайских солдат. К концу учебного года политическая ситуация в Зоне заметно ухудшилась. В июне умер маршал Чан Дзолин, который подписывал договор с СССР. Китайские войска открыто двигались по железной дороге в направлении советской границы, и уже произошло несколько пограничных инцидентов. Поговаривали о забастовке советских служащих.

Нашему курсу предстояла на это лето практика в паровозном депо в качестве механиков или помощников механиков. Рабочие в депо готовились к стачке, и было очевидно, что студентов станут использовать как штрейкбрехеров. В этом случае студентам с советскими паспортами пришлось бы поддержать рабочих и отказаться от практики.

ДАЙРЕН. ЛЕТО 1928 ГОДА

Папа уже давно мечтал отправить нас на лето на море. Ему хотелось, чтобы мы повидали Японию, но путь туда был закрыт. Тогда папа стал выяснять, нельзя ли послать нас в Дайрен — город Дальний, выстроенный русскими на южном побережье Ляодунского полуострова, на самой оконечности которого располагался Порт-Артур. После Русско-японской войны, когда Россия потеряла Порт-Артур и Южно-Маньчжурскую железную дорогу, и сам город, и все его окрестности перешли в полное владение японцев, которые тут же сменили его название.

Будущее грозило неизвестно чем, политическая ситуация в Харбине была тяжелой, денег в обрез, но папа решил, что больше ждать нечего. Один из его японских друзей, г-н Коно (Коно-сан) ехал в Дайрен и обещал найти для нас жилье.

После долгих обсуждений семейного бюджета папа и Маня пришли к такому решению: Маня едет со всеми детьми, а папа остается работать в Харбине, и няня будет ему готовить. Меня тревожило, что я тем самым

пропущу практику, но папа настаивал, и я сдалась. Он, наверное, старался таким образом уберечь меня от политических столкновений, да и работа в качестве ремонтника паровозов была, по его понятиям, не совсем подобающей для молодой девушки.

Папа взял ненадолго отпуск, и 16 июня 1928 года все шестеро детей вместе с папой и Маней сели в поезд, идущий на юг. Коно-сан встретил нас в Дайрене и отвез в японскую рыбацкую деревушку, где для нас уже были сняты две комнаты на втором этаже японского дома.

Дом стоял неподалеку от песчаного побережья бухты. Лестница наверх шла снаружи и заканчивалась небольшой площадкой перед нашей дверью. На этой площадке готовили еду, для чего использовали печку хибати, которая сперва повергла Маню в затруднение. Впрочем, она скоро освоила эту науку. Комнаты отделялись раздвижными перегородками «содзи» из бумаги, натянутой на бамбуковую рамку. На полу лежали соломенные циновки — «татами». Из мебели в комнатах стоял только один низенький стол, на котором можно было есть или писать, сидя на полу. В качестве постели использовался «футон», а на день все futony скатывали и складывали вдоль стен. В доме обуви не носили, и когда мы все входили внутрь, то у входа вытягивалась длинная цепочка японских соломенных сандалий. Водопровода не было, воду брали из колодца во дворе, там же во дворе был и туалет. Короче говоря, нам предстояла подлинно японская деревенская жизнь.

Папе вскоре надо было возвращаться. Он прожил с нами несколько дней и использовал все свое знание японского языка, чтобы столковаться с хозяином и местными рыбаками. Папа нанял для нас лодки с веслами, которых было очень много в бухте, узнал про лавки и про транспорт и 26 июня вернулся в Харбин. Он наказал нам получше познакомиться с деревней и с Дайреном, отдыхать, научиться плавать, заниматься, читать, не ссориться, слушаться Маню и помогать ей, а главное — почаще ему писать.

Коль скоро нас было семеро, я составила расписание, закрепив за каждым свой день недели, чтобы писать папе, так что папа каждый день получал письмо.

У каждого из нас на лето было свое задание. У меня был список книг, которые надлежало прочесть, Сергей намеревался изучать японский и азбуку Морзе, Лена собиралась учить Зою русской грамматике, Таня продолжала играть скрипичные упражнения, и только Катя просто играла, читала и писала письма.

Из письма Лены: «Сергей с Таней занимаются телеграфом и японским языком. Кроме того, Сергей разглагольствует о действии ультрафиолетовых лучей. <...> Муля в отчаянии, что ей все время приходится внушать нам: одному, что нельзя пить Интернационал, другому, что нельзя писать в темноте, третьему, что нельзя есть сгущенное молоко, четвертому, что нельзя дразнить Катю, пятому, что во время расстройства желудка нельзя есть слишком много бананов и т.д.»

Я очень серьезно относилась к своим обязанностям заботиться о благополучии младших.

Как-то раз мы с Маней пошли в баню. Нам не терпелось смыть соль с тела и с волос. До деревни доехали на автобусе и без труда нашли баню — длинное одноэтажное здание. Мы заплатили привратнице за вход — мой японский уже был достаточен, чтобы спросить о цене, — и нас провели в большую комнату с бассейном посередине. Вся комната была полна голых японских женщин. Они черпали воду небольшими ведерками, намыливались, а потом осторожно сходили в бассейн, чтобы ополоснуться. От мужской половины наша комната отделялась хрупкой бумажной перегородкой.

Маня была в ужасе и раздеваться при чужих не хотела ни за что. «Должны же тут быть отдельные ваннные комнаты», — сказала она и велела мне пойти спросить у привратницы. У меня был с собой маленький разговорник с японскими фразами, написанными русскими буквами. «Отдельной ванной» там не оказалось. Я попробовала найти хоть что-нибудь. «Одна Комната?» — безрезультатно. «Одиноко» — не понимают. «Не много людей. Только двое» — в ответ удивленный взгляд и внезапная радость понимания. «Пойдем, пойдем», — сказала японка и повела меня вдоль длинного коридора, по обеим сторонам которого были закрытые двери. Одну такую дверь она открыла: в маленькой комнатке на лежанке, облокотившись, растянулся японец, рядом с ним стоял курильный прибор, мундштук от которого он держал во рту. Привратница заговорила с ним по-японски, а я спросила, не говорит ли он по-русски, думая, не сможет ли он мне помочь объясниться. В эту минуту привратница вышла и затворила за собой дверь. Я в ужасе вцепилась в дверную ручку, изо всех сил потянула дверь обратно, протиснулась в узкую щелочку и кинулась бежать по коридору прямо на шею к перепуганной Мане. Пришлось нам все-таки идти в общую баню — очень уж надо было вымыться.

Так шло наше лето 1928 года — мы купались, много ходили по окрестностям. Мы и впрямь ощутили, что такое Япония.

Мне отдыхалось не так хорошо, как другим, потому что я беспокоилась, что предстоит осенью сдавать экзамены, что я пропустила летнюю практику и работу над курсовым проектом. Кроме того, я скучала без старых друзей, а новых не завела.

Запомнилось мне от того лета, как я плыла одна на лодке ясной темной ночью. Море все светилось, каждый всплеск волны был как фейерверк, а весла мои походили на два факела, и за каждым тянулся сверкающий след. Темные береговые утесы четко вырисовывались на фоне сияющего звездного неба. И это величие и красота природы наполнили меня таким дивным ощущением покоя, какого я никогда до тех пор не испытывала.

И еще одно зрелище помнится мне: я стою на вершине высокого утеса и смотрю вниз на пенистые волны в заливе. Только что прошел тайфун. Небо надо мной темно-синее, ветер уже стих, но громадные волны снова и снова расшибаются о вертикальную стену утеса, брызги захлестывают все вокруг, и мое платье совершенно промокло. Мощь яростной природы чувствуется с невероятной силой. Накануне вся деревня говорила о рыбаках, что ушли в море неделю назад и не вернулись. Мы ни на минуту не могли высунуться из дому — море ревело, волны доходили до небес, дождь хлестал целый день. И вот теперь я стою на вершине утеса и даже в присмирившем море чувствую его неизмеримую мощь...

1928—1929 годы

В августе 1928 года стали доходить слухи о событиях на востоке Маньчжурии, в части Внешней Монголии. Монгольские войска оккупировали несколько станций на КВЖД, но вскоре китайские железнодорожные войска отбили их обратно. Китай все больше беспокоило вмешательство СССР в его внутренние дела.

Учебный год, однако, начался как обычно. Я была теперь занята еще больше — преподавала в вечерней школе и работала над курсовым проектом. Проект мой состоял в расчете парового котла, работающего на угольном порошке. Как-то раз, просматривая в журнале «General Electric Review» статью о таких котлах, я наткнулась на описание исследований, проводимых в Массачусетском технологическом институте. Я думала, что там, должно быть, ведутся интересные исследования и есть для них все возможности... Вот бы мне попасть в такое место!

Я пыталась разобраться в своих чувствах и порывах, радовалась, когда могла ими управлять, и отчаивалась, когда они овладевали мною. Периоды энергичных действий сменялись беспредельной депрессией. Я испытывала целые записные книжки собственными и чужими стихами, воспевающими героизм, преданность идеалам, истинную любовь.

К весне 1929 года я влюбилась в юношу с нашего курса, Костю Колтовера. Он так же, как и я, порой унывал и нуждался в утешении и поддержке. Мы ходили с ним по темным улицам, даже не держась за руки, и чувствовали тепло и отраду от этих прогулок.

Позднее Костя влюбился в мою сестру Лену, и сердце мое было совершенно разбито. В довершение моего горя папа, очень недовольный явным флиртом между Леной и Костей, которого в дом привела я, стал упрекать меня, что я его «передала» младшей сестре. Предполагалось, что я должна что-то делать, а что? Лене же папа объявил, что если ей хочется выйти замуж за Костю и «стирать его носки», то пусть она прекращает флирт. Лена проплакала целую ночь, страдая от папиной жестокости, но к утру вдруг поняла, что Костю больше видеть не хочет, о чем и заявила ему. После этого мы его почти не видели. Уже второй раз я оказалась отвергнутой, и мне стало казаться, что меня вообще уже никто не полюбит.

Явное внимание ко мне со стороны Юры Айнгорна мало меня утешало. Невысокого роста, темноволосый, хрупкий и очень чувствительный юноша с прекрасными карими глазами и всегда печальным лицом, Юра был одним из самых блестящих студентов своего курса. Отец его, врач, умер незадолго до того, как мы познакомились, и Юра жил вдвоем с матерью. Братьев и сестер у него не было. Дома он чувствовал себя одиноко, и наша шумная многолюдная жизнь ему очень нравилась. Юра играл на виолончели и охотно приносил ее к нам и играл у нас. Однажды он признался мне в любви и сказал, что хотел бы жениться на мне когда-нибудь. К такому я была не готова — ведь еще столько предстоит сделать, прежде чем думать о женитьбе! Меня сама мысль об этом пугала. Но мне нравилось с ним дружить, чувствовать его поддержку, и возможности замужества — когда-нибудь потом — я вовсе не исключала.

В вечерней школе состоялся первый выпуск. Учащиеся получили аттестаты, которые должны были быть приняты в СССР, когда они соберутся туда поехать, что большинство из них и планировало сделать. Мы устроили заключительный вечер, причем как для учеников, так и для

преподавателей, — по политическим условиям решено было, что школа прекращает свою деятельность.

27 мая 1929 года нас потрясло известие, что китайская полиция ворвалась в советское консульство в Харбине. Сотрудники консульства жгли документы. Китайцы захватили все, что не успели сжечь, и объявили, что документы подтверждают наличие коммунистического заговора в Китае. 1 июня советские дипломаты были отозваны в Москву, а 10 июля произошел арест нескольких управляющих железной дороги, и тем самым Китай окончательно взял дорогу под свой контроль.

16 июля Китай отверг ультиматум, предъявленный СССР. К границе с обеих сторон стягивались войска. До Харбина доходили известия о столкновениях на границе и бомбардировках приграничных городов. Несколько городов были захвачены Красной армией. Для борьбы с СССР был тогда же сформирован корпус Белой армии, сразу начавший военные действия. Поскольку китайское военное оборудование перевозилось по железной дороге, советские служащие под угрозой потери гражданства должны были бастовать. Учителя и студенты тоже обязаны были участвовать в забастовке. Китайская полиция арестовывала забастовщиков, отправляя их за реку в концлагерь со страшными условиями.

Папа не имел советского гражданства, но числился на работе среди советских служащих, и теперь ему предстояло принять решение: присоединиться или нет к забастовке. Сколько продлится такое состояние, никто не знал, но, по крайней мере, пока он работал, дети могли успеть еще хотя бы несколько месяцев поучиться в школе. В школе пока оставалась группа учителей, которые продолжали вести занятия, стараясь не сильно менять направление и программу.

У меня советский паспорт был. Экзамены я сдала, теперь предстояла практика. Работать на железной дороге означало помогать перевозке вражеских войск и боеприпасов. Этого я сделать не могла. Папа со мной спорил, но не сурово, в своей либеральной манере, — он признавал мое право на свою позицию, хотя оказаться по разные стороны политических баррикад с собственной дочерью для него было нелегко.

Наступила осень, началась осенняя сессия, и, конечно, советские студенты не пошли сдавать экзамены. Часть профессоров тоже проигнорировала сессию, часть — те, кто уже имел китайское гражданство, — принимали экзамены. Для Сережи вопросов относительно экзаменов не

существовало — он их все сдал, к большому папиному удовольствию. Я же чувствовала себя обязанной отказаться от сдачи экзаменов.

Папа страшно боялся, что меня арестуют и отправят в лагерь. Я с ним спорила и была уверена, что этого не случится. Споры были жаркие и мучительные, я боялась за папино сердце и не хотела его расстраивать. Вечерами я подолгу ходила одна по улицам Харбина, размышляя, права ли.

Я-то сама в своей правоте была уверена, по крайней мере в тот момент. Но вот дальше... Ясно, что папа рано или поздно потеряет свое место на железной дороге, и что тогда? Разве он найдет работу в Харбине? А если не в Харбине, то где? Он уже старый и больной, он не сможет начать с начала, думала я. Дом наш принадлежит дороге, и проживание в нем входит в папино жалованье. Куда же нам всем тогда деваться? Даже при его работе и то как трудно было наскрести денег, чтобы провести одно лишь лето в какой-то лачуге в Дайрене...

Я знала, что папе должны будут выплатить единовременное выходное пособие от пенсионного фонда, не очень большую сумму — в лучшем случае ее хватит на то, чтобы снять квартиру на пару лет. К тому времени дети еще не вырастут, а папа уже состарится. Но тогда единственным человеком в семье, достаточно взрослым, чтобы работать, буду я. Наверное, я найду работу, но на мой заработок мы сможем только сводить концы с концами. И никакого выхода не будет, пока дети не повзрослеют, а тогда мне уже поздно будет строить свою жизнь. От такой перспективы все холодело внутри. Надо найти выход, думала я.

Мало-помалу у меня созрела мысль, что есть только один способ разумно потратить папино пособие — на все эти деньги построить собственный дом. Тогда у нас будет крыша над головой, а все остальное как-нибудь устроится.

Идея собственного дома меня захватила полностью, и теперь, шагая по вечерам по улицам Харбина, я могла обдумывать его устройство и представлять себе, как мы все заживем в этом доме. Тревога моя немного улеглась, я смогла сосредоточиться на своих частных уроках и подготовке к началу занятий. О моих планах я до поры до времени никому не говорила.

Перед началом занятий советских студентов предупредили, что мы должны обязательно явиться на первую лекцию. Предполагалось, что когда профессор войдет в аудиторию, мы все встанем, и тогда наш староста объявит, что в связи с общей ситуацией в Харбине мы не считаем возможным участвовать в занятиях, и мы все вместе уйдем из аудитории.

Папа, узнав об этих планах, потребовал, чтобы я в этой акции не участвовала, и был непреклонен. Он знал, что подобный поступок приведет к тому, что я попаду в черные списки китайской полиции и мои дальнейшие отношения с местными властями будут навсегда испорчены. Он не сомневался, что мне не время прекращать учебу. Я должна получить диплом: этот год — последний, выпускной, а в самое ближайшее время от того, как я окончу институт, будет серьезно зависеть благополучие всей семьи.

Я сдалась, пообещала не участвовать в демонстрации и просто пропустила первый день. На второй день советских студентов на занятиях не было, а я пришла и продолжала учиться до конца года, отдавая себе отчет, что по отношению к своим советским «коллегам» я поступаю как предательница.

Конфликт на КВЖД привлек мировое внимание, но для нас никаких серьезных изменений эти события не имели. Только чувство неуверенности стало еще сильнее.

Папа настаивал, чтобы остальные дочери продолжали учиться в школе. Лена, перешедшая теперь в предпоследний класс, ходила в школу неохотно, но с папой она никогда не спорила.

В конце декабря 1929 года СССР и Китай все-таки пришли к соглашению, в основном повторявшему предыдущее, с некоторыми уступками в пользу СССР.

Папа получил отказ в советском гражданстве, отнюдь не ставший неожиданностью. Стало ясно, что в самое ближайшее время он получит уведомление об увольнении.

И вот в один из майских вечеров 1930 года, вернувшись домой из института, я увидела, что вся семья собралась вокруг стола. Все грустно молчали. Я под села к столу. Маня обернулась ко мне и сказала:

— Папа сегодня получил уведомление.

Больше никто не произнес ни слова. Я обвела взглядом печальные лица, зная, что решение уже найдено. Осталось только их ободрить.

— Тогда мы построим дом, — сказала я.

— Что?! — папа, Маня, Сережа, Лена ахнули. Потом рассердились: — Что ты вздор несешь?

Я сказала, что все давно обдумала, что это единственное приемлемое решение — только так мы будем более или менее защищены.

— Нас так много, — объясняла я, — где нам жить? Если забота о жилье отпадет, мы всегда сможем прокормиться, мы же помним это по Омску!

Маня размышляла молча. Папа сказал, что все обдумает.

— Кончайте все споры. Делайте уроки или что там у вас, — папа поднялся, ушел к себе в комнату и закрыл дверь.

Маня ушла на кухню, няня опять взялась за вязание. Лена и Сергей стали меня запальчиво упрекать, что я самонадеянна, что я всегда всеми командую, что слишком много на себя беру. Мне пора было обратно в институт. Маня покормила меня, и я ушла.



ГЛАВА 20

ДОМ

Я все равно считала, что права, — у нашей семьи просто нет другого выхода, и в конце концов все со мной согласятся. Ну, конечно, бестактно было, ничего не обсуждая, так вот взять и выложить свою идею.

Понадобилось еще какое-то время, чтобы папа узнал все, что касалось его пенсии. Причиталась ему значительная сумма денег, но сроков выплаты никто не знал, все финансовые вопросы должны были решаться на совещании в Москве. Планировалось совещание на май, а когда в действительности произойдет, сказать было трудно. Месяца два-три мы еще могли жить в прежнем доме.

Всех арестованных советских граждан китайские власти выпустили на свободу, и везде только и разговоров было о том, что им пришлось пережить. Забастовщики вернулись на свои места. Школы стали работать как и до конфликта, возвратились и учителя, и ученики. В Коммерческом училище советский дух воцарился сильнее прежнего, и на тех, кто не участвовал в забастовке, смотрели косо.

И жизнь пошла дальше.

Через несколько дней после того разговора за столом папа сказал, что хочет со мной поговорить. Он согласился: да, построить дом — это могло бы быть выходом. Правда, свободных денег у нас нет. Зарплату больше не платят, а выходное пособие неизвестно, когда отдадут. Какое-то время можно жить в кредит (никто не сомневался, что пенсионный фонд рано или поздно деньги вернет), но никуда двинуться с места мы не можем. Ведь папа должен оставаться здесь, чтобы не терять сведений о своем пособии. Однако искать участок земли можно уже сейчас.

Через две недели мы нашли подходящий участок в пригороде. Землю в Харбине не продавали, а давали в долгосрочную аренду, что практически означало то же самое. Улицы, по которой числился участок, в природе не существовало — только на плане. Никаких других домов по

соседству не имелось, мостовой вообще не было, а вокруг расстиралось чистое поле. Даже электричество не было подведено, и стало ясно, что понадобится платить и за установку столбов с проводами.

Мы начали разрабатывать проект дома, и тут папа следил, чтобы участие принимали все. Ясно было, что дом не только должен нам нравиться, но самое главное, он должен стать нашей защитой, должен дать нам возможность выжить в трудных условиях. У каждого были свои заветные желания. Папе, мне и Сереже требуется по отдельной комнате — с этим все согласились. Я настояла, чтобы у няни тоже была своя комната, потому что считала, что младшим лучше спать отдельно — няня всегда мазалась каким-то маслом с сильным запахом. Еще мне казалось очень важным, чтобы мы могли устраивать спектакли, поэтому две комнаты должны были соединяться большой раздвижной дверью. Сережа внес важное предложение, что стены надо хорошо утеплить, а сам дом по форме сделать максимально близким к кубу, чтобы иметь самый большой объем при той же поверхности стен. Папа предложил строить дом двухэтажным, чтобы вдвое увеличить объем при том же фундаменте и крыше. «И чтобы во дворе было место для кур, да и для поросенка, — добавляла Маня. — А овощи можно покупать. Там недалеко в землянке живет китаец, он их выращивает».

Удалось найти китайского подрядчика, который согласился ждать с деньгами до выплаты папиного пособия. Но материалы в кредит продавать никто не соглашался. А что, если договориться и брать материалы со склада железной дороги, в счет причитающейся пенсии? Папа навел справки. На складе были кирпич, необходимый для фундамента, и бревна, запасенные для шпал и для телеграфных столбов. Можно покупать бревна и распиливать их прямо на строительной площадке. Составили бюджет, и стало понятно — мы строим дом!

Мне папа объявил, что поскольку этот проект — мой, то я буду главным распорядителем. Гордясь и ужасаясь, я совершенно серьезно приняла на себя ответственность. Ну и папа, конечно, всегда будет рядом и поможет, если надо.

Опять пришлось отложить мои экзамены, но это было не страшно — их можно сдать осенью. А пока надо было мне найти еще несколько уроков, поскольку теперь мой заработок стал основным доходом семьи.

Я подала заявление на должность учителя математики в летнюю школу, которую Коммерческое училище организовало для своих учеников,

отставших за год по тем или иным предметам. Отставших было много — иные вообще не ходили в школу почти весь год, пока родители бастовали.

Собеседование с директором школы я прошла, но ответ получила не сразу. От одного из друзей по институту я узнала, что советские мои соученики пошли к директору уговаривать, чтобы меня не брали, — из-за того, что я не присоединилась к забастовке. Ничего хорошего это не предвещало, и я почувствовала, что в будущем мне может быть трудно найти работу.

Как-то раз в начале июня хлынул сильный ливень, какие часто идут в Маньчжурии летом. Около девяти утра в дом явился посыльный от школы — не-могу ли я прямо сейчас начать занятия, в десять часов? Надев свое лучшее, белое платье, я отправилась преподавать. Плаща у меня не было, зонтика тоже, и пока я добралась до школы, вымокла до нитки. Волосы у меня висели, платье прилипло к телу. Мало похожая на грозного учителя, я вошла в класс, где сидели не слишком примерные ученики, многие из которых были старше меня, и начала урок. Кое-кто попробовал вести себя непочтительно, но их я тут же отправила к директору. Дальше на протяжении всего лета у меня никаких проблем не было. Материал я знала как свои пять пальцев и была абсолютно уверена в своих способностях выучить даже самого тупого ученика.

Но все-таки это была временная работа, а мне необходимо было найти постоянную. 11 августа я написала заявление начальнику отделения железной дороги, где просила «любой работы, технического или бухгалтерского характера», ссылаясь на то, что папа вынужден был покинуть службу, а сестрам необходимо продолжать учебу.

Постройка дома захватила всю семью. Составив проект, который всех устраивал, попросили Мишу Бакича вычертить фасады. Миша учился на третьем курсе строительного факультета моего института, и это был его первый проект, которому суждено было воплотиться в жизнь.

Важно было построить дом до холодов. Зимой строить нельзя, а если мы будем платить за старый дом всю зиму, нам не хватит денег на новый.

Первые материалы завезли еще весной. День стоял прохладный. Собралась вся семья — няня настояла, чтобы мы освятили место для строительства. Место окропили святой водой, и работа началась. Фундамент пришлось закладывать очень глубокий, потому что в Харбине почва зимой промерзает на большую глубину. Котлован под фундамент копали вручную. Подвального этажа не предполагалось, только небольшой подпол в

кухне. Когда закладывали первые кирпичи фундамента, мы все опять собрались и смотрели, как папа кладет золотую монету под первый кирпич. Каждому из нас затем дали уложить по одному кирпичу, а каменщик шлепал сверху раствор.

Стены, и наружные, и внутренние, должны были строиться из дерева, а затем их собирались штукатурить. Между досками закладывалась для изоляции смесь из собранных прямо на строительной площадке опилок и (чтобы предохранить от пожара) железнодорожного шлака, который нам ничего не стоил. Заранее заготовили дополнительное количество смеси, чтобы добавить, когда она усядет.

Дома царила атмосфера отъезда. Клумбы стояли неухоженными, хотя теннисный корт по-прежнему не пустовал. Лена очень скучала по своей лучшей подруге Тане Густовой, которая уехала из Харбина. Чтобы помочь семье с деньгами, Лена стала давать уроки — натаскивать школьников по русскому и английскому. Сережа тоже пробовал найти репетиторскую работу, но у него это как-то хуже получалось, чем у меня и Лены. Кажется, он делал чертежи для своих однокурсников. Маня вместе с Зоей и Катей провела часть лета в Маоршане, в местечке в горах. Папа считал, что так для младших лучше — Катя плохо росла для своего возраста, а у Зои всегда было неладно с легкими. Таня все свое время старалась проводить в яхт-клубе на реке.

В надежде найти хоть какую-нибудь работу папа разослал множество писем, отстукивая их на своей пишущей машинке. Среди прочих он написал и мистеру Крейну:

Уважаемый мистер Крейн!

Несколько лет назад я имел честь быть представленным Вам в доме моих друзей генерала Хорвата и его супруги в Пекине. В то время Вы планировали поездку в Россию и обещали повидать мою семью в Омске. Вы встретились с моей семьей в июне 1921 года, вскоре после трагической гибели моей жены. Ваше участие оказалось огромной помощью и помогло тогда моим детям добраться год спустя до меня в Харбине.

Стремясь дать детям по возможности наилучшее русское образование, я расстался с Babcock à Wilson, перейдя работать на Китайско-Восточную железную дорогу в Харбине, где и работал до последнего времени. Месяц назад я был уволен по той причине, что Москва отказала мне в советском гражданстве, которого я просил в 1925 году.

В настоящее время я переживаю трудную ситуацию поисков другой работы, почему и беру на себя смелость напомнить Вам о себе. Я буду Вам глубоко признателен, если Вы вспомните обо мне, с учетом моих способностей и ситуации, если в каком-нибудь отношении Вам или Вашим друзьям понадобится надежный человек на Дальнем Востоке. Я готов полностью отдать себя любой работе коммерческого или технического характера, которая дала бы мне минимальную возможность содержать мою семью. Для этого я готов оставить Харбин и отправиться в любую точку земного шара. Я также соглашусь на любую должность в Харбине с невысокой оплатой, если она будет оставлять мне какое-то время для дополнительного заработка <...> Посылаю Вам фотографию, сделанную Вами в Омске, и другую, чтобы показать, как выросли дети. Старшей дочери сейчас 22 года, сыну 20. Они вот-вот получают дипломы инженеров, и оба были бы рады работать в Америке. Самой младшей исполнилось 11 лет <...> Я хотел бы еще раз поблагодарить Вас за ту помощь, которую Вы оказали моей семье. Буду рад получить от Вас или Ваших друзей любые известия, которые могли бы помочь изменить мою судьбу к лучшему.

9 октября от мистера Крейна пришла телеграмма:

Посылаю пятьсот долларов надеюсь старшая дочь и сын могут приехать встретиться со мной в университет Йенцзин скоро буду Пекине желаю счастья семье Крейн.

На следующий день пришло и письмо:

Дорогой г-н Зарудный!

Очень рад получить известие о Вас и о Ваших детях. Очень хотелось бы повидать их, но боюсь, что Харбин слишком далек от моего маршрута. Посылаю чек на их обучение и надеюсь, что смогу время от времени узнавать об их успехах. Если старшая дочь и сын могут приехать повидаться со мной в Пекине, я был бы рад устроить их поездку. Пожалуйста, телеграфируйте мне, если такая поездка может состояться. Мой адрес

Ч.Р. Крейн
Университет Йенцзин
Пекин

*Я собираюсь пробыть в Пекине дней десять.
Сердечные приветы всем детям.*

Чарльз Крейн

Папа немедленно ответил телеграммой:

*Сердечно благодарен счастливицам отправить к вам дочь и сына следующей
неделе Зарудный.*

ПОЕЗДКА В ПЕКИН

Отправить нас в Пекин было, однако, совсем не просто. Для получения китайской визы требовалось рекомендательное письмо, подтверждающее, что мы не ведем коммунистическую пропаганду и не нарушаем законы. К гражданам с советским паспортом, как у меня, китайцы были настроены отнюдь не благосклонно. Пришлось папе обратиться к знакомому сотруднику Британской Дальневосточной компании, который согласился удостоверить наши личности.

Стояла уже середина октября, начинались холода. Для дома требовался материал на крышу, которого на складах не было; без крыши нельзя было закончить стройку к зиме, а запас денег подошел к концу. В конце концов мы пришли к решению не покупать нам с Сережей билеты первого класса, ехать третьим, а разницу пустить на крышу. Решение было довольно рискованное, поскольку никто из европейцев в Китае третьим классом не ездил.

На все про все у нас была неделя. За эту неделю Маня купила кое-что для домашнего хозяйства и позвала портниху, которая сшила мне платье. Наша одежда Маню очень беспокоила — нельзя же появиться в обносках перед мистером Крейном и Хорватами, у которых мы собирались жить.

Я пыталась все решить относительно дома (а решать надо было так много!) — выясняла, где взять железо на крышу, считала, сколько листов его надо, и т.д. Сережа помогал с расчетами. Папа носился везде, доставая билеты, рекомендации и визы.

14 октября вся семья провожала нас на харбинском вокзале. Вагоны третьего класса были забиты китайцами-рабочими, их семьями, детьми, даже животными. В вагонах грязь, вонь, спать негде. Надо следить за

деньгами и за багажом. Какое-то время пришлось стоять в проходе, пока не нашли места. По-русски никто не говорил, и объясняться приходилось жестами.

В Пекин мы приехали поздно ночью и решили не беспокоить Хорватов, а остановиться на одну ночь в гостинице. Никаких гостиниц в Пекине мы не знали. Пришлось воспользоваться услугами рикш с колясочками, на которых я раньше никогда не ездила. Странно было сидеть на довольно удобном сиденье и чувствовать, что тебя тащит другой человек. Я очень боялась расслабиться и все старалась сидеть так, чтобы как-нибудь весить поменьше. Всю дорогу я наблюдала, как двигается у меня перед глазами худая, потная спина длинноногого рикши, и чувствовала свою вину, что я сижу, а он везет. Сережа ехал в другой такой же коляске рядом со мной. Мы сказали рикшам везти нас в европейскую гостиницу. Они нас и привезли в великолепный отель на тихой площади. Мы в темноте не разглядели ничего вокруг, но внутри отеля вдруг поняли, что он должен быть страшно дорогим. Мы никогда еще не останавливались в отелях и даже не заходили в них. Великолепный холл, солидный швейцар, служащие в форме — вся эта роскошь нас порядком смутила. Мне показалось, что клерк как-то подозрительно отнесся к нашей внешности и нашему возрасту. Однако он протянул коридорному ключ от однокомнатного номера и попросил нас следовать за ним. Багаж у нас был легкий, и нам казалось, что помощь нам не требуется. О том, что нужно платить чаевые, мы и не знали. Еще более неловко почувствовали мы себя в номере с двумя огромными кроватями, окнами во всю стену, высокими потолками и отдельной ванной. Тратить деньги на такую роскошь было бессовестно. Но как приятно оказалось вымыться в ванне, заснуть здоровым сном и хорошенько выспаться после бессонной ночи в грязном вагоне. А наутро, выглянув из окна на красивую площадь, я поразились тишине — слышалось только шуршание резиновых шин многочисленных колясок и шлепанье мягких тапочек рикш по гладкому асфальту.

Едваждавшись подходящего времени, мы отправились к Хорватам, опять на рикшах. Хорваты жили в пустовавшем доме австрийского посольства, который им предоставило китайское правительство. Большое величественное здание, в котором они в то время занимали только небольшую часть, стояло в середине парка. Парк давно пришел в запустение, а уход за ним явно превышал возможности Хорватов.

Камилла Альбертовна встретила нас очень тепло, пожурив, что мы не сразу приехали к ним, и повела в уютно обставленную гостиную поздороваться с генералом. Генерала Хорвата я видела впервые, хотя слышала о нем много. Он выглядел очень внушительно — большой, статный человек с длинной седой бородой, доходившей ему до середины груди. Одет он был в сюртук военного типа, без всяких медалей, но когда я его вспоминаю, то в моей памяти он так и выглядит окруженным какой-то военной аурой. Я при нем робела. Взрослые дети Хорватов жили отдельно, я их никогда не видела и никогда о них не спрашивала. Генерал с нами очень приветливо поздоровался, нас расспросили о семье, о школе, о каждой из сестер, о папе, а затем накормили вкусным поздним завтраком, приготовленным их китайским дворецким, говорившим по-французски.

Камилла Альбертовна позвонила мистеру Крейну, чтобы сообщить о нашем приезде, и после завтрака мы отправились к нему в гостиницу. Я все пыталась вспомнить, как он выглядел тогда, девять лет назад, когда так неожиданно появился у нас в Омске. Крейн не слишком изменился — все такой же солидный седой господин с небольшой бородкой и добрыми глазами. Он улыбнулся, ласково с нами поздоровался, и мне сразу стало легко. Сережа держался очень почтительно и официально. Спотыкаясь на каждом слове из-за своего плохого английского, я поддерживала разговор, рассказывала о сестрах, о папе, о своих занятиях. Крейн сразу завоевал мое сердце тем, как участливо и искренно слушал мои сбивчивые рассказы. Но до чего же тяжело — пытаться объяснить так много на языке, которым не владеешь, человеку, который так слушает. Сражаясь с трудными фразами, я дала себе слово серьезно заняться английским. Крейн сказал, что хочет увидеть нас еще раз и показать нам Пекин. Договорились встретиться на следующий день.

Вечером генерал с Сережей остались побеседовать, а меня Камилла Альбертовна повела по огромному зданию, чтобы показать парадные апартаменты. Содержать все здание было слишком дорого, и отапливались только три комнаты, где они жили. К тому же такой огромный дом требовал целого штата прислуги, а у них был единственный дворецкий, он же и повар. За консультации правительству генералу платили мизерное жалованье, если вообще платили, и Камилла Альбертовна потихоньку стала делать эскизы для китайских ковров, стараясь, чтобы никто не знал, что ей приходится работать за деньги.

Она рассказала мне, как ей надо было принимать здесь в Пекине каких-то важных людей и как ее повар-дворецкий приготовил под ее руководством массу вкуснейших блюд из одного-единственного теленка, которого она купила. Рассказала еще, как сама шила платье для этого приема и не успела его закончить — так и принимала гостей в недошитом платье, прихваченном на живую нитку там, где не видно. Я любовалась ее благородной осанкой, ее классической красотой, ее находчивостью. И пока мы с ней обходили огромный особняк, от ее рассказов о денежных трудностях и о том, как она с ними справляется, мне стало гораздо легче с ней общаться.

На следующий день мистер Крейн заехал за нами в машине с шофером и повез посмотреть Храм Неба, сказав по дороге, что это его самое любимое сооружение в Пекине.

Но мне, когда я вылезла из машины, оно красивым вовсе не показалось. И что в нем такого? Здания стояли строго по прямой, одно за другим, так что в арку одного была видна арка другого, и так далее. Однако плоские крыши сменялись все более и более изысканными, и наконец мы приблизились к самому храму — и я ахнула. Никогда я не видела ничего столь простого и прекрасного. Круглое здание с синей черепичной конической крышей, увенчанное золотым шаром, покоилось на основании из нескольких концентрических террас, и каждая из террас была окружена резной белой оградой. Там, где ограда прерывалась, терраса образовывала ступеньки, и все это вместе представляло собою самый совершенный образ неба. В конце же всего, в самом центре, находится сам высочайший Храм Неба — такая же круглая терраса без всяких зданий, крышей здесь — само небо. Впервые в жизни я поняла, как архитектура может выражать идею. С тех пор я смотрю другими глазами на архитектурные творения.

По дороге обратно к машине я сфотографировала мистера Крейна. Теперь, вспоминая, какое безграничное впечатление произвел на меня Храм Неба, я понимаю, как важно было для меня, что показывал его именно этот добрый человек, к которому я почувствовала такую симпатию. И позднее я всегда замечала, что, глядя на что-либо вместе с близким или дорогим человеком, я неизменно смотрю глазами этого человека. Что-нибудь, трогавшее меня саму по себе, не трогало совсем, если мой спутник или спутница были критически к этому настроены, — и наоборот.

В отеле мистер Крейн спросил, не хочу ли я приехать в Соединенные Штаты учиться. Я была потрясена — такого предложения я не ожидала. Конечно, в глубине души я надеялась, что он сделает что-нибудь для папы или для семьи в целом, но это предложение касалось меня одной! Как я могу оставить семью в такое трудное время? Мысль о прочитанной когда-то статье про исследования в Массачусетском технологическом институте промелькнула у меня в голове. Поехать туда, оказаться в месте, где «процветают науки»... Я ведь так мечтала куда-нибудь уехать, где меня ждало бы настоящее будущее, но ведь сейчас я единственная в семье, кто может зарабатывать!

С другой стороны, Сережа — постоянная проблема в доме. Именно его ссоры с папой угнетали всю семью, а его перспективы в плане заработка были призрачны, поскольку он не желал приспосабливаться к ситуациям, которые ему не нравились. Справившись со своим потрясением, я сказала мистеру Крейну, что гораздо важнее, чтобы в США мог поехать Сережа. Кажется, он удивился, но великодушно предложил, чтобы в США приехали мы оба. Я поблагодарила и сказала, что сама не могу дать ответа — надо посоветоваться с папой. В любом случае нам обоим оставался еще год до окончания Политехнического института. На этом мы и расстались. Я пообещала написать о своем решении, как только обсужу его с папой.

На следующий день секретарь мистера Крейна показал нам множество достопримечательностей Пекина, но на меня ничто не произвело впечатления, сравнимого с Храмом Неба. А может быть, я просто была в слишком большом смятении, чтобы что-нибудь оценить. Я торопилась назад в Харбин — рассказать все папе. Кроме того, я беспокоилась, как бы мне не пропустить ответ на мое заявление о работе, если он будет благоприятный, и не опоздать, если захотят, чтобы я сразу приступала к работе. Дня через три мы уехали из Пекина.



ГЛАВА 21

ПОСЛЕДНИЙ ГОД В ХАРБИНЕ

Когда мы вернулись в Харбин, семья уже переселилась в новый дом. Еще не высохли стены, во всех комнатах стоял сильный запах сырой штукатурки.

Маня приготовила парадный обед, вся семья уселась за стол, и мы начали свой отчет. Сережа, конечно, блистал, расписывая в красках Мукден, Пекин, генерала Хорвата и мистера Крейна. Под конец я рассказала о предложении мистера Крейна.

Вся семья, как я и ожидала, бурно обрадовалась за нас, особенно за Сережу, но потом все призадумались. Все понимали, что значит для семьи мой заработок, да и вообще впервые шел разговор о том, что семья может разделиться. Думаю, что у папы ни на минуту не возникло сомнения, надо ли соглашаться. Он болезненно переживал свои неудачи в поисках работы, но не сомневался, что мы сможем присылать деньги из Америки, как только закончим свое обучение. Но вообще еще было рано что-то решать окончательно: уехать мы могли самое раннее через год, а за это время многое могло случиться.

Я все еще ждала ответа на свое заявление. Через два дня выяснилось, что в работе мне отказали. Найти в Харбине какую-то еще работу, кроме как на железной дороге, не представлялось возможным, впрочем так же, как и в других местах в Китае, — виной всему был мой советский паспорт. Уехать в Россию не только означало навсегда расстаться с семьей, но и не оставляло никаких шансов на помощь ей. Наши друзья пытались эмигрировать в Японию, Новую Зеландию, Австралию или Южную Америку. Для человека с советским паспортом уехать в Соединенные Штаты было чем-то фантастическим — Юра Айнгорн уже годы ждал ответа на свое заявление, поданное за него еще в детстве, и перспективы у него не было никакой. Да и потом — отъезд в любую страну требовал денег, а их у нас не было. Со всех сторон тупик — и на фоне этого тупика предложение мистера Крейна!

Мы с папой по отдельности написали мистеру Крейну. Оба мы писали, что и я и Сережа будем счастливы поехать в США.

Важный шаг был сделан, решение принято, и я стала мечтать о будущем. Я рассказала брату о статье в «General Electric Review». Перспектива заниматься научной работой в Массачусетском технологическом институте захватила его так же, как и меня, и поступить в институт стало нашим общим заветным желанием.

ОЖИДАНИЕ

Проливные осенние дожди превратили дорогу к дому в огромный поток грязи. Ночью все замерзло, ходить по обледеневшим буграм и колеям было трудно. Днем и вовсе — липкая грязь засасывала галоши, которые нередко в ней и оставались. Впрочем, это нисколько не пугало наших друзей, которые по-прежнему сходились к нам каждый вечер, а по воскресеньям буквально заполняли весь дом.

Мы с Сережей взялись за учебу. Надо было как можно скорее наверстать пропущенное — сдать экзамены, сделать отложенные проектные работы. Дел было по горло.

Лена все лето занималась репетиторством и осенью продолжала давать уроки. Преподавать русскую литературу ей очень нравилось, она говорила, что сама учится, когда учит других. Помимо этого она занималась французским и английским языками. Лена училась в последнем, десятом классе, где единственным предметом был китайский язык. Таня была занята спортом. Всем четверем сестрам теперь приходилось добираться до школы довольно далеко.

Папа сумел найти какую-то переводческую работу и целыми днями сидел за машинкой. Гонорары ему платили жалкие, но это было хоть что-то. Вообще же вся наша хозяйственная жизнь целиком зависела от Маниной изобретательности — мы отдавали ей все деньги до копейки, а она уж выкручивалась как могла. Что касается надежд на будущее, то они полностью заключались в ожидании письма от мистера Крейна.

Мне предложил интересную работу мой профессор по электротехнике Александр Иванович Дрожжин. Он хотел написать учебник по своему курсу, но писать ему было некогда. Вообще-то, предполагалось, что помогать ему будет Юра Айнгорн, но Юра был занят своим дипломом, и

работа досталась мне. Дрожжин отдал мне конспект лекций в самом общем виде, а я должна была его изложить подробно, вписать недостающие детали и т.д. Сейчас я думаю, что он, зная наше тяжелое положение, просто дал мне возможность заработать, но тогда мне это и в голову не приходило. Я с энтузиазмом работала все время до самого своего отъезда из Харбина и очень гордилась, что помогаю ему писать книгу.

Зимы в Маньчжурии долгие, и почти не бывает оттепелей. Снега выпадает мало, зато дуют резкие, пронзительные ветра. Зима пришла невероятно холодная, все время стояли морозы. На открытой, со всех сторон продуваемой дороге к нашему дому я старалась не съезживаться и не дрожать: оказалось, что, если выпрямиться, поднять голову, расслабиться и заставить себя подавить дрожь, холод не так уж и страшен.

Кирпичные печи дом не прогревали, приходилось дополнительно ставить в комнатах железные. На лестнице и в прихожей было так холодно, что дверь туда мы старались лишний раз не открывать, а для этого папа придумал и установил металлическую трубу между двумя этажами — когда надо было поговорить с кем-то с другого этажа, говорили через трубу, чтобы не выходить из тепла на холод.

Штукатурка все еще не высохла, и от этого в доме было сыро. На подоконники клали полотенца, концы их опускали в бутылки, и бутылки приходилось опорожнять несколько раз в день.

Каждый день по утрам приходил китаец, который качал насосом воду в большой бак на чердаке. Бак стоял в большом деревянном ящике с опилками, чтобы вода не замерзала. Крышка была не приварена, поэтому всегда существовала опасность, что вода перельется, опилки намокнут и замерзнут. Мы придумали поплавок на поверхности воды в баке, к поплавку привязывали леску, которая шла вверх, через шкив, а затем вниз и через дырку в потолке спускалась в кухню, где маленький грузик, привязанный к ее концу, показывал на шкале на стенке уровень воды. Для сушки белья на кухне под потолком были натянуты рейки, которые можно было опускать и поднимать. Своими изобретениями и новшествами мы очень гордились, показывали их друзьям и охотно принимали от них любые предложения.

По вечерам за столом собиралась большая дружная компания. Папа, Маня и няня всегда сидели с нами. Папа теперь был почти все время дома, и нашим друзьям он стал еще ближе. Зимними вечерами, в то чудесное время, когда на дворе уже темнеет, но света еще не зажигают, синие

сумерки входили в дом через широкие окна, и было что-то волшебное в просторных снежных полях вокруг одиноко стоящего дома.

Приходил каждый вечер и Юра Айнгорн, чей вид безответно влюбленного мне и льстил, и заставлял чувствовать себя виноватой. Юра сидел рядом со мной и даже изредка целовал меня в щеку. Но я еще не отошла от своего «романа» с Костей Колтовером, да к тому же не хотела причинять Юре таких же страданий — я слишком хорошо знала, как они даются.

Я по-прежнему жила, не зная чего-то очень важного. Это «что-то» было везде — в литературе, в кино, в репликах людей вокруг, оно как-то было связано с зачатием детей, и я все еще об этом ничего не знала.

Я думала так: люди порой влюбляются — тогда они начинают чувствовать что-то совсем особенное, как будто между ними идет электрический ток. Им все время хочется друг друга видеть, делиться мыслями и чувствами; этот другой человек становится для тебя единственным. В молодости это просто доставляет радость, если, конечно, любовь взаимная. Потом они взрослеют, и тогда людям хочется пожениться, чтобы жить вместе постоянно. Чтобы жениться или выйти замуж, нужно человека любить очень сильно, иметь много общего, хотеть провести с ним всю оставшуюся жизнь и делиться всем, в том числе и мыслями. Жениться без любви — ужасно. Когда люди друг друга любят, им хочется быть очень близко друг к другу, хочется обниматься и даже иногда целоваться. Когда люди женятся, они хотят иметь детей. Родители, имеющие детей, любят своих детей и любят друг друга. Чтобы иметь детей, они что-то делают. Что — я не знала. Что все это имеет отношение к сексу, до меня вовсе не доходило. Я вообще не знала, что означает слово «половой» или «секс». Взрослые обычно говорили об этом как о чем-то грязном или смешном. Может быть, лучше и вовсе не знать этого?

Из наблюдений за собственными родителями я не могла ничего вывести. Они любили друг друга и любили нас, это я знала. Но на протяжении моей жизни они больше были в разлуке, чем вместе, и мечтали о встрече. Любовь их от этого не становилась меньше, даже когда мамы уже не было в живых. Разлука не умаляла также их любви к детям. Но на моих глазах они никогда не целовались и никогда не делили одну постель.

И вот этой зимой мне как-то случилось говорить с моей сестрой Зоей. Не помню, как начался разговор и как получилось, что Зоя изумленно поняла, что я ничего не знаю «про это». Ей было четырнадцать лет, мне —

двадцать два. Она рассказала мне все — как устроен мужской орган, как он меняется. Я с трудом скрыла от нее свое потрясение и несколько дней ходила как потерянная. Зачатие ребенка, которое я считала неизбежным уделом каждой женщины, в том числе и моим собственным, оказывается, имело что-то общее с самыми нечистыми частями тела! Невероятно! А любовь?

Вскоре вслед за тем мне довелось проходить по узкой улочке в городе. У стенки стоял мужчина, явно забежавший за стенку, чтобы там облегчиться. Он заметил меня, когда я проходила мимо, а я заметила его странно большой орган. На меня накатило такое отвращение, что на какое-то время я вообще не могла думать о каком бы то ни было мужчине. Не в силах поверить Зоиному рассказу, не смея спросить еще кого-нибудь и стыдясь собственного невежества, я странно быстро почти все это забыла. Новые знания надолго остались смутно дремлющими где-то глубоко в сознании — было значительно удобнее вернуться к моим романтическим представлениям.

Папа, как и в старые времена, иногда уходил по вечерам к знакомым, но теперь ему приходилось добираться по нашей ужасной дороге до остановки и ехать в город на автобусе. Как сейчас, помню его сутулую фигуру с тростью, бредущую по раскисшей глине. Черная каракулевая шапка давно потеряла форму и сидит как колпак. Чтобы защититься от пронизывающих ветров, папа поддевал под пальто длинную старую вельветовую куртку, отороченную нутрией, сохранившуюся еще от времен его студенческой жизни в Бельгии.

— Как ты думаешь, можно в таких ботинках идти в гости? — спросил как-то папа у Сережи. Он сидел в кресле, перед тем как выйти из дому, положив ноги на другое кресло, и задумчиво пошевеливал пальцами в ботинке с оторвавшейся подошвой, разинувшем пасть, словно какой-то зверь.

— Смотря к кому идешь, — сказал Сережа. — Умные на такую ерунду внимания не обратят.

— К Устряловым, — ответил папа.

— Ну, тогда все в порядке.

— Сережа был прав, — сказал папа, вернувшись домой вечером. — Я весь вечер так и сидел с дырявым ботинком и разговаривал, и никто даже внимания не обратил.

ОТЪЕЗД

В начале февраля 1931 года американский консул мистер Томас сообщил папе, что получил письмо от мистера Крейна относительно нашего приглашения в Америку. 13 февраля мы встретились с консулом, тот сказал, что визовый режим очень благоприятен, хотя в любую минуту может измениться. Консул пообещал связаться с Крейном по телеграфу. Папа со своей стороны тоже написал письмо. Наша поездка в Америку начинала обретать реальность.

В марте я слегла с обычным для меня бронхитом на две недели. Несмотря на то что вокруг моей постели на втором этаже непрерывно сидели друзья и родные, мне в конце концов стало казаться, что мир за окном просто перестал существовать, — наверное, от толстой корки льда на окне, не дававшей мне видеть. Тревога томила меня и выливалась в кошмарные сны, повторявшиеся по ночам, — мне все время снилось, что я стою одна посреди огромной темной равнины и ни души вокруг до самого горизонта. Я просыпалась в ужасе; я думала о заключенных, которым нельзя даже выглянуть сквозь высокие зарешеченные окна камер. Мысли мои, конечно, возвращались к маме.

В апреле папа получил письмо от Дональда Броуди, сотрудника мистера Крейна. Тот писал, что Джон Крейн плывет в Европу, где будет о нас разговаривать со своим отцом. «Существуют определенные трудности, — говорилось в письме, — касающиеся устройства Ваших сына и дочери в нашей стране, и необходимо определить все детали, прежде чем будет сказано последнее слово».

Много лет спустя, когда мы с Сережей уже были в Калифорнии, Маня услышала от знакомых, как нам несказанно повезло, — мы получили американскую визу, считаясь «красными», о чем консул, разумеется, знал. Мой советский паспорт едва не стоил мне будущего.

Запахло наконец весной, заледеневшие бутры на дороге снова раскисли и растеклись жидкой грязью, весенний воздух потеплел. Сквозь отмерзшие стекла опять стало видно, что творится за окном.

Дом теперь обнесли забором, мы смогли разбить клумбы, поставить скамейки и высокие качели. Кроме того, папа понимал, что, раз дом такой высокий, мы, конечно, захотим взбираться на крышу, и устроил что-то вроде лестницы, которая шла до самого конька. Там, наверху, был устроен помост, который, надо сказать, пользовался большой популярностью у всей молодежи.

Приближалось лето с его обычными занятиями — походами на речку, купанием, спокойным чтением в саду. Мне и Сереже предстояла интенсивная работа над курсовыми работами. И ни слова от мистера Крейна. Может, он передумал? Может, и не собирался нас приглашать? С другой стороны, если приглашение вдруг придет, значит ли это, что я уже никогда не смогу поехать в Россию? Я была уверена, что в Америке совсем не такая ситуация для русских, как, например, в Париже. В Париж мечтала поехать Лена, учившая французский. Там, я знала, русские образовали своего рода гетто, где и жили, не смешиваясь с французским населением. Но я знала также, что они напрочь отрезаны от России и томятся, тоскуя по родине. Я так не хотела. Если уж не смогу поехать в Россию, я должна найти себе новую родину, которую могла бы полюбить и быть ей верной. Больше всего меня пугала мысль, что я буду в Америке навсегда «чужой», иностранкой, никогда не избавлюсь от русского акцента? Но ведь я и среди советских студентов не своя — как же я в России-то буду себя чувствовать? Тоже изгоем? Так я мучилась все время.

Однажды мне приснился сон. Я стою в густой толпе совершенно незнакомых людей на площади, окруженной высокими многоэтажными зданиями. И вдруг среди чужих лиц мелькает одно — страшно знакомое и близкое. Мама! Я панически пытаюсь пробиться к ней через толпу и не могу. Чем больше я стараюсь, тем дальше она уходит, пока совсем не исчезает. Обескураженная, я выбираюсь из толпы и иду прочь, я ухожу отсюда по узкой, совершенно пустой улице с высоченными домами по обе стороны... и вдруг навстречу идет мама!

Она подходит ко мне, кладет руки мне на плечи. «Не ходи сюда, они тебя не примут», — говорит мама и поворачивает меня назад. И я просыпаюсь. Все сомнения разрешены — я не поеду в Россию, я хочу поехать в Америку.

До самого мая мы ждали вестей. И вот в мае пришло из Европы письмо от мистера Крейна — он подтверждал свое приглашение и писал, что ждет нас в Америке!

19 июня папа получил телеграфный перевод на полторы тысячи долларов. Несколько раз понадобилось ходить в консульство за визой. Визу нам дали. Консул решил проблему моего советского гражданства по-своему — он выдал мне свидетельство, что я являюсь гражданкой страны, с которой США не имеют дипломатических отношений. Советским паспортом мне уже нельзя было пользоваться.

С Сергеем тоже возникла проблема: в его виде на жительство по ошибке было указано, что он советский гражданин, тогда как он не имел советского паспорта. На улаживание ее тоже ушло время.

Папа начал составлять план нашего путешествия. Самым дешевым способом пересечь Тихий океан оказалось плавание на японском пароходе «Хикава Мару», курсировавшем от Иокогамы до Сиэтла. Дальше мы должны были на поезде пересечь США, чтобы добраться до Нью-Йорка. Пароход уходил 3 августа. По папиным планам, мы должны были остановиться на неделю в Японии, куда с нами ехала и Лена, — папе хотелось, чтобы и ей досталось что-то от выпавшей нам удачи. Лена поживет две-три недели в Японии у папиных друзей, а потом вернется в Харбин. Все это потребовало множества писем, и на приготовления и договоры ушел весь июль.

Инженерной карьеры для меня папа никогда не одобрял — ему не нравилось, что я учусь профессии, в которой женщин почти нет. Ему вообще хотелось от меня большей женственности, и его прощальный подарок очень ясно показал это. Он подарил мне ручное зеркало — простое зеркало с ручкой, в белой оправе. У меня никогда ничего подобного до тех пор не было, и я была безмерно тронута. Зеркало это лежит у меня на туалетном столике до сих пор.

Маня собирала наш гардероб. «По одежке встречают, по уму провожают», — внушала она мне каждый раз, когда я бунтовала и не желала тратить время на примерки. Платья нам шила портниха, а Маня работала с ней вместе не покладая рук. Я сама была занята сборами и прощанием с друзьями. Лена страшно радовалась предстоящему путешествию, из всех сил совершенствовала свой английский и примеряла платья, доставшиеся ей от меня.

Папа долго беседовал с нами накануне отъезда. «Я знаю, — сказал он, — вы оба хорошие и честные люди. Не забывайте — это самое важное. Я вам полностью доверяю. Занимайтесь усердно, работайте честно, будьте благодарны тем, кто вам помогает. Не прерывайте отношений с родственниками и друзьями, адреса которых я вам дал, но не считайте, что вы должны подружиться со всяким просто потому, что он русский, не становитесь частью русского гетто. На самом деле, если увидите на улице незнакомого русского — лучше перейдите на другую сторону. Вы будете жить в Америке: узнайте все, что можете, об американцах, о том, как они живут. И не забывайте о своей семье — пишите часто и много,

постарайтесь помочь младшим сестрам чем только сможете. Да благословит вас Господь».

Толпа друзей провожала нас на вокзале. Маня и няня плакали. Папа принес маленькую икону, благословил ею нас и отдал мне. На глазах у него были слезы. Свидимся ли мы еще — никто не знал.

Молоденькая девушка-японка Ситя, которая жила у нас в то время, сказала: «Как грустно! Расставаться и знать, что никогда не увидишься, — это как умереть». Мне ее слова запомнились навсегда. Впереди нас ждала новая жизнь, пугающая и неизвестная...

А с папой мы больше так и не увиделись.



ГЛАВА 22

В АМЕРИКУ

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СУШЕ

В поезде мы ехали втроем в отдельном купе. Маня снабдила нас на дорогу таким количеством еды, чтобы хватило еще и на путешествие по морю. До чего же приятно было растянуться на аккуратно разобранных постелях и вновь засыпать под перестук колес, но на этот раз все было совсем не так, как в прежних наших странствиях всей семьей. Ответственность тяготила меня — мне ведь не только в путешествии, но и в Америке надо будет стараться помогать семье, а значит, я должна так устроиться с занятиями, чтобы начать зарабатывать как можно скорее. Но и свою собственную жизнь мне тоже надо устраивать. Я все думала, что скоро я должна буду выйти замуж, иметь детей — это тоже нельзя надолго откладывать. Впрочем, молодость, любопытство и предвкушение новых впечатлений скоро перевесили все мои тревоги, и на какое-то время я успокоилась.

Путь наш лежал через Корею. На одной из станций я увидела сцену, потрясшую меня так, что я ее запомнила навсегда. Японский полицейский гнал старого корейца с мешком, видимо нищего. Старик замешкался, и японец ударил его по лицу. Тот зашатался и схватился за щеку — на щеке остался след от удара. Я слышала, что корейцы ненавидят японцев, — теперь стало понятно почему: те не считали их за людей.

ПАПИНА ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА

Из Кореи в Японию мы плыли на японском пароходе.

Причудливой извилистой линией возникла перед нами на горизонте Япония — совсем такая, какой она помнилась папе. Пароход причалил в

порту Йокогамы, и у причала нас встретил мистер Чизхолм, сотрудник мистера Бриттона. Бриттон был англичанин, управляющий фабрикой «Бабкок и Уилкокс Дземма», папин друг и бывший сослуживец. Он оказался довольно чопорным человеком, жена у него была американка, а дом — идеальный английский дом. Папу он хорошо помнил и к нам отнесся дружелюбно. Наше горячее желание поступить в Массачусетский технологический институт его тронуло, и он взял нас с собой показать фабрику. Бриттон отвел нас и в американское консульство, где молодой консул проверил наши документы.

Забавно сейчас перечитывать Сережины письма и понимать, до какой же степени он был все еще под советским влиянием: «Britton мне было не понравился. Он богатый; карикатурный; на стене у него висит групповая фотография служебная — все акулы капитализма; на заводе образцовый порядок, массовое производство и эксплуатация; проходя, он запнулся за японку рабочую и не извинился (или чуть ли не оттолкнул); и самое неприятное, на стене у него фотография его дочери в платье феи (лет 8), которая мне, о ужас, немножко не понравилась!

Теперь я думаю, что она, наверно, девочка ОК, и только в тот момент думала, что она красивая и выглядела испорченным ребенком».

Разговаривать мы старались по-английски — более или менее успешно, но у Сережи получалось хуже, чем у меня, и он уехал под впечатлением, что в глазах мистера Бриттона так и остался человеком, не говорящим по-английски. У меня же, как раз наоборот, появилось ощущение, что с «иностранцами» я могу общаться, и они меня стали меньше пугать.

Как писал Сережа в одном из своих писем, «папина волшебная палочка сопровождала нас повсюду в Японии». Папа дал нам подробнейшие наставления, что нам следует посмотреть. Мы уже были готовы любить Японию, нам казалось, что мы эту страну давно знаем, — так много мы слышали про нее от папы. Нам нравились женщины в ярких красочных кимоно, нравилось, как покачиваются бумажные зонтики, когда женщины мелкими шажками идут по улице на своих деревянных дзори, нравились книжные магазины, где ребяташки стояли и читали книги на открытых прилавках, уличные торговцы, на все голоса выкликавшие свой товар, набитые трамваи с вежливыми кондукторами, следившими, чтобы дети не проехали свою остановку, странные бумажные предметы, такие красивые и хрупкие, продававшиеся в лавках за сущие гроши.

Мне немедленно захотелось купить по подарку для каждого из нашей семьи в Харбине. А вещи были такие красивые — чудесные чашки без ручек, миски, чайнички, тонкие ткани, и еще, и еще...

Древний Киото с его восхитительными храмами и ручными оленями, которые ели у нас из рук, нас просто очаровал. Успели мы увидеть и огромную статую Будды в Наре, рядом с которой когда-то сфотографировался папа. Папа как будто незримо присутствовал вместе с нами, мы на все смотрели его глазами.

3 августа все нас провожали, зашли с нами в каюту, оставили там вещи и вышли напоследок пройтись по лавкам. Трогательный прощальный штрих — белые бумажные ленты, конец которых отплывающие по традиции бросали на берег, а оставшиеся ловили там и держали. Пароход медленно отчаливал, и лента — последняя связь с берегом — натягивалась, натягивалась, пока не рвалась окончательно... Хрупкая фигурка Лены уже стала неразличима в толпе на пристани. В первый раз в жизни мы с братом были одни, вдали от семьи.

Я все повторяла и повторяла всплывшие в памяти стихи Буннина:

Прощай, прощай, знакомое, родное,
Все за кормой, и всех как близких жаль,
И день, и ночь — безбрежная стихия,
И день, и ночь — за синей далью даль!¹⁸

ЧЕРЕЗ ТИХИЙ ОКЕАН

Мы плыли вторым классом. Нам досталась уютная каюта с двумя койками — верхней и нижней.

В столовой за обедом второго класса с нами за столом сидели две американские учительницы, довольно чопорные молодые женщины. Мы говорили по-русски, их американского выговора почти не понимали, а они на нас никакого внимания не обратили. Кормили вкусно и хорошо, так что мы призадумались, что же нам делать с едой, которой Маня так щедро снабдила нас. В наших чемоданах лежали куличи, ветчина, сыр и даже бутылка шампанского — «пасхальный стол», самое лучшее, что Маня могла придумать и приготовить.

После обеда мы вышли на палубу. Небо закрывали тучи, обещавшие ветреную погоду на завтра и скрывавшие луну. Стемнело. Сзади на го-

ризонте виднелась полоска огней на берегу, а впереди — огоньки двух пароходов, вышедших из порта прежде нас. Темные волны до самого горизонта оттеняла пенная полоса, тянущаяся за кораблем. Для океанского плавания корабль был маловат, и качка чувствовалась основательно. Впрочем, мы к ней скоро привыкли.

Служитель-японец попросил нас выбрать время, когда мы будем принимать ванну. Сережа выбрал семь утра, а я девять вечера, и, как оказалось, его выбор был гораздо правильнее: мы познакомились с другими молодыми людьми, засиживались с ними вечером за разговорами, и каждый раз меня отрывали от разговора приглашением идти мыться. Впрочем, в первый вечер мы заснули рано и спали беспробудно до самого утра.

Сходили мы на другой день и на нижнюю палубу, в третий класс. Там в основном ехали американские студенты и учителя и семьи с детьми, съездившие на каникулы в азиатские страны. Каюты были некомфортные, большие, по шесть—восемь коек в каждой, как общежития. Студенты старались все время проводить на верхней палубе. И кормили их простой японской едой, какую едят бедняки.

В следующие дни мы все свое время проводили в третьем классе. Когда служитель из второго класса приходил сказать нам, что «ванна готова», или звал нас наверх на обед или ужин, мы уходили, но старались как можно скорее вернуться обратно из своего более роскошного, но скучного окружения. Впрочем, есть и спать во втором классе было гораздо приятнее.

Мы быстро перезнакомились со многими пассажирами, притащили все наши пасхальные припасы и устроили на нижней палубе пир. По вечерам мы танцевали под виктролу и засиживались допоздна на палубе — смотрели на светящийся след от парохода и на медуз, плывущих за кормой, как маленькие фонарики, и говорили, говорили без конца. Наконец, когда уже все остальные спали, появлялся служитель и прекращал наши шумные сборища. Он даже порой запирает салон и прогонял нас по каютам.

Узнав, что мы русские, люди засыпали нас вопросами, и первым неизменно был: «А вы белые или красные?» На такой вопрос вообще было трудно внятно ответить. Нас этот прямой вопрос шокировал, мы политики вообще не хотели касаться, но оказалось, что это невозможно. В то же время чувствовалось, что американцы о России почти ничего не знают, и суждения их казались нам ужасно наивными.

Наши попытки говорить по-английски были встречены с энтузиазмом, все хотели нам помочь и поправляли нас. Про Массачусетский технологический институт, куда мы хотели поступать, сказали, что это лучшее учебное заведение в США, только поступить туда трудно, и я сразу начала беспокоиться — а вдруг меня не примут?

Домой мы писали каждый день на обороте разноцветных обеденных меню, которые нам давали в столовой.

Для меня все кончилось неизбежным романом и предложением руки. Малкольм Праудфут учился на старшем курсе Чикагского университета и специализировался по политической экономии. Он прожил три месяца в России, где у него была сестра замужем за немецким инженером. Нарядившись в русскую вышитую рубаху и татарскую тюбетейку, Малкольм любил рассказывать о своих путешествиях и приключениях, в том числе и в России, куда он отправился после того, как целый год работал в Германии и изучал русскую экономику. В России он собирался познакомиться с ее грандиозными строительными проектами, а столкнулся с ее реальностью. Все, что он рассказывал, повергало меня в шок: абсурдность экономики, бессмысленное и неэффективное планирование, скверные стандарты в строительстве. «Все, что строят, они или бросят, или будут потом переделывать, а использовать конструкции можно будет только лет через пятьдесят, — говорил Малкольм. — Все они очень дороги, а населению обходятся еще раза в два дороже, так как товары продают за границу для получения валюты за цену в два раза дешевле. Об ошибках говорить боятся, даже если осознают их. Никто ничего не хочет подписывать — боятся обвинений во вредительстве».

Я была просто убита — ведь не только я сама, но и все мои друзья мечтали поехать в Россию и участвовать в осуществлении великих планов строительства светлого будущего. «Как я рад, что не родился в этой стране, — говорил Малкольм и, утешая меня, добавлял сразу же: — Но ты все-таки гордись своей родиной». Слушая его рассказы, я мысленно уже писала обо всем этом Тане, которая так пылко увлекалась всем советским. Сама же я успокаивалась, убеждаясь, что мое решение ехать в Америку правильно, по крайней мере пока.

Все, что касалось Малкольма, в моих глазах было необычайно — его рассказы о путешествиях, его независимость, благодаря которой он казался старше своих ровесников, его речь, более понятная, чем у других аме-

риканцев, — может быть, оттого, что он знал, что значит изучать иностранные языки, и разговаривал со мной намеренно четко. Сам он, впрочем, заявлял, что просто «более образован, чем все эти американцы».

Малкольм обычно старался избегать остальной компании, и мы с ним часто уходили в салон играть в шахматы. Я ему рассказала, что должна сначала закончить обучение, а потом помочь младшим сестрам, а только потом смогу думать о замужестве. Но сама-то я думала: «Мне уже двадцать три, вот-вот будет двадцать четыре — как раз пора думать о замужестве». Впервые я почувствовала какое-то влечение, впервые мне нравилось целоваться... Я решила, что за этого человека я, наверное, выйду замуж — когда-нибудь. Образ Юры Айнгорна постепенно бледнел в моей памяти.

НЕПОНЯТНАЯ ТЕЛЕГРАММА

14 августа неожиданно пришла телеграмма от мистера Крейна:

Пожалуйста оставайтесь Сиэтле до получения распоряжений относительно изменившихся планов и телеграфируйте адрес Чарльзу Крейну 522 Пятая авеню Нью-Йорк сердечный привет.

Мы терялись в догадках. Что это значит? Мы не поедem в Массачусетский институт? И, может быть, вообще не будем учиться? Может быть, Крейн раздумал нас приглашать и отошлет обратно? Сережа, впрочем, меньше горевал, чем я, и был уверен, что как-нибудь в конце концов все образуется. До Сиэтла оставалось еще четыре дня пути, и прошли они тяжело. Вдобавок испортилась погода, море стало бурным, и Сережа сильно страдал от морской болезни. Мне тоже было не по себе, но я вполне могла выдержать, если поменьше вставать с койки. Я могла даже дойти до столовой и поесть, а Сереже было совсем плохо.

17 августа после двух недель в открытом море мы приблизились к берегу.

Поздно вечером, в темноте мы вдвоем с Сережей и Малкольмом стояли на палубе. Я вдруг заметила вдали огни Сиэтла. «Я надеюсь, эта страна станет для вас родной, — сказал Малкольм. — И надеюсь, вы будете счастливы».

На следующее утро, когда мы проснулись, пароход уже причалил и нас ожидало письмо:

Дорогие друзья,

По распоряжению мистера Крейна мы посылаем радиосообщение на борт «Хикава Мару» и просим вас не отправляться немедленно в Нью-Йорк, а задержаться в Сиэтле.

Мистер Крейн считает, что вам обоим лучше остаться на год на западном побережье, с тем чтобы Сергей поступал в колледж Помона, а его сестра — в колледж Скриппс. Оба колледжа расположены в Клермонте, в Калифорнии, в нескольких милях от Лос-Анджелеса.

Занятия в обоих колледжах начинаются 18 сентября. Вам желательно прибыть в Клермонт к 10 сентября, в связи с чем мистер Крейн считает, что не стоит предпринимать долгое путешествие в Нью-Йорк и обратно.

Он предлагает, чтобы вы оба провели несколько дней в Сиэтле, посвятив один из дней знакомству с университетом Вашингтона и, возможно, один день Спокане, и предлагает также, что свяжется с сотрудником своей компании в Сиэтле, с тем чтобы кто-нибудь помог вам.

Затем мистер Крейн предлагает, чтобы вы провели неделю в Сан-Франциско, посетили Стэнфордский университет в Пало Альто и Калифорнийский университет в Беркли.

В сообщении, отправленном на борт парохода, мы просили вас сообщить в Нью-Йорк ваш адрес в Сиэтле.

В случае, если ваших средств недостаточно на расходы в Клермонте, пожалуйста, сообщите нам телеграфом.

Сердечно ваш

Дональд М. Броуди

Итак, страхи наши оказались напрасными, но нынешний план так сильно отличался от прежнего, что понадобилось время, чтобы к нему привыкнуть. Сережа сразу воспринял эти изменения как попытку ограничить его свободу выбора. Меня больше всего огорчала перспектива, что мое обучение затянется и тем самым отодвинется момент, когда я смогу помогать семье. Названия колледжей, упомянутых в письме, нам ничего не говорили. Впрочем, у нас теперь, к счастью, были американские

друзья, особенно Малкольм Праудфут. Уж они-то наверняка все знают об американских колледжах. И мы побежали на нижнюю палубу.

Друзья сказали, что за нас можно только порадоваться, поскольку эти колледжи — прекрасные гуманитарные школы, и проучиться в них год — самое верное средство хорошо выучить английский и познакомиться с Америкой. Малкольм мечтал, что я приеду учиться в Чикаго, но и ему пришлось признать, что план мистера Крейна очень хорош и что можно подождать год в разлуке.

Со многими из наших новых друзей мы переписывались потом по многу лет.



ГЛАВА 23

В АМЕРИКЕ

Малкольм очень заботился о нас: помог пройти через таможню, нашел для нас гостиницу, привез туда на такси и обещал показать нам город. Сотрудник из компании Крейна наведался к нам и был очень рад узнать, что мы можем обойтись без его помощи. Все было замечательно: и наша комната в гостинице на восьмом этаже, откуда открывался чудесный вид, и сухие кукурузные хлопья на завтрак (они мне так понравились, что я с тех пор в течение двадцати лет ела на завтрак только кукурузные хлопья), и красивый город, где мы сразу почувствовали и оценили, что можно не остерегаться грубости прохожих или полиции, а самое главное — забота Малкольма.

По совету Малкольма, мы отправились в Сан-Франциско самым дешевым способом — на автобусе транспортной фирмы «Грейхаунд». Так мы могли ехать все втроем и заодно увидеть знаменитые калифорнийские секвойи. Из Сан-Франциско Малкольм намеревался отправиться на поезде прямо в Чикаго.

Автобус поражал своим размером и комфортом, но мы уже не так изумлялись роскоши, мы стали к ней привыкать. В лесу, где росли секвойи, автобус остановился, мы вышли с другими пассажирами и погуляли среди огромных стволов. Одно огромное дерево мы втроем попытались обхватить, но не смогли. Ах, какие они были прямые и высокие — у меня даже голова закружилась, когда я попыталась рассмотреть верхушки. Путешествие, конечно, стоило затраченного времени.

В Сан-Франциско мы сняли комнату у знакомых наших знакомых, русской семьи Лебедевых. Малкольм тоже снял у них комнату на одну ночь. Лебедевы уехали из Харбина за несколько лет до нас. В доме у них мы сполна наслушались и о депрессии, царившей в те годы в США, и о проблемах эмигрантской жизни. Братья Лебедевы работали, у них была машина, но, чтобы подработать, они сдавали комнаты. Они нас живо

расспрашивали о харбинских новостях и общих знакомых. Семья была приветливая и гостеприимная, они нам очень понравились. Но они жили в Сан-Франциско в основном среди русских, ели русскую еду и сохраняли русские традиции. Я сразу вспомнила папины наставления, как он предостерегал меня не оказаться в «русском гетто». Я торопилась скорее окунуться в американскую жизнь. «Колледжи, в какие мы едем, это очень оригинальные закрытые учебные заведения, и там совсем нет русских, что самое важное», — писала я папе.

Встретили мы там и других русских, например Сергея Фоменко, талантливое музыканта, работавшего помощником по дому в одной американской семье в надежде заработать на дальнейшее музыкальное образование. Хотя он и смог купить себе пианино, но так уставал к вечеру, что на музыку его уже не хватало. Он мог бы зарабатывать, аккомпанируя танцевальным группам, но тогда заработок был бы значительно меньше. Познакомились с двумя русскими девушками, приехавшими в город заработать денег, чтобы помочь своей семье содержать ферму. Ферма была большая, в 2000 кур, но все равно семью не обеспечивала. Старшая из девушек хотела продолжать учиться, но приходилось работать. Младшая и вовсе была без работы. В целом русские, которых мы встретили в Америке, не считали, что образование поможет им в жизни.

Американцы, наши новые знакомые с «Хикава Мару», показали нам город, университет Беркли и даже свозили нас в Пало Альто посмотреть Стэнфордский университет, где когда-то учился профессор Дрожжин.

В колледжи нас зачислили без всяких проблем. Сереже засчитали те курсы, которые он сдавал в Харбине, и он вполне мог получить степень бакалавра уже в конце этого года. Он решил изучать английский язык, американскую историю, психологию и живопись. Сережа поселился в общежитии, и соседом его по комнате был Роберт Тейлор, впоследствии знаменитый киноактер.

Что касается меня, то я просмотрела список курсов, мне они все показались очень легкими, и я решила записаться сразу на многие из них. Я уже стала мечтать, как через год получу докторскую степень и начну исследовательскую работу.

Колледж Помона, где учились и юноши и девушки, был старым колледжем со множеством традиций, с хорошим концертным залом, многочисленными лабораториями, собственной обсерваторией и футбольной командой, в то время как колледж Скриппс представлял собой небольшой женский колледж, принимавший не больше 200 студенток, основан-

ный недавно — у него за год до того прошел первый выпуск — и, конечно, стремившийся завоевать репутацию серьезного учебного заведения. В маленьких общежитиях, построенных в испанском стиле, жили по 50 студенток, каждая в отдельной комнате. Везде чувствовалась домашняя атмосфера, лежали ковры, стояла мягкая мебель. К столу полагалось приходить обязательно и вовремя. Мальчикам разрешалось входить только в общие гостиные, где мы с Сережей и могли встречаться. Вечером нельзя было возвращаться позже десяти, но несколько раз в семестр можно было получить разрешение прийти к двенадцати ночи, а один раз в семестр — к двум. Мне эти ограничения казались унижительными, и я решила никогда о таком разрешении не просить.

В первый же день, как я вселилась, незнакомая девушка в коридоре вдруг обняла меня и воскликнула: «Как я рада! Ты первая иностранка, с которой я встретилась!» Все другие тоже были очень приветливы и старались помочь мне с языком. Все спрашивали о моем прошлом, и я старалась отвечать, но вскоре поняла, что им это все очень уж чуждо. К тому же они были моложе меня на несколько лет, хотя и казались, на мой взгляд, гораздо старше, хорошо одетые, завитые, подкрашенные и с украшениями — у меня украшений не было совсем.

Основой учебной программы в Скриппсе была история цивилизаций, обязательная для всех в первые два года. На каждом из предлагавшихся курсов изучался какой-то аспект одного и того же исторического периода, а в конце второго года полагалось сдавать экзамен по всей тематике. Я, с моим примитивным английским и единственным годом пребывания в колледже, в этой программе участвовать не могла. Меня очень беспокоило, что мое техническое образование откладывается, и я старалась найти курсы, полезные для меня профессионально. Естественные науки можно было проходить в колледже Помона, но кроме астрономии, на которую я записалась, все остальные предметы я уже изучала раньше.

Из тех курсов, что предлагались студентам, мне казались интересными все. Но, поскольку можно было выбрать только пять, я выбрала английский для начинающих, французский, немецкий и историю Америки. А из спортивных уроков я остановилась на верховой езде. Здесь мне пришлось осваивать новое тонкое седло, потому что в России нас учили кататься на так называемом «казацком», толстом седле.

Такой выбор занятий не помогал мне осваивать английский язык. Кроме того, получалось, что основная специальность у меня — «иностранная литература». Английский я знала довольно слабо, и к концу года

получить степень я никак не могла. Для моего технического образования Скриппс тоже ничего не давал.

Через пару недель стало понятно, что я не успеваю читать все, что надо по истории Америки, и пришлось этот курс бросить. У меня осталось только четыре курса, меньше посещать не разрешалось, поэтому просто стать вольным слушателем на курсе французского языка было нельзя. Я с детства читала медленно, а здесь эта проблема стала во много раз острее. Работая больше, чем когда бы то ни было, я все равно видела, что ничего не выходит, и падала духом. Мне казалось, что главная польза просто от разговоров с девочками и слушания лекций, но моей наставнице так не казалось.

Когда на курсе английского нам задали написать одноактную пьесу, я написала пьесу про то, как человек прятался у нас в подвале в Омске, а военные пришли с обыском. Я очень старалась, но преподавательница, прочтя пьесу, сказала только: «Разве люди в жизни произносят такие длинные речи?» Конечно, казалось мне.

Сереже было гораздо легче — он читал быстро, память у него была замечательная и никаких проблем с правописанием ни на каком языке. Перед выпуском полагалось сдать экзамен по иностранному языку. Русский не разрешался, и он решил сдавать немецкий (которого раньше никогда систематически не изучал), попросил отсрочку и за две недели подготовился самостоятельно и сдал экзамен.

Сережа восторженно относился ко всему американскому, а я нарочно выискивала отрицательные стороны. Но когда дело доходило до споров, а споры были долгие и страстные, он был намного сильнее меня! Он восхищался футболом, а мне там было скучно и слишком шумно. И друзей ему было найти легче, чем мне, потому что в колледже Помона не было выпускных курсов и все студенты были не старше 22 лет (мальчики в моем классе астрономии были значительно моложе меня, и мне с ними было неинтересно), а в Скриппсе я чувствовала себя очень странно среди одних девушек.

Я писала домой длинные подробные письма и посылала маленькие подарки, какие могла купить в местном магазинчике «five-and-ten cents store» (мы его называли «пятицентовка»): маленький платочек для Лены, пару нейлоновых трусиков для Тани, ножик для чистки овощей для Мани, линейку с вырезами в форме химической посуды для Зои или просто десятицентовую монетку для Кати. Иногда мне удавалось купить что-нибудь

дешево, и тогда я посылала посылки с одеждой. Каждому из домашних я писала отдельные письма, как папа делал, когда уезжал по делам. Я знала, что каждый прочтет свое письмо всем остальным, кроме самых личных мест, — и чтение новостей вслух, и тайна личной переписки у нас строго соблюдались.

Сережа писал почти так же часто, как и я, но его письма были общие и обращений к кому-то по отдельности он старался избегать. Папа тщательно сохранял все наши письма. Толстые папки с этими письмами потом привезла в Америку Лена. Вместе с нашими ответами теперь это бесценная часть моего архива.

Архитектура Скриппса в испанском стиле, пальмы, эвкалипты, великолепные и все время такие разные горы со снежными вершинами, апельсиновые рощи в предгорьях — все это казалось чем-то нереальным, будто в раю или в картинной галерее. Все вокруг каждую минуту вызывало восхищение, нельзя было ни на минуту расслабиться, я стала уставать. Все было чужим, не было просто растущей, неподстриженной травы, чтобы на ней росли цветы и были протоптаны дорожки. Трава либо выгорала на солнце, либо ее подстригали и поливали разбрызгивателем из подземных труб. Заборов нигде не было, дома открыты всем взорам. И пальмы были чужие... Нигде ни березки, ни другого лиственного тонкого деревца. Впрочем, постоянно хорошая погода все скрашивала.

Из моего письма к Мане в конце октября: «Странно, но я здесь по всем вам не скучаю. Не потому, что вас не люблю, а потому, что вы здесь все со мною все время. Я думаю о вас, говорю о вас, воображаю вас в этой жизни, как бы вы поступили...»

Папа писал длинные, нежные и подбадривающие письма. Он их печатал на машинке на тонкой бумаге через один пробел и без всяких абзацев, по одному экземпляру посылал и мне и Сереже, а одну копию оставлял себе. Он отзывался на все наши новости, сообщал, что происходит дома, какие переводы делает и сколько заработал. Папа требовал, чтобы все домашние писали свои письма, и очень поощрял друзей, приходивших в дом, чтобы они приписывали что-нибудь к его письмам. Часто он присылал нам копии своих писем родным, стараясь, чтобы и с ними мы не теряли связь.

Теперь основным кормильцем семьи стала Лена, и во многих письмах папа упоминал, что ей пора поступать в университет и что нам надо постараться устроить что-нибудь для нее в Америке, желательно и для Тани

тоже. «Не могла бы ты написать Крейну?» — спрашивал папа. Но после всего, что Крейн сделал для нас, я никак не могла у него еще что-то просить. Разве можно? А сама, сидя в этом чудесном колледже взаперти, как в пансионе, вся с головой в своих занятиях, я и вовсе не могла их привезти сюда. Я придумывала множество способов, как им тут получить образование, но как их сюда вытащить? Разрыв между роскошью, в которую я попала, и нуждами моей семьи выводил меня из себя. Мне это даже по ночам снилось. Между тем в газетах сообщали страшные новости: японско-китайские отношения ухудшаются, и Япония может оккупировать Харбин. Случись так, нам пришлось бы ждать шесть недель, не меньше, чтобы просто узнать, что с нашей семьей. Я с ума сходила, зная, что денег, чтобы уехать куда бы то ни было, у них нет. Мысль, что их могут депортировать в СССР, приводила меня в ужас.

28 октября я писала домой:

Милый папа и все, все...

Я ничего не написала вам в это воскресенье — совещусь. Сегодня уже среда. От вас что-то давно нет ни слова, а ведь вас-то больше, чем нас, и уже можно надеяться один раз в неделю получать письма! <...> Я была на концерте симфонического оркестра в Лос-Анджелесе (это 35 миль \times 1.5 = 52.5 версты! — ехать послушать концерт!). Взяла меня с собой одна из девочек, очень милая обаятельная Анне Норкинс — ее бабушка много помогает колледжу — богачка невероятная. Мы заехали в ее дом, позавтракали и после концерта заехали к ее кузену обедать. Так что я посмотрела немного эту жизнь — американских миллионеров — с внутренней стороны, впервые ела американский домашний завтрак. Очень все это красиво, богато и просто в смысле тона, но уж ужасно пусто. Собственно, у них почти никаких интересов, кроме собственного развлечения, пусть культурного. Но странно, вот мы говорим о свободе, стремимся к этой свободе, а тут она достигнута, по крайней мере для тех, кто имеет немного денег. Свобода абсолютная и в словах, и в делах, и в передвижении. Но самое главное, что она индивидуальная, я могу сказать, она слишком отделяет людей друг от друга, у них ничего нет связующего, и поэтому понятна их невероятная вежливость и внимательность — она их ни к чему не обязывает. Все их общественные организации, клубы и т.п. как-то не составляют единого целого, а состоят из единиц, которые, собственно, ничем друг с другом не связаны. И люди мыслящие, желающие обществен-

ной жизни, это чувствуют, этим тяготятся — общественной жизни здесь нет. Сегодня он в клубе, завтра он на автомобиле и поехал проводить зиму в Чикаго, а летом поедет в Европу, и никакого ему дела нет до того, что там в клубе делается, так же как и клубу до него. Одни берегут эту свободу, другие ею тяготятся. Вот получили, кажется, воплотили в жизнь то, что так многим хотелось — и оказалось, что это не так уж хорошо. Я говорю, конечно, о принципе, о теоретическом осуществлении этой «американской свободы», которая сейчас здесь существует только для тех, у кого есть деньги или кто служит. Для безработных, конечно, это иначе. Но вопрос — м.б., этот идеал вовсе не так уж идеален? Во всяком случае, сначала он приятен — приятно отдохнуть в независимости после слишком большой зависимости. Но человеку свойственно любить зависимость, когда он чувствует себя связанным с другими, частью одной активной толпы, если хочешь. Во всяком случае, это проблема довольно трудная и, по-видимому, в идее социализм лучше анархизма?!

Я полностью ушла в учебу, но чувствовала себя уверенно только на уроках астрономии. Языки мне давались трудно еще и потому, что у меня не было ни русско-французского, ни русско-немецкого словарей, и мне порой приходилось смотреть во французско-английском, где я находила или почти то же самое слово (только с другим произношением), или несколько других, которых я тоже не знала и надо было их искать в англо-русском, в результате чего я оказывалась с десятком новых слов и из них теперь надо было выбирать. Для англоговорящих оба словаря были настолько проще! Я только поражалась, как быстро продвигаются мои однокурсницы. Хорошо, что одна учительница предложила заниматься со мной произношением, а одна из девушек взялась помогать в английском.

Все наши друзья покидали Харбин. Лена и Таня склонялись к тому, чтобы ехать в Советский Союз. Денежное положение семьи было катастрофическим. Лена давала несколько частных уроков, Таня еще училась в школе, папа трудился над переводами за мизерные деньги. Нам с Сережей удавалось, урезав расходы, посылать домой по 10 долларов от каждого ежемесячно. Иногда мне удавалось подработать, обслуживая столы в студенческой столовой, и тогда у меня появлялось еще несколько долларов, конечно тоже для дома.

Из дома приходили письма то от папы, то от других членов семьи. Лена писала о своих и Таниных планах, связанных с отъездом в Россию: «Не

думайте вызывать нас в Америку в ближайшие 4 года. Если можно будет помочь нам денежно, то будет очень хорошо. Но я уже решила — этот месяц был переломным в моей жизни, что буду кончать здесь, что даст мне возможность 4 года побыть с семьей. Ты знаешь, что я теперь заменяю тебя и мне невозможно уехать через год просто потому, что дома без трех старших не обойтись, и папа совсем захандрит, в то время как сейчас дома все в порядке, все в хорошем настроении и никогда не ссорятся. Я имею большое влияние на папу. К тому же, Муля, мне будет легче в жизни, если я выберу дорогу сейчас и если уж я буду честно строить жизнь без расчетов на внешние обстоятельства. Этот год посвящен самой интенсивной работе в форме самоуглубления, общего образования и развития. Практически — выучу языки. Но уж надо, Муля, идти всей душой, если входить в советские организации. Я иду на это и поеду в Америку только тогда, когда буду установившимся, определенным человеком, с четкой, веской жизненной тропой, когда мне не нужно будет выбирать, а только развиваться и заполнять умственный багаж. Знаю, что вход в советские двери будет сопряжен с борьбой, но буду бороться, и у меня есть друзья, которые мне помогут.

Каждый идет по жизни собственной дорогой. Так надо, чтобы каждая жизнь была яркой. Твоя и Сережина жизнь безусловно будет яркой. Моя, может быть, не так, но я уверена, что и в ней будет достаточно моего солнца, и моего счастья, и моей глубины».

Я поразились, как повзрослела Лена с тех пор, как мы расстались, и все думала о ее планах на будущее.

Рождество 1931 года

Рождественские каникулы начались 18 декабря. Сереже, как и прежде, позволено было оставаться в общежитии, а мне пришлось выселяться. К счастью, у меня было несколько приглашений на каникулы, и я отправилась к Нине Браунриг, девочке, которая помогала мне с английским. В колледже перед Рождеством традиционно происходило много празднеств — я в первый раз услышала кэролс (рождественские песенки), увидела американские праздничные украшения, писала рождественские открытки, присутствовала вместе с другими на общей рождественской встрече, как принято в американских колледжах. Даже не было времени писать письма.

Нинина семья жила недалеко от Клермонта. Дом их стоял среди апельсиновых и лимонных рощ, в трех милях от ближайшего города, в восьми милях от города Помоны. В просторной гостиной в большом камине все время горел огонь, всюду были ковры, мягкие кресла, низкие лампы. Для гостей в доме было несколько спален, каждая с отдельной ванной.

Обаятельная миссис Браунриг приняла меня очень тепло. Каждый день был чудесный обед, на некоторые из них приглашали и Сережу. Вместе с семьей моих хозяев я ездила покупать подарки, а на Рождество мы съездили в Лос-Анджелес к их родственникам.

Свозили меня и в Калифорнийский технологический институт в Пасадену и познакомили с его сотрудниками. И тут я, к своему негодованию, узнала, что хотя это такой же хороший институт, как и Массачусетский, но я в него поступить не имею права, поскольку туда не принимают женщин. Я была просто в шоке — не знала, что в университетах бывают такие ограничения. А в Массачусетский принимают? Оказалось, никто не знает.

Теплое гостеприимство Браунригов меня тронуло. Все время в Калифорнии, с самого момента приезда я встречала очень много этого избыточного дружелюбия, но оно мне всегда казалось каким-то поверхностным. Я чувствовала, что мои тревоги, заботы, волнения им чужды и на самом деле они ничего не хотят о них знать. Но я принимала это как есть и старалась отвечать так же дружелюбно.



ГЛАВА 24

ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР 1932 ГОДА

После каникул начались экзамены, а вместе с ними мое мучение с правописанием. Как же хорошо было раньше, в институте в Харбине, где экзамены были устные!

В феврале приехал в Калифорнию мистер Броуди, пригласил нас с Сережей на ланч, расспросил о наших планах. Решено было, что Сергей будет поступать в Массачусетский технологический институт, а мне мистер Броуди предложил Редклиф-колледж (колледж для женщин при Гарвардском университете) или в Колумбийский университет в Нью-Йорке. Все как-то сомневались, надо ли мне поступать в Массачусетский технологический институт, — доктор Эдвардс, президент Скриппс-колледжа, и мистер Броуди даже написали об этом папе. Я-то сама по-прежнему очень туда хотела, но не решалась слишком настаивать.

А папа все продолжал писать почти в каждом письме, как необходимо Лене (а может быть, и Тане) приехать в Америку продолжать образование. Он все сильнее и сильнее на этом настаивал. Письма от сестер были иные — чувствовалось, что под влиянием советской школы и окружения друзей, многие из которых собирались в СССР, обе они в Америку ехать не хотят.

Очень тревожное письмо пришло от Мани — она писала, что Таня, которая теперь вся жила конькобежными соревнованиями и даже победила в эстафетной гонке, пригласила домой товарищей по команде и, боясь, что висящие в доме иконы могут ее скомпрометировать и тем самым отдалить от друзей, сняла их и спрятала. Маня негодовала. Сама мысль, что Таня могла стыдиться, что семья ее религиозна; что она посмела снять иконы, которые для остальной семьи столько значили, — это было ужасно. Таню сурово отругали, но Маня не могла успокоиться, Танин поступок обидел ее невероятно. Я старалась ее успокоить, писала, что лучше всего учиться на собственных ошибках, но не знаю, помогло ли мое письмо.

Танина команда выиграла эстафету в основном благодаря Таниному участию, но на соревнованиях она простудилась и слегла с ревматической горячкой. Ни один из товарищей ее не навестил — несмотря на все Танины усилия и успехи, она так и не стала «своей» в их среде. Это очень возмущало Лену, она видела в таком отношении общее пренебрежение к человеку, характерное для «советской» молодежи. Я думала о сестрах беспрерывно и решила спросить совета у Вернадских — наших единственных родственников в Америке. В ответ я получила очень теплое письмо, где они советовали нам постараться устроиться в Бостоне, а как вариант — приехать в Йейл, где Георгий был лектором.

Очень трогательно было, что Вернадские действительно воспринимают нас как родных, но письмо их ничем не помогло, а только прибавило новых вопросов.

В те же дни я написала Дрожжину, который стал после моего отъезда частым гостем нашего дома в Харбине. Он недавно съездил в СССР, и я спрашивала его мнения, можно ли там жить. В Америке, писала я, всего вдоволь, но, может быть, там, в СССР, больше возможностей?

Ответ Дрожжина меня поразил. Я всегда относилась к нему с почтением, он был мой учитель, я помогала ему с книгой, но никаких личных разговоров у нас никогда не было, о его жизни я ничего не знала. Письмо, пришедшее от него, было совершенно личное, к нему была приложена его фотография. Я подумала — наверное, мое письмо показалось ему созвучным его собственному настроению. Дрожжин не только рассказывал о своей поездке, но предлагал мне приехать в Харбин на каникулах, закончить там институт и защитить дипломную работу; обещал помочь и с деньгами, и в научных занятиях, и даже встретить меня в Японии. Рассказывал, что был очень несчастлив последние годы, что похоронил себя в работе, что поездка его в Европу имела личные причины. Он надеялся, что я пойму его радость обретения личной свободы. «Я хочу жить и буду жить, — писал он и прибавлял: — Сожалею, что Америка похитила вас, пока я был в Европе».

Еще в письме говорилось о том, что он жил за границей с 1923 года, но в России чувствовал себя совершенно как дома. Он надеялся, что мог понимать советских людей, но они его, кажется, не очень понимали. Он чувствовал, что в СССР за ним наблюдала секретная полиция, и считал, что сейчас возвращаться еще рано. Однако рассвет уже близко. Там все еще творится много жестокости, но свет в конце туннеля уже виден. Труд

облагораживает людей... В России появилось много разумных молодых людей, поживших за границей, которые хотят построить новую жизнь. Идея мировой революции понемножку сходит на нет. Стало возможно говорить с людьми — образование, пусть пока в самой примитивной форме, смягчает нравы. Поэтому ему хотелось бы оставаться на стороне советской России, и он надеялся, что на родине найдется применение его способностям. Он призывал меня проявить отвагу. «Отвага облагораживает жизнь», — писал он.

Я была ошеломлена — я ведь именно это и хотела услышать. Поехать обратно в Харбин, хоть ненадолго, увидеть свою семью, друзей — у меня прямо дух захватило... Я рассказала Сереже о своих переживаниях, и он пришел в ярость. Он просто не мог понять, как можно не восхищаться всем, что нас окружало в Америке. Мы страшно поссорились.

Я написала длинное письмо папе о предложении Дрожжина. Писала о своих сомнениях и разочарованиях относительно своей судьбы, Малкольма и других американцев, о том, как они относятся к женитьбе в целом, о своих страхах и сомнениях, смогу ли я прижиться в Америке: «Если я не выйду замуж в течение ближайших пяти лет, то это только покажет, что американцы, а следовательно, и Америка меня удовлетворить не могут. Тогда мне здесь не место. <...> У меня есть жизнь, сила, энергия, любовь. Нужна для этого идея, чтобы этим жертвовать. А чему здесь жертвовать? Эмигрантов я не люблю, а обеспеченные американцы не понимают и абсолютно не хотят этой жертвы. Не заниматься же здесь помощью беднякам, работая над американской революцией, потому что всякое соприкосновение с ними немедленно влечет возмущение капиталистическим строем». Писала я также, что в Америке царит депрессия, процветает бутлегерство — контрабандная торговля спиртным, что деньги здесь — это все, а уважают только тех, у кого они есть. Что одна актриса, с которой я познакомилась, сказала, что так больше не должно продолжаться, и хотела поехать на год в Россию, посмотреть, не нашли ли русские другой выход. Все, что я в себе ценила, здесь было лишним и ненужным, а то, чему я не придавала значения, было важно. Даже при том, что мой английский стал значительно лучше, мне так не хватало богатства и силы моего родного языка, его звучной и прекрасной поэзии! Если у меня когда-нибудь будут здесь дети, то воспитать их как людей русской культуры и языка — значит сделать их несчастными и чужими для их окружения, а воспитать их полностью американцами будет означать, что они чужие для меня, и я буду очень несчастна.

Получить диплом в Харбине за два месяца, как это предлагал Дрожжин, мне казалось совершенно невыполнимым, особенно потому, что я совершенно лишена была каких бы то ни было технических занятий в течение всего года. Теперь даже в самом лучшем случае на такую работу ушел бы целый год. В заключение я писала: «Сейчас моя мечта (мечты никогда не сбываются) устроить все для Ленки до весны, поехать самой в Харбин, побыть месяца два и вернуться с Леной. Пробыть год в MIT. Получить мастера, а там видно будет, м.б., и укатить в Россию, если все для остальных будет устроено. <...> Жду длинного, подробного ответа как можно скорее».

Ждать ответа пришлось полтора месяца.

В американских газетах сообщения о событиях в Маньчжурии были скудными, но и те немногие заметки, которые я прочла, звучали страшно: между Японией и Китаем шла война. 16 марта газеты сообщили, что японцы заняли Харбин.

Зная, где расположен наш дом, я не сомневалась, что японские войска шли как раз мимо нас (так оно и оказалось). Телеграммы не доходили, пришлось ждать еще по меньшей мере три недели — и я не помню, как их прожила, — пока наконец не пришло письмо, где говорилось, что все живы и целы, что в ночь, когда японцы вошли в Харбин, все мои сестры ночевали у друзей, а папа, Маня и няня остались дома, сознательно не заперев, пока японские войска маршем проходили мимо. Их никто не тронул.

Теперь Маньчжурия называлась Маньчжоу-го, правили там марионеточное правительство в Мукдене и японская администрация в Харбине. Ситуация стала стабилизироваться. У нас дома пока все шло без изменений. Многие из наших старых друзей уже уехали или собирались уехать.

В ожидании письма заниматься уроками было очень трудно, я отстала и теперь должна была нагонять.

В конце марта я наконец получила письмо от папы, написанное 8 марта. После новостей папа переходит к главному: «...я все время рекомендую осторожность, внимательность, смирение и пр. молчалинские качества. В каждом письме я о них пишу: собаке дворника, чтоб ласкова была... Но правильно ли это? Я-то сам разве пример этим качествам по моей бурной молодости с кильватерными колоннами и тройками из поведения по 12-балльной системе. Не лучше ли — валяй жизнь всю, молодость, смелость, даже смерть, если надо, не правда ли, красивей? <...>

Так вот, я думаю, что все эти “хорошие” качества смелости жизненной, самостоятельности и честности я давно уже в вас вложил, да и сами вы их от природы имеете особенно от мамы, я даже все боюсь за Мулину “жертвенность”... Ну а если все эти хорошие стороны есть, так, может, и правильно предостеречь и напоминать об этом почаще насчет осторожности. Все это было хорошо в свое время и в своем месте — на родине, где ты твердо знал, что встретишь сочувствие, тебя оценят, да и все равно из родины никуда не вывезут, разве что в ссылку политическую, легкую, так это даже щекочет самолюбие: какой ты счастливый, ты сидел два раза в тюрьме... Все это “темпо пассате”, все это было в совсем другие времена, и теперь это и не оценят, даже просто осудят — буржуйность, несовременное рыцарство, даже просто глупость и т.п. Теперь другое стало время — теперь нам ум и труд нужны... это вторые строчки старинной студенческой песни: пора, пора нам сбросить бремя низкопоклонной старины, теперь другое стало время... итак, что же теперь нужно: труд, т.е. работоспособность, здоровье физическое, желание и умение работать — и вот именно этому надо вам в Америке учиться... Это нисколько не отменяет поэтически сантиментальной стороны жизни, без которой — помоему — и жизни нет — без любви. Это все также необходимо и также хорошо. Альтруизм и пр. — даже с эгоистической точки зрения: приятно делать добро и особенно приятное другим, но именно потому, что мне это самому приятно... Словом, в остальных деталях вы разберитесь сами — только помните, что я считаю, что уже оправдал мои молчалинские советы (вообще моим детям и в частности вам в Америке)».

Не могу вспомнить точно, как мы реагировали на письмо, но в целом это было что-то вроде: «Ну-у, мы все это знаем! Слыхали много раз». Но я уверена, что, прочтя все это, так четко изложенное в письме, мы тем не менее были тронуты и укрепились в том, что усвоили от папы с детства.

По-английски я теперь говорила лучше, но новых друзей у меня от этого не прибавлялось, и со старыми я тоже не сближалась. Новизна роскошной жизни и райского климата уже стерлась. Малкольм продолжал писать страстные письма и не мог дождаться, когда же мы поженимся, но письма эти стали мне казаться пустыми. Когда в одном из них он сообщил, что уже «созрел» для женитьбы, я почувствовала себя только что не оскорбленной. Ему нужна была жена «для себя», а мне, со всеми моими стремлениями, он помогать не собирался. Он не мог заполнить той огромной пустоты, что я в себе ощущала. Мне хотелось заниматься иссле-

дованиями, быть полезной обществу, а до того — поставить на ноги всех моих сестер, которым сейчас я должна была помогать материально.

Малкольм прислал мне несколько фотографий, сделанных в России. Мне еще больше захотелось домой, особенно после его замечания, что на фотографии видна русская мостовая с ужасными выбоинами. Моей стране надо было еще так много кроме ровных мостовых, у меня просто сердце болело. Я написала Малкольму, чтобы он не считал нашу помолвку действительной.

В начале апреля, во время весенних каникул, я отправилась в Пасадену. Мне уже давно хотелось лучше познакомиться с Калифорнийским технологическим институтом. Я сняла там комнату и по утрам сидела в библиотеке и работала над своими заданиями, а дни проводила в университете. Там я целый день помогала одной женщине, занимавшейся исследованиями по биологии, — мыла, подправляла и красила для нее инструменты.

Это была единственная женщина-исследователь там, а через нее я познакомилась с другой женщиной, выпускницей Массачусетского технологического института. «Там всегда предпочитают мужчин, — сказала она в ответ на мои расспросы. — Чтобы работать там, надо обязательно быть лучше, чем они». Сказала и о том, что очень многое зависит от наличия связей. Все выглядело трудно, но не невозможно.

Там же я познакомилась со студентом-старшекурсником физического факультета Джоном Блэкберном, которого все звали Блэки. Блэки работал над своим исследованием в лаборатории, и я вызвалась помогать ему — считывать показания на установке. Он с радостью согласился, а я была совершенно счастлива, занимаясь целую неделю такой знакомой мне по прежним годам работой. На меня сильное впечатление произвел его «неистощимый запас знаний», как я писала Лене.

Блэки повез меня на своем старом форде показать цветущую пустыню. Поездка заняла у нас целый день — километров 200 в одну сторону. Я была потрясена бесконечным разнообразием цветущих кактусов. Вдали виднелись голубые и фиолетовые горы, некоторые со снежными шапками, а вокруг росли огромные юкки, усеянные цветами и гораздо выше меня. Мы гуляли по пустыне, садились отдыхать на камни, он читал мне стихи Киплинга, а я показывала ему открытки с картинами из Третьяковской галереи, которые у меня с собой были. Наверное, это был первый американец, который, похоже, ценил в жизни то же, что и я. Пустыня стала

мне нравится. Конечно, помогало, что рядом был кто-то, кому она тоже нравилась.

Блэки был горячим патриотом Калифорнии, и я начала понимать, как можно любить эту природу с ее вычурной роскошью и бесплодными пустынями. Блэки рассказывал об исследованиях нефтяных месторождений, о приложениях математики к сейсмологии, и я начала думать, что это, возможно, интересная область исследований, что здесь есть чем заниматься. Ностальгия моя отступала, я стала принимать эту чужую страну. На обратном пути из пустыни Блэки дал мне даже повести машину. Первый раз в жизни я флиртовала, о чем признавалась Лене в письме. Я чувствовала, что нравлюсь, и мне это льстило, только немножко я ощущала себя виноватой, потому что понимала, что он меня не так уж интересуется.

Я всем телом ощущала калифорнийскую весну, хотя в этой стране вечной весны и непрерывного цветения ее вообще трудно отличить от других времен года. И постепенно моя тоска по смене времен года, по звуку бегущих весенних ручейков начала отступать. Я стала чувствовать, что в этой чужой природе есть не только ослепительная красота, но и свое очарование, ею можно не только восхищаться — ее можно любить.

Дружба с Блэки совсем изменила для меня атмосферу последних месяцев моей жизни в Калифорнии. После весенних каникул я еще несколько раз ездила в Пасадену.

26 апреля я получила телеграмму от Дрожжина: «Ситуация неблагоприятная оставайтесь Америке Дрожжин».

Было непонятно, но острота моей первой реакции на его прежнее письмо уже прошла, и я была готова ждать объяснений.

Еще через какое-то время я получила целую пачку писем из Харбина и среди них ответ папы на мои вопросы. Ответ был составлен в форме декларации. Английские слова «whereas» («поскольку») и «therefore» («поэтому») были написаны русскими буквами:

Whereas

Чувствую на себе ответственность за скорый и толковый ответ на весьма сложный и важный вопрос, по которому все должны написать отдельно. Пока же кратко выскажу, что я думаю:

1. Все мы (без исключения) любим правду и честность. Все любим всех и были бы рады пожертвовать личными благами для того, чтобы общество приобрело за этот счет лучшие условия жизни «младшим братьям»

(это по-старому, по-новому надо было бы назвать их «старшими братьями»). Т.е. другими словами мы все следуем заветам наших отцов либералов и демократов XIX века с полевением в сторону социализма по маминым заветам. Мы готовы принять и подчиниться тому режиму, который даст счастье на земле всем людям. Мы твердо верим, что это произойдет с повышением культуры и сохранением культурных достижений прежнего человечества. Вот наше кредо: «Верую, Господи, и исповедую, что всем живущим на свете должно быть хорошо, и несть элина и иудея».

Вереас

2. Россия начала великое движение в этом направлении. Мы были счастливы и старались в нем принять участие. Но рок повел дело по таким путям жестокости и ужаса, бесчестья и обмана, что сохранить наше участие оказалось невозможно, независимо от полного нашего желания пожертвовать всем, чем можем. Мама — погибла. Дети не погибли лишь случайно, не погибли лишь потому, что оказались окруженными людьми с мамиными заветами, готовыми также пожертвовать собой.

Вереас

3. Когда дети приехали в Харбин, передо мной стала тяжелая задача воспитания. Я ее исполнил по крайнему своему убеждению, не изменив нашим с мамой заветам: дети воспитаны готовыми принять живое участие в жизни «общества» крайнего социально левого направления, в котором не были бы убиты выше изложенные основные заветы. Революция требует жестокости, могущий вместить ее — да вместит... Я не мог ее вместить и ушел из России с решением не поднимать вооруженной руки против «русских творцов счастья человеческого».

Вереас

4. Могу ли я отрицать в моих детях желания помочь творению счастья человеческого? Конечно нет! Конечно нет, вплоть до их самопожертвования. Весь вопрос в разумности и своевременности этого самопожертвования.

Вереас

5. Все сложнейшие политические условия в революции привели к совершенно ясному положению: — сегодня ехать в Россию детям — не время. Это твердо исповедуют все разумные, умудренные опытом, любящие люди самых разных направлений: Саша, Маша сестра, Варя, Брюлловы все, тетя Надя, Зоя — заметьте, все те, которые не ушли от ужасов жизни, и многие из них сознательно не ушли. Ряд друзей и уважаемых людей в

Харбине того же мнения: Дрожджин, Устругов, Лачинов... и имя им легион, независимо от политического направления, и на основании личного недавнего посещения СССР и полной современной осведомленности. Вопрос совершенно ясен: сейчас не время. Жертва бессмысленна и сводится к потере лишнего борца за счастье человеческое. Даже если он и уцелеет в СССР, он огрубеет и отойдет от наших заветов.

Вереас

6. На моей ответственности лежит ответить на твой вопрос так, чтоб всем моим детям было бы легко сказать — «папа прав» и подписать свое имя на этом листе, почувствовав облегчение гнета проклятых вопросов жизни, и быть свободным для смелой и честной работы над собою, все в том же направлении наших заветов, с уверенностью при первой же возможности полностью уйти в дело творчества блага человеческого. Это тяжелая ответственность, и только одно согласие моих детей с излагаемым мною мнением оправдывает всю мою по отношению к детям деятельность со времени долгих лет потери матери.

Вереас

7. Нужно ли убедить буйные молодые головы в том, что говорю? Конечно, нет. Убедить их было бы убить в них веру в святость права работать на счастье человеческое. Хочу ли я этого? Конечно, нет. Чего же я хочу? Я хочу только того, чтоб дети поверили в несвоевременность сегодня ехать в СССР. Хочу, чтоб дети поверили в необходимость сегодня сильно работать над собой в направлении подготовки к работе на благо ближнего, не пропуская ни одного дня. Хочу, чтоб дети были полностью готовы к этой работе везде, где они живут, чтоб ясно видели, где и когда они могут принести максимальную пользу нашим заветам. Хочу, чтоб поверили, что это время не за горами и надо торопиться с подготовкой.

Вереас

8. Мне нелегко было согласиться на предложение Крейна о поездке детей в Америку для обучения. Но я твердо верил и верю, что нужны сознательные, умные и образованные люди для максимальной пользы работы. Есть случайности, но они не могут руководить отцом, когда он говорит о будущем детей.

Дефор

9. Я сказал: Муля и Сережа, поезжайте и торопитесь взять максимум от ученья, не думая ни о чем другом сейчас. Набирайте силы — всему свое время.

10. Я давно уже говорю — мы все будем жить и работать здесь как можем. Лена и Таня должны окончить транспортно-экономический факультет и потом могут ехать куда хотят. Зоя и Катя должны кончить хотя бы то, что сейчас представляется возможным, а дальше старшие их вытянут, если отец не сможет.

11. Если представится возможность ехать в Америку детям — надо ехать. Хочу, чтоб дети подписались под 10 и 11.

Подписи: Таня, Лена, Зоя, Катя

(Таня почти отказалась)

12. Мы с Маней будем жить в Харбине до тех пор, пока Маня не потребуется для воспитания внуков. Верю, Маня будет необходима и у нее будет много работы. Она до конца будет жертвовать своими благами для блага ближнего. Она уже сделала большое дело, сохранив возможность детям сделаться хорошими и полезными людьми.

Итак, ответ был теперь определенный. Дело мое было решено, я только не знала, с чего начать. В любом случае надо было ждать встречи с мистером Крейном, пока я не узнаю, что можно делать дальше.

28 апреля был Страстной четверг. Я хотела пойти в русскую церковь на свою самую любимую службу. Да и нельзя было представить, что я не пойду на пасхальную заутреню ночью в субботу. Блэки заехал за мной и отвез в Лос-Анджелес, в тот же отель, где я жила перед началом учебного года. Я там прожила до самой Пасхи и каждый вечер ходила на службы. Службы мне очень нравились, и хорошо было слышать вокруг себя русскую речь. Я увидела двуязычных детей, которые легко переходили с одного языка на другой. Получила я и приглашение на традиционный пасхальный завтрак в Женский клуб, но не пошла. Странно было праздновать Пасху без пасхи. Я писала письма домой и в воскресенье вечером вернулась в Клермонт.

Через неделю я получила от папы ответ на мое письмо относительно предложения Дрожжина.

Папа уговаривал меня не срываться с места, не делать необдуманных шагов. Он писал о моем желании жертвовать собой: «Подожди, Мулька, — кому, за что?.. Так просто, хочу жертвовать и все тут. Так чувствую. Самое замечательное — что это все мы старого закала так чувствовали, это еще задатки или наследство старого русского либеральства — народовольчества — самое симпатичное и восторженное в человеке. Вспомни, как Саша

загорался, вспомни, тоже ведь хочет жертвовать — такова уж натура. Всю жизнь жертвовал и чего добился, слава Богу, что жив остался, а что за удел — не жизнь, каторга... Тургенев "Порог" написал не даром. Типично. Вот Таня тоже жертвовать хочет... но чему? За что жертвовать? Один ответ — по "Порогу"... И старому папке надо подымать занавес, за которым пропадут его дочери... пропадут, и никто не будет знать их имени... только у старого папки что-то больно заболит на душе... не сумел, не научил, ведь говорили же... Вот и Муля у меня жертвенная, только кому она пожертвует, вот тут старый папка, конечно, ответствен за ее маленькое счастье, мамы нет, мама уже пожертвовала, и как она, бедная, мучилась в тюрьме, что не исполнила клятвы не делать политики, как она мучилась. И требовала, чтоб дети не в Питер, а на восток — к отцу... а старый папка что сделал... подымать занавес на старости... трудно...

Так вот все мысли вертятся на том, что в чем же секрет этой симпатичной русской жертвенности и почему это американцы ее не понимают и не хотят никакой жертвенности: не нужно, просто блажь... Это все ненормальные русские условия жизни создали, и конечно, в нормальных условиях не нужно жертвенности, а просто простое и прямое и честное отношение к своим обязанностям... А вот какие обязанности у женщины: смолоду влюбляются — и вот в этот период влюбленности, когда жизненный вопрос еще не решен, не найден и когда все это так прекрасно представляется, и когда счастьем кажется пожертвовать собой вплоть до жизни за какую-то не совсем ясную, но хорошую цель, — то всегда в девушке (по Тургеневу) за этим кроется: вот я там-то «его» и найду, и чтобы он мне ни сказал, хоть на смерть бы послал... вот тут-то и секрет, и никак это нельзя перевести, надо просто чувствовать, а ведь это глубочайшая правда, с этого начинаются все девичьи страдания, суть же очень проста: ясно и определенно надо быть матерью в известном возрасте, даже не столько женой, сколько матерью, и потому браво, Мулька, что ты вспомнила о детях. Ну когда это происходит, то есть девица выходит хорошо или дурно ли замуж и становится матерью, жертвенность находит наконец свою цель — дети, и получается успокоение, под флагом некоторой неудовлетворенности романтической стороной жизни. Маня права — если заниматься политикой и общественной работой, то надо забыть про замужество и детей... <...> Поверь, благоразумие и серьезность момента говорят за то, что сюда можно поехать только спокойно, не торопясь, когда эта поездка не расстроит ни в какой степени раз поставленную себе большую жизненную задачу — окончить образование в Америке».

Письмо меня глубоко тронуло, но к этому моменту я и сама пришла к такому же заключению. Телеграмма Дрожжина так и осталась без объяснения, но оно и не требовалось. Ситуация в Харбине была такова, что ехать туда действительно было большой глупостью.

В мае один знакомый пригласил меня на вечер русской поэзии в Лос-Анджелесе. Вечер оказался скучным, сентиментальным и невероятно жалкого качества. Мне не доставляло никакого удовольствия быть среди эмигрантов, полных политической нетерпимости и сентиментальной ностальгии по былым временам. Ничего из современной России они не признавали, и культурные ценности их были устаревшими. Я порадовалась, что большинство моих знакомых — американцы.

Приближался конец учебного года. Сережа готовился к получению диплома бакалавра искусств. У меня результаты были очень скромные, но это было неважно — туда, куда я хотела, я собиралась поступить по свидетельствам о курсах, пройденных в Харбине, об инженерном образовании.

Пора было планировать нашу поездку на Восточное побережье. Я хотела поехать пароходом, через Панамский канал — стоит почти столько же, сколько поезд, но насколько интереснее. Но Сережа помнил свою морскую болезнь и мой план отверг. Сережин друг Дик собирался ехать на восток со своей девушкой на собственной машине, останавливаясь по дороге в Большом каньоне и других интересных местах. Он предложил взять нас с собой при условии, что мы разделим расходы на дорогу. Даже вместе с оплатой гостиниц по дороге это все равно получалось дешевле, чем поезд, а увидеть можно было больше.

Церемония выпуска в обоих колледжах прошла в радостном оживлении и в присутствии множества родителей. Мой выпуск был немножко раньше; в ожидании Сережиного мне пришлось выехать из общежития и поселиться в местной гостинице. Я стояла в толпе родителей и смотрела, как Сережа шел в торжественной процессии, одетый в черную мантию и смешную шапочку, очень серьезный и важный. Я поздравила его, когда он подошел ко мне с дипломом в руках. Теперь он меня не только догнал, но и обогнал, и для его самолюбия это было, конечно, очень важно. Я не возражала — я ведь и сама хотела, чтобы он стал взрослым и самостоятельным, лишь бы не считал себя всегда во всем правым и не заставлял меня соглашаться с ним.



ГЛАВА 25

ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

Мы едем на Восток

Отправив вещи почтой и попрощавшись с друзьями, рано утром 15 июня 1932 года мы с Сережей привязали свои чемоданы к крыше машины, влезли на откидные сиденья маленького форда и пустились в путь вместе с нашими приятелями.

Я думала об оставшихся друзьях немножко с грустью, но совсем не так, как бывало раньше при расставаниях. В Америке люди легко переезжают с места на место по всей стране.

«Там, на Восточном побережье, народ неприветливый, — предостерегали нас калифорнийцы. — Они снобы. А в Бостоне, куда вы едете, там и вовсе Лоуэллы разговаривают только с Кэботами, а те — только с Богом*». Меня это нисколько не пугало. Вернадские сказали, что Бостон — культурный центр Америки. А больше всего меня привлекал Массачусетский технологический институт, тем более что теперь я знала, что женщин туда принимают.

Ветер дул нам в лицо и сильно мешал. Большую часть пути мы с Сережей спали. К Большому каньону подъехали уже поздно вечером, когда все равно ничего не было видно. Решили снять один из маленьких домиков на краю каньона и лечь спать.

Утром проснулись до рассвета. Туман постепенно уходил вверх, и перед нашими глазами открывалась невероятная, немыслимой красоты картина — восход солнца над Большим каньоном. Стоя на краю огромной впадины, мы всматривались в далекие фигурки на крутой дороге, ведущей вниз: группы туристов на маленьких осликах спускались в каньон, другие поднимались им навстречу.

*Лоуэллы и Кэботы — семьи, чьи предки прибыли в Америку на корабле «Мэйфлауэр» в 1620 году.

Вечером Дик предложил Сереже вести машину. Сережа был счастлив. Водительские права у него уже были, но практиковаться почти не приходилось, а тут предоставлялась такая великолепная возможность. Ночь была холодной, мы надели теплые пальто. Сережа сел за руль, а Дик с подружкой перебрались на откидные сиденья, со всех сторон плотно обложившись всеми одеялами и теплыми вещами, какие у нас были. Теперь они вообще не могли пошевелинуться. Мы надеялись, что они не замерзнут.

Сережа уверенно вел машину по довольно широкой и почти безлюдной дороге. Нигде ни жилья, ни огонька. Изредка встречались другие машины. В окружавшей нас тьме почти ничего не было видно. Я вскоре уснула. Не знаю, долго ли я спала, но внезапно проснулась от странного движения — наша машина переворачивалась на бок. Вслед за тем она перевернулась вверх дном и перекатилась на другой бок. Меня выкинуло из машины, я лежала на песке около дороги. Сережа лежал рядом. Нас спасли толстые пальто. Остальные двое так и остались втиснутыми в заднее сиденье. Их даже не задело.

Сережа медленно поднялся на ноги. Лицо его оцепенело, нос был свернут на сторону, кровь лилась струей. Он инстинктивно схватился за нос и вправил его на место (врач, осмотревший его позднее, сказал, что он это сделал прекрасно). Я тоже встала, все еще совершенно остолбенелая. Сережа потом утверждал, что я запела арию тореадора из «Кармен», но я такого не помню. Помню, что я пыталась поставить машину на колеса, пока брат меня не оттащил. «Прекрати, — скомандовал он, — ты все равно ничего не сделаешь!» Наружу выбрались Дик с девушкой, ошарашенные, но невредимые: «Что произошло?»

Как объяснил нам Сергей, перед железнодорожным переездом дорога неожиданно круто повернула, причем никаких предупреждающих знаков не было. Машина шла слишком быстро и не вписалась в поворот, и от растерянности Сережа сделал как раз то, чего делать не следовало, — резко нажал на тормоз.

Оставалось только ждать, что нас подберет какая-нибудь попутная машина. Друзья уложили нас на песок, укрыли одеялами, и так мы и лежали, а они стали подбирать разбросанные пожитки. Времени было два часа ночи, ужасно холодно, первый шок прошел, и все наши раны и ушибы дали о себе знать. У меня начала болеть спина, у Сережи — руки и нос, все лицо у него было залито кровью. Мы не то заснули, не то впали в забытие и так пролежали часа два. Наконец около четырех часов утра на

дороге показался грузовик, шедший в Гэллап (штат Нью-Мексико). Наши друзья усадили нас в кабину — Сережу, как наиболее пострадавшего, рядом с водителем, а меня с краю, так, чтобы мы его всю дорогу поддерживали с двух сторон. Сорок миль до Гэллапа (больше 60 километров) мы ехали по каменистой дороге, в старом грузовике, и спина у меня чувствовала каждый толчок. Наконец через час водитель сгрузил нас на заправке недалеко от Гэллапа, и там уже мы дождались машины «Скорой помощи». Сергея уложили на носилки, я села рядом с ним, стараясь всю дорогу сидеть так, чтобы уменьшить боль в спине. В больнице носилки внесли в лифт, туда же вошла сестра, а вслед за ней вошла я, и тут боль стала такой сильной, что я потеряла сознание. Рентген показал, что у Сережи ушибы на руках, сломан нос и растяжение в спине. У меня — сломано ребро и треснул один позвонок, поэтому мне велели лежать по меньшей мере две недели. Сереже разрешили остаться на это время в больнице. Мы действительно легко отделались. Бедный Сережа все вспоминал каждую подробность нашей аварии, ужасно переживая свою вину и ответственность за то, что случилось, особенно с его сестрой, которую он должен был, как мужчина, оберегать.

Спина моя болела очень сильно, и мне приходилось лежать неподвижно, но это было не самое худшее для меня — гораздо больше меня мучило чувство вины. Во-первых, надо было сразу послать телеграмму мистеру Крейну. В ответ пришла телеграмма, где он желал нам скорейшего выздоровления и заверял, что все расходы на лечение будут оплачены. Мне в палату принесли букет цветов из местного цветочного магазина от мистера Крейна. Я была очень тронута.

Теперь предстояло написать домой, и я представляла, какая паника там поднимется при вести о нашей аварии. Не написать было нельзя — если долго не будет писем, там станут сильно волноваться. Мы постарались изобразить все происшедшее по возможности легко.

Мы понимали, что папа не мог не ощутить отсутствия денег, которые мы с Сережей регулярно посылали домой. Он старался, чтобы в письмах это было не слишком заметно, по-прежнему рифмовал шутливые строчки, но мы-то знали, насколько там труднее жизнь. Находясь в больнице, мы ответов на свои письма и не ожидали. Политическая ситуация в Харбине была такова, что почта туда шла от двух до шести недель. Первые письма, где родные откликались на вести о нашей аварии, мы получили лишь тогда, когда уже обустроились в Кембридже. Лена писала, что папа, получив наши письма, посидел за один день.

А дела в Харбине все ухудшались. Японские власти очень плохо относились к местному населению и к русским, с которыми они боролись за влияние и которых хотели вытеснить. Об одном случае писала Лена: она отправилась на близлежащее поле вместе с работником-китайцем, помогавшим ей нарезать дерн для сада. К ним подъехал японец верхом на лошади и хлестнул работника хлыстом. Китаец упал на колени, умоляя о пощаде, а безжалостные удары продолжали сыпаться. Лена стояла в ужасе.

У папы же еще оставались ностальгические воспоминания о Японии. У него было много знакомых среди японцев. Один из них был Яги, говоривший по-русски и женатый на русской. Яги был назначен начальником японской полиции в Харбине.

Ни одна страна, кроме самой Японии, не признавала правительства Маньчжоу-го. Международное сообщество было обеспокоено японской оккупацией Маньчжурии, в результате чего была назначена комиссия от Лиги Наций, которая должна была прибыть в Харбин. Ради этой комиссии японские власти приготовили отчеты о допросах арестованных. К этому времени было арестовано много молодых русских мужчин по обвинению в саботаже. Яги-сан раньше заказывал папе переводы и в этот раз предложил ему перевести на английский документы для комиссии. Взявшись за работу, папа увидел, что это протоколы допросов русских юношей, и из ответов этих юношей было видно, что к ним применялось насилие, может быть даже пытки. Переводить эти протоколы ему страшно не хотелось, но он надеялся, что точный перевод сделает очевидным для Лиги Наций, как эти признания получены.

Японская администрация вела себя совершенно бесконтрольно, аресты были непредсказуемы, и некоторые из наших близких друзей, еще остававшихся в Харбине, готовились уехать при первой же возможности, в том числе Дрожжин, Женя Шматов и Юра Айнгорн.

ВСТРЕЧА С МИСТЕРОМ КРЕЙНОМ

Добрались мы до Нью-Йорка уже в июле. Мистер Броуди встретил нас на вокзале и отвез в отель, где нам была снята комната на одну ночь. По дороге он рассказал, что мистер и миссис Крейн еще находятся в Нью-Йорке, у них все в порядке и они хотели бы нас видеть у себя к обеду сегодня же. На следующий день они собирались отправиться в Вудс Хоул, на Кейп Код (Тресковый мыс, штат Массачусетс) и хотели взять нас с

собой. «Мистер Крейн хотел бы, чтобы вы провели еще один год в колледже», — сказал мистер Броуди, рассказав попутно, что Крейн поддерживает сейчас около 50 семей и это не совсем справедливо по отношению к его собственным детям. Я испугалась — я ведь собиралась попросить мистера Крейна помочь Лене и Тане перебраться в Америку. После того, что сказал его секретарь, просьба казалась невозможной. Я решила, что надо подождать и посмотреть, что будет.

Мы умылись, почистились, переоделись и пошли пешком до дома 522 на Пятой авеню. Нас встретила миссис Крейн, любезная, дородная седая дама с доброй улыбкой, и расспросила об аварии и о путешествии. Я рассказывала об остальных членах семьи, о том, что в Харбине нет университета, что я не знаю, что делать Лене и Тане, о том, что папа никак не может найти работу... Мистер Крейн слушал с интересом, но ничего не предложил. Он сказал, что в Вудс Хоуле для нас есть маленький коттедж, где мы сможем отдохнуть; спросил о наших планах. Сережа хотел стать инженером-электриком. Я сказала, что раз Массачусетский технологический институт принимает женщин, я бы хотела поступить туда и стать не инженером, а математиком, поскольку лучше нам с Сережей иметь разные специальности и не соперничать в поисках работы. Кроме того, математика откроет мне более широкие возможности на будущее.

После этого обеда мы с Сережей решили, что, к огромному нашему разочарованию, совершенно невозможно просить Крейна пригласить наших сестер. А ведь именно это и было главным для нас. Теперь предстояло писать письмо домой.

Мы и не представляли, насколько жестоким разочарованием явилась эта новость для Лены и папы. Лишь гораздо позднее мы узнали, в каком напряженном ожидании жила тогда вся семья. Папа почему-то был совершенно уверен, что по меньшей мере Лена, а может быть, и Таня уже в этом году уедут в Америку, и поддерживал Лену в этом мнении. Им казалось, что дело уже решено и что это вопрос нескольких недель. И хотя Лена была далеко не так уверена, как папа, что поедет учиться в Америку, она тем не менее никаких планов относительно образования в Харбине не строила. Заявление на получение советского паспорта она так еще и не подавала, а без него не могла получить работу. Новые японские власти сохранили тот же порядок равного представительства управления и работы железной дороги, то есть работать разрешалось только маньчжурским или советским гражданам.

Лена восприняла новость поразительно мужественно. Конечно, она надеялась на поездку и ждала ее, но перспектива казалась настолько далекой и нереальной, что она заранее готовила себя к отрицательному ответу. Лена сразу начала строить планы на ближайший год для себя и сестер. Для нее единственным доступным учебным заведением был юридический факультет с двумя отделениями — экономическим и юридическим. Лена выбрала экономику. Для Тани, похоже, никакой возможности учиться не представлялось, но она научилась печатать на машинке и теперь помогала папе переводить: он прямо с листа диктовал перевод, а она печатала, еле поспевая за ним. Зоя, единственная из всех, могла продолжать ходить в школу, вернее в техникум, как теперь стало называться Коммерческое училище. Туда принимали с 15 лет, и Катя, которой пятнадцати еще не было, вынуждена была пропустить год. Очевидно было, что нам надо получать дипломы как можно скорее.

Мы уехали поездом в Вудс Хоул на следующий же день. Коттедж, предоставленный в наше распоряжение, принадлежал сыну мистера Крейна, и в это лето там никто не жил.

В первую же неделю мистер Броуди повез нас в Массачусетский технологический институт. Наконец-то я увидела место, о котором столько мечтала. Серое здание института с куполом в центре, так хорошо знакомое мне теперь, смотрит прямо на реку и на Бостон, который находится на другом берегу. Два боковых крыла раскинуты, как две огромные руки. Внутри институт походил на фабрику — длинные коридоры без ковров, бетонные стены, толпа студентов, разбегающихся по своим аудиториям и лабораториям. Мне все напоминало институт в Харбине, я чувствовала себя здесь вполне своей.

Регистратор института, как выяснилось, никогда даже не слышал о Харбинском политехническом институте, но охотно согласился принять нас условно — если мы справимся. Мы хотели поступить в «гредьюэйт скул» (аспирантуру), чтобы получить степень «master» (магистра), для чего требовался год. Для Сергея никаких проблем не было — у него имелся диплом бакалавра колледжа Помона, и четыре года обучения в Харбинском политехническом ему также были засчитаны. Мне же, поскольку я собиралась специализироваться в математике, а математику изучала всего два года в Харбине, надо было пройти летний курс по дифференциальным уравнениям. Курс начинался через несколько дней. Предполагалось,

что заодно выяснится, могу ли я справиться с программой института. Сереже сказали, что летний курс будет полезен и ему.

Жалко было уезжать из Вудс Хоул, не отдохнув как следует, но я рвалась начать занятия, а после летнего семестра можно было приехать и пожить там еще недели две.

МАССАЧУСЕТСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Сережа смог получить место в общежитии, а мне пришлось снимать жилье — женских общежитий в институте не было. Комнату я нашла на другой стороне реки Чарльз, и было приятно утром пройтись бодрым шагом по мосту от дома до института. Сама же комната была довольно мрачной, окно выходило в маленький двор, и солнце никогда не заглядывало ко мне. Звуки большого города мне были незнакомы, особенно пугали коты, оравшие под окнами, — я даже сначала думала, что где-то громко плачут дети.

Курс оказался совсем легким. Я все это уже проходила, когда изучала интегральное исчисление, только мы не решали таких интересных задач на практическое приложение теории. Доски располагались по всем трем стенам аудитории, и профессор Стрэйк пользовался ими столь мастерски, что мне так и хотелось сфотографировать их после лекции — тогда и записывать ничего не понадобилось бы.

Мы успешно окончили летние курсы и были зачислены в Graduate School. Вернадские прислали нам адреса своих друзей — профессора Михаила Карповича в Кембридже и профессора Питирима Сорокина в Винчестере, чтобы мы с ними познакомились.

Мистер Броуди сообщил нам, что теперь забота о нашем содержании переходит в ведение благотворительной организации, которую спонсирует мистер Крейн, и что в этом году каждый из нас получит по 1500 долларов плюс деньги на медицинские расходы, но что эта помощь будет последней. Дальше мы должны будем справляться сами.

Плата за обучение в нашем институте в то время составляла 500 долларов, следовательно, у каждого оставалось по тысяче долларов, вполне достаточно для того, чтобы прожить год. Получив чеки, мы сразу послали нашу месячную сумму в Харбин.

В середине сентября 1932 года мы поселились в Кембридже.

Вспоминая этот год в институте, я теперь думаю, что самым трудным для меня оказалось научиться жить одной. Крейн поступил мудро, поместив меня на первый год в маленький колледж с общежитием. Теперь же в институте я могла встречаться с людьми только в аудиториях, коридорах, столовой или в кино. Я так привыкла, что могу всегда пригласить к себе друзей, познакомить их с папой и сестрами, быть в большой компании... Здесь у меня дома не было. Я никогда не работала с какой-нибудь группой, может быть, потому, что математики всегда работают каждый сам по себе, — у нас не было ни общих лабораторных работ, ни совместных проектов. Все студенты, которых я знала, тоже были не из местных, а приехали из других штатов.

В институте имелась чудесная гостиная для студенток, но мужчинам туда входить не разрешалось. Студентки все были совсем юные и в основном учились на факультетах биологии или архитектуры. На математическом факультете кроме меня была еще одна студентка, а на инженерном, кажется, ни одной.

Я устроила свою комнату так, чтобы она была похожа на гостиную, превратила кровать в диван, но я не могла никого угощать там, и вообще в ней помещалось не более одного гостя. Никаких семейных домов, где была бы молодежь моего возраста, я не знала. Я познакомилась с другими жившими в моем доме студентами, и мы часто заходили друг к другу. Помню, как каждый раз, когда на улице раздавался вой пожарной sireны, я впадала в панику и бежала к одному из них, просто не в состоянии оставаться одной, — мне понадобилось не меньше месяца, чтобы привыкнуть к этому звуку, — так сильно было воспоминание о трагедии в Белорецке. А высокие стены американских складов с их зарешеченными окнами еще долго заставляли меня вздрагивать, напоминая об Омской тюрьме.

В учебе у меня трудностей не было. Два курса вел профессор Стрэйк, он же был моим руководителем тезиса (дипломной работы). У Стрэйка был помощник, Харолд Фриман — высокий, худой, застенчивый молодой человек, по-видимому, не старше меня. Мы с ним познакомились как-то раз, когда меня пригласили к Стрэйкам в гости. У них было три маленьких дочери, и Харолд иногда за ними смотрел, что меня очень поразило, — как это, молодой мужчина смотрит за детьми? Мы пару раз с ним поговорили, он оказался хорошо начитанным, понимающим и интересным собеседником, но в институте мы почти не сталкивались.

По совету Вернадских вскоре по приезде в Кембридж мы познакомились с семьей Карповичей. Профессор Михаил Михайлович Карпович, преподаватель русской истории в Гарвардском университете, и его жена Татьяна Николаевна встретили нас тепло и ласково. В доме было трое маленьких детей, и поэтому мы чувствовали себя как дома, когда приходили к ним в гости.

Профессор Питирим Александрович Сорокин, которого мы тоже посетили однажды, отнесся к нам сердечно. Сережа долго разговаривал с ним и остался в восторге от его необычных идей. Нас один раз пригласили на обед, но тесное знакомство не завязалось.

Вскоре нас нашел Сережин друг по Калифорнии Дуайт Меррил, приехавший вместе с женой на Восточное побережье. Через какое-то время Сережа съехал из общежития младших курсов и стал жить вместе с Меррилами, деля с ними расходы на квартиру и еду, что, конечно, было и выгоднее, и веселее. Мы проводили много времени вместе, и с удивлением заметили, что калифорнийцы Меррилы тоже чувствовали себя среди бостонцев чужими.

Президент нашего института Комптон устроил встречу для студентов-иностранцев и хотел, чтобы я обязательно познакомилась с теми, кто приехал из советской России по обмену. Я думала, что они, наверное, со мной не захотят встречаться: обычно они не доверяли русским эмигрантам. Опять я столкнулась с тем, что невозможно объяснить, как это я «ни белая, ни красная». А больше всего я не могла понять, почему я должна знакомиться с советскими русскими, или с чилийцами, или с индусами, когда мне хотелось общаться с самими американцами.

В ноябре состоялись президентские выборы; о них писали все газеты, и наши друзья без конца их обсуждали. Рузвельт победил и должен был в январе сменить Гувера на посту президента США. Нам объяснили весь процесс выборов, совершенно для нас необычный и увлекательный, и Сережа уже предвкушал, как на следующих выборах он будет голосовать. Я еще не подала документов на получение американского гражданства, но, как и все, находилась под сильным впечатлением от программы Рузвельта.

В Маньчжурии папа тоже следил за новостями из США. Он считал, что Рузвельт, добрый и мягкий человек, напоминавший папе Керенского во Временном правительстве, может оказаться слишком слабым пре-

зидентом, но надеялся на лучшее. 17 ноября 1932 года Соединенные Штаты признали Советский Союз, и папа полагал, что, может быть, теперь моим сестрам будет легче уехать в Америку в ближайшее время.

Политическая ситуация в Харбине была в то время сложной. Страной правили японцы. Япония считала, что китайско-российское автоматически превращается в соглашение между Маньчжоу-го и Россией. Китай отчаянно протестовал, но в тот момент ничего поделать не мог. Япония стремилась укрепить свои позиции в Маньчжурии и в конце концов завладеть КВЖД; фактически японцы уже контролировали работу железной дороги и гражданских служб по всей Зоне. Для окончательного достижения своей цели они хотели выкупить железную дорогу у Советского Союза, а пока что применяли все возможные средства, вплоть до использования оставшейся Белой армии, чтобы затруднить жизнь советских властей, железнодорожных служащих и вообще советских граждан в Харбине. Кроме того, они строили другие железные дороги, снижавшие значение КВЖД. Все это вызывало горячие протесты Китая, а также озабоченность США, Франции и Лиги Наций. Боязнь японского вторжения в Маньчжурию была, наверное, дополнительной причиной, почему Лига Наций в сентябре 1934 года признала Советский Союз.

Мы с Сережей старались жить предельно экономно. В Харбине мы привыкли довольно часто посещать театры, оперу, концерты. Здесь об этом не могло быть и речи — билеты были нам не по карману. Меня изредка кто-нибудь приглашал, а Сережа ни разу никуда не ходил.

Мы знали, что дома доходы от уроков и переводов уменьшаются. Даже трудно понять, как удавалось Мане и папе растить девочек, да еще помогать приходившим в дом гостям, подбадривать их и не давать унывать. Но папины письма звучали все более безнадежно. Он был в отчаянии и уже ни о чем другом не мог писать. Они рассчитывали на нашу помощь, а здесь, в США, все твердили нам, что при такой безработице нет никакой гарантии, что мы получим работу сразу после выпуска и что надо откладывать деньги, чтобы прожить, пока мы не начнем по-настоящему зарабатывать, поскольку на свою семью, в отличие от многих наших соучеников, мы рассчитывать не можем. Но все-таки нам иногда удавалось посылать домой немножко больше, чем прежде.

Читая письма из дома, я поражалась, что наша жизнь видится им роскошной — я-то как раз представляла себе картины мирных домашних вече-

ров с многочисленными друзьями за столом у самовара, видела, как они посещают концерты и спектакли, чего я себе позволить не могла, как ходят друг к другу в гости... Меня охватывала такая тоска по дому! Но я понимала разницу: здесь была надежда на будущее, там будущего не было.

Летом в Харбине случилось наводнение, потом в городе начались эпидемии холеры, тифа, кожных болезней. Молодежь помогала пострадавшим от наводнения, которых размещали в школах. Порой сами эти школы тоже бывали затоплены, вода стояла на полу, и приходилось брести прямо по воде. В одной из таких школ работала Лена.

К счастью, дом наш стоял на высоком месте, хотя дорога к нему страшно размокла и была почти непроходимой. Теперь дом превратился в «лагерь беженцев», он был набит до предела; некоторые друзья немного платили, что помогло семье с деньгами.

Лена и Таня подали прошение о советском гражданстве, но пока его не получили. Чтобы облегчить им задачу, папа тоже подал заявление, во второй раз. Юра Айнгорн, несмотря на то что паспорт у него уже был, после окончания Политехнического института не получил места ассистента у Дрожжина. Причиной послужила его дружба со мной и Сережей — про нас было известно, что мы уехали в США. Дрожжин советовал папе говорить, что мы уехали временно, только на учебу, и собираемся после окончания колледжей ехать в СССР. В харбинской газете появилась заметка «Сказочная судьба сестры и брата. Как американский миллионер устроил детей инженера Зарудного». Хотя наш отъезд не был секретом и о нем многие знали раньше, но статья усложнила моим сестрам и без того непростую процедуру получения паспортов, а соответственно, и работы на железной дороге. Становилось все яснее и яснее, что жизнь в Харбине — абсолютный тупик и всем русским рано или поздно придется уезжать оттуда.

В ноябре папа заболел — поднялась температура, появился кашель, болело сердце. Через какое-то время поставили диагноз «воспаление легких», и ему пришлось лечь в больницу. Когда мы с Сережей узнали, что деньги на больницу Лена заняла у знакомых, мы высчитали до последнего доллара, сколько нам нужно, чтобы прожить до конца учебного года, и все, что у нас было сверх этой суммы, отослали в Харбин. Я написала Крейну, и он тоже послал денег. Через две недели папа вышел из больницы, но еще не поправился. Дальше его долечивала Маня, ухаживала

за ним, даже ставила ему банки. Маня была от природы замечательная медицинская сестра — у нее для этого были и умение, и доброта, и смекалка. К Рождеству дело пошло на поправку, но папа еще не вставал.

Примерно в это же время у меня завязалась дружба с моим соседом Вильгельмом Йостом. У него была взятая напрокат машина, и он катал меня по Новой Англии. Я написала об этом папе.

Письмо от папы пришло в январе — на этот раз, вопреки обыкновению, не на машинке, а написанное от руки. Доктор запретил папе утомляться, и семья не допускала его даже до чтения, не говоря уже о пишущей машинке. Однако папа писал, что с Лениной помощью ему удалось сделать какой-то перевод и заработать денег. К моей дружбе с немцем он отнесся очень положительно, писал, что в культурном отношении русские ближе к немцам, чем к американцам. Но он оставлял все на мое усмотрение и выражал надежду, что я буду счастлива. Писал, что человек, который захочет сделать мне предложение, должен написать ему и пообещать, что постарается сделать меня счастливой. Тон письма был совсем не такой шутливый, как раньше, — было ясно, что папа очень болен.

Экзамены за первый семестр я сдала без труда и записалась на следующий семестр на еще более трудные курсы. На одном из них пришлось работать с немецким текстом — мало того, что сам курс был сложным, к этому добавились еще языковые трудности. Другой предмет, теорию потенциалов, читал профессор-немец, и я еле понимала, что он говорит, из-за его акцента. Вместе со мной слушали его лекции два студента-физика со старших курсов — Роберт Рихтмайер и Уильям Шокли (позднее нобелевский лауреат за работу по транзисторам). Они оба мне очень помогали, перед самыми экзаменами просидели со мной несколько дней, и я не знаю, сдала ли бы я без их помощи.

Роберт Рихтмайер, известный позднее своими работами по физике и по математике, стал моим хорошим другом. Боб любил музыку и сам играл на скрипке; иногда он приглашал меня на концерты и часто заходил ко мне в комнату. У нас нередко бывали очень интересные разговоры, мне хотелось познакомить его с моей семьей, но с Сережей у них дружбы не получилось. Наше знакомство продолжается до сих пор.

Моя дипломная касалась бесконечных дробей, которыми выражается сопротивление электрических фильтров. Моим руководителем был профессор Стрэйк вместе с профессором Сассом, приглашенным из Слова-

кии. Забавно было, что во время совместных встреч мы не могли говорить ни на одном из наших трех родных языков: голландец Стрёйк говорил по-немецки со словаком Сассом; я же только понимала немецкий, когда они говорили, а сама говорила с ними по-английски.

Газеты каждый день писали, что Рузвельт пытается справиться с проблемой безработицы. Была создана правительственная организация Управление общественных работ, чтобы дать хоть какое-то занятие безработным за минимальную плату. Сотни людей, никогда до того не державших в руках ни метлы, ни лопаты, чистили улицы и копали канавы. На площадях для развлечения публики играли маленькие оркестры. Молодежь собирали на работы по уборке национальных парков; математики сидели с арифмометрами и примитивными калькуляторами и вычисляли таблицы математических функций с точностью до десяти знаков после запятой.

Примерно тогда же я получила по почте предложение прислать мне «в простой обертке» книгу о сексе. Я все время чувствовала, что необходимо узнать об этом больше. Цена меня немного беспокоила, но я знала, что книга мне очень нужна. Получив ее, я не могла остановиться и прочла за один вечер. Теперь уже не так, как в тот раз, когда моя сестра Зоя «просвещала» меня, новое знание захватило меня, но не шокировало. Я уже была достаточно готова его принять, хотя до поры до времени сведения оставались теоретическими.

Наши отношения с Йостом постепенно переросли в настоящий роман. Меня очень привлекали его европейские манеры, его классическое европейское образование, широта интересов. Я ему явно нравилась. Между нами было что-то неуловимо общее. Сейчас я думаю, наверное, дело было в том, что он был первый встретившийся мне немец (как Малкольм был для меня первый знакомый американец), то есть меня привлекала их необычность, отличие от других: оба они представляли незнакомую мне культуру.

Мы решили обручиться, но с условием, что Йост возвратится в Германию (он собирался вернуться в конце лета к своей работе в качестве приват-доцента в университете), а я останусь пока в Америке и сделаю так, чтобы все мои сестры получили образование, по возможности в США. А затем я поеду в Германию и мы поженимся.

В конце января национал-социалисты победили на выборах в Германии и к власти пришел Гитлер. Йост был страшно расстроен, но утвер-

ждал, что «это долго не продлится». Я объясняла ему, что в России тоже так говорили, когда большевики пришли к власти, но в ответ слышала: «Так бывает в варварской России, но не в цивилизованной Германии». Меня это не убеждало, а то, что он говорил о России, даже обижало. Через месяц в Берлине горел рейхстаг. Но на меня к этому времени обрушились вести из Харбина.



ГЛАВА 26

МЫ ВЗРОСЛЫЕ

СМЕРТЬ ПАПЫ

23 февраля 1933 года Сережа вошел ко мне в комнату, держа в руках телеграмму:

С прискорбием сообщаем получена телеграмма из Харбина кавычки предупредите Зарудных папа скончался сердечной недостаточности кавычки примите наши соболезнования Контора Крейна.

Сережа обнял меня, очень нежно. Мы сели на кровать и долго плакали вместе.

Вот теперь, наконец, я решилась написать Крейну, что хочу перевезти всех сестер в Америку. Крейн ответил, что, разумеется, поможет нам в этом, но сначала мы с Сережей должны окончить институт и я должна получить работу, — так, чтобы основным спонсором моих сестер была я. Тогда он поможет.

Еще целый месяц продолжали приходить письма от папы, и странным образом это смягчало наше горе. Мы как-то не могли поверить, что папы больше нет, и письма подтверждали, хотя горькая правда заключалась в том, что отвечать было некому. Даже после самого последнего письма мы все еще ждали, словно очередное просто где-то задержалось.

Папина смерть оставила страшную пустоту в жизни каждого из нас.

На панихиду в Харбинском соборе пришли около 300 человек. До кладбища шли пешком, гроб везли на катафалке. День был пасмурный, падал снег.

На могиле поставили деревянный крест, украшенный тремя металлическими венками. Через несколько лет, когда наша семья уже уехала из Харбина, это кладбище было разрушено, и на его месте построен аэропорт.

Папина смерть стала тяжелым ударом для дяди Саши. «Требую, чтобы вы считали меня своим отцом», — написал он в Харбин. Дядя Саша был старше папы на десять лет, и была жива еще самая старшая их сестра — Мария (она и ее муж погибли в блокаду).

У девочек и у Мани возник замысел позвать дядю Сашу жить с ними в Харбине. «Я страшно хочу осуществления этой мечты, — писала нам Лена. — Видите, папа незаметно для нас вносил в нашу жизнь струю высокой культурности и безразличия к мелочишкам и дрызгам. И очень направлял жизнь. Без папы мне, конечно, трудно не только идти вперед, но даже удерживать стандарты...»

Лена спрашивала, что мы об этом думаем. Я ей сочувствовала, я тоже любила дядю Сашу, но понимала, что его приезд только усложнит окончательное решение наших проблем. Правда, к тому времени, как письмо дошло до меня, стало очевидно, что вся идея с приездом дяди Саши совершенно нереальна.

Харбин постепенно приходил в себя после наводнения и связанных с ним бед. Многие готовились к отъезду. У Лены не было недостатка в уроках, она преподавала столько, сколько хватало сил. Таня подрабатывала перепечаткой на машинке. Какие-то деньги им платили квартиранты, жившие у нас во время наводнения. После смерти папы семья получила его страховку — 500 мексиканских долларов — и в основном смогла расплатиться с долгами. Таня рассчитывала, что ее друзья по спорту помогут ей получить паспорт и работу. Лена храбро писала, что они справятся. Сама она весной должна была сдавать экзамены за первый курс.

Но вскоре после Пасхи Лена получила отказ в советском паспорте, такой же отказ предположительно должна была получить и Таня. Уже не было надежды на какую-нибудь работу при железной дороге. Лена писала, что чувствует себя чужой и среди «советской» молодежи, и среди белых эмигрантов. О том, чтобы просить гражданства «государства Маньчжоу-го», конечно, не могло быть и речи.

Между СССР и Маньчжоу-го начались серьезные трения: без всякого согласования с администрацией железной дороги советская сторона перегнала в Россию часть железнодорожных составов. Разгорался конфликт между Японией и СССР.

Я справила Пасху с семьей Карповичей: ходила в церковь на заутреню, а потом сидела у них в доме за пасхальным столом, и это было замечательно — провести праздник в русской семье.

На весенних каникулах Вильгельм пригласил меня поехать с ним в Мэйн, и еще как-то раз мы с ним съездили в Провинстаун на Кейп Код. Мы были уже связаны очень тесно, хотя порой я огорчалась, что он недостаточно сочувствует моим проблемам и вообще не очень внимателен. Мне казалось также, что он мало принимает к сердцу то, что происходит в Германии.

Я много занималась, Сережа тоже, но уже понятно было, что ни он, ни я не завершим свои дипломные работы к концу учебного года — нам обоим требовалось еще несколько месяцев. Найти работу по специальности надежды не было. На конных тележках, развозивших разные товары по улицам Кембриджа, можно было видеть надписи вроде: «Покупайте мороженое (или молоко, или яйца) у выпускника МТИ». Но нам и это было недоступно — требовались деньги для начала, а у нас денег оставалось только-только чтобы дожить до конца учебного года. Мы совершенно не знали, что делать дальше.

Как раз в это время Карповичи переезжали в новый, больший дом в Кембридже и предложили мне стол и комнату, с тем чтобы я смотрела за их детьми по утрам и иногда вечером, если они куда-нибудь уходили. Мне это было очень удобно — оставалось время и на то, чтобы заканчивать дипломную работу, и на то, чтобы искать себе место. Сережу выручили Вернадские: предложили поселиться у них и делать карты для новой книги Георгия Владимировича.

Мы оба кончили год успешно и получили рекомендации от своих преподавателей. В каком-то смысле было хорошо, что мы еще не закончили институт и считались студентами-старшекурсниками, а не безработными. Чем дольше человек оставался безработным после выпуска, тем труднее было найти работу.

НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

В конце мая я переехала в дом Карповичей на Троубридж Плейс. Обязанности мои заключались в том, что я будила по утрам детей — шестилетнюю Наташу, четырехлетнего Сережу и трехлетнюю Марину — и кормила их завтраком, чтобы родители могли поспать подольше. В первое утро профессору Карповичу пришлось показать мне, как варить яйца и овсяную кашу. Готовить я не умела совершенно.

В доме у Карповичей царила атмосфера тепла и беспорядка. Хозяева были бесконечно добры к своим детям, ко мне, к любому зашедшему гостю; чай пили в любое время дня, никаких заведенных правил, никакой системы не было. Татьяна Николаевна Карпович, хозяйка дома, по-видимому, вообще не терпела ни малейшего принуждения ни по отношению к себе самой, ни по отношению к другим. Вместе с ними жила ее мать, строгая старая дама, англичанка по рождению, хотя и прожившая всю жизнь в России, в Архангельске. Она всегда сидела у себя в комнате, чинила и гладила детскую одежду, а все остальное время читала английские романы.

Карповичи хотели, чтобы дети дома говорили по-русски. До меня у них жила русская эмигрантка, но она уехала из России очень давно и ее язык представлял собой экзотическую смесь русского и английского. Например, она могла сказать: «Закройте виндавошки, чилдренята засикуются», что должно было обозначать: «Закройте окошки, дети заболеют». Пришлось Карповичам отказаться от ее услуг, чтобы дети не говорили так же. Все трое детей были удивительно милыми, и мне очень нравилось за ними ухаживать. Сережа говорил только по-русски и не мог общаться со своими сверстниками вне дома. «Муля, ты знаешь, — рассказал он мне однажды о своем удивительном открытии, — в России все говорят по-русски!»

Из Харбина приходили бодрые вести. Таня начала работать на железной дороге, на том основании, что подала заявление о советском гражданстве. Теперь у семьи имелся пусть небольшой, но стабильный доход. Таня надеялась получить и паспорт. Дядя Саша пообещал Лене обратиться к своим знакомым, чтобы получить ответ на ее уже второе заявление о паспорте. Лена была влюблена и думала о замужестве.

В конце июня Карповичи уехали в Вермонт на все лето, оставив в доме меня и Бориса Нагашева — молодого русского, который жил у них в одной из комнат и возил на своей машине, когда им было нужно.

Нагашев был невероятно талантливым человеком. Во время революции все его родные погибли, в 16 лет он остался совершенно один и эмигрировал в Югославию. По дороге он изобрел электрическое устройство, которое позволяло кипятить воду прямо в чашке.

Приехав в Белград, Нагашев услышал, что там объявлен конкурс проектов восстановления электрического освещения главного собора. План проводки, скрытой в стенах, был утерян, а сама проводка во многих местах

повреждена от сырости, проникшей в собор во время войны. Стены были сплошь покрыты фресками, которые ни в коем случае нельзя было повредить. Большие шансы выиграть конкурс имела знаменитая немецкая фирма Сименс-Штукерт, предложившая установить новую, малозаметную внешнюю проводку. Нагашев и его друг заявили, что за сумму, в десять раз меньшую, могут восстановить старую проводку. Правительство, сильно ограниченное в средствах, пошло на риск и заключило контракт с ними. Пользуясь парой наушников и батареейкой, двое молодых людей определили местонахождение проводов, скрытых в стенах, залили в самые верхние точки расплавленный воск и тем самым восстановили всю старую изоляцию. Мне доводилось слышать, что после того, как в соборе загорелся свет, парламент Югославии выразил им благодарность на своем первом заседании.

Кто-то помог Нагашеву переехать в Америку, где ему предложили работу в «Дженерал Электрик» — одной из крупнейших фирм страны. На некоторые из его работ фирма получила патенты. Затем фирма послала его учиться, ему дали стипендию в МТИ, но дальше начались большие трудности, потому что он не знал математики. К тому же он заболел туберкулезом, и его отправили в санаторий, где он провел два года. После санатория Нагашев не хотел больше нигде работать, он жил в доме у Карповичей, возил их на своей машине и работал над усилителями для радио и фонографа. Усилители Нагашева были настолько хороши, что Сергей Кусевицкий, дирижер Бостонского симфонического оркестра, сравнивая их с обычными, говорил, что это все равно, что сравнивать скрипку Страдивари с обычной скрипкой. В то время, когда я поселилась у Карповичей, Нагашев устанавливал свои системы в Уэлсли-колледже и в школе для слепых в Нью-Йорке. Он просил меня сделать расчеты репродукторов, поскольку для него математические расчеты были слишком трудны. Денег у него совершенно не было, он полностью зависел от поддержки Карповичей. Мне не нравились его фамильярность, неряшливость и плохие манеры за столом, и я старалась держаться от него на расстоянии, хотя и с большим уважением относилась к его гению изобретателя.

Через два года Нагашев погиб в автомобильной катастрофе в Вермонте. В то время он работал над новым изобретением — над чем-то вроде радара (радар еще не был изобретен) для слепых, который помогал бы им избегать препятствий.

Летом я проводила Йоста в Германию. Мы расстались тепло, обещали писать. Все было решено: я должна была ехать в Германию и там выйти за него замуж, как только все уладится с моими сестрами. Я очень по нему скучала, много ему писала, часто получала письма. Будущее представлялось мне вполне устроенным.

Переписка с Йостом, завершение дипломной работы и дети Карповичей заполняли все мое время. Кроме того, ход жизни определялся письмами из Харбина. Часто писали сестры. В их рассказах уже не было той тяжести, которая особенно чувствовалась в письмах Лены сразу после папиной смерти. Жизнь шла своим чередом.

Время уходило, а обучение в США для Лены и Тани все еще было недоступно, да и младших надо было срочно забирать из Харбина. Я изо всех сил старалась эту возможность приблизить, но за лето, присматривая за чужими детьми, удалось подработать лишь немного, и эти деньги ушли на отправку писем и разъезды, связанные с поисками работы. Работы ни у меня, ни у Сережи по-прежнему не было и пока не предвиделось.

Осенью мы оба записались только на дипломные работы — плата за это была минимальной, а мы тем самым продолжали считаться не безработными, а студентами. Сережа жил в Нью-Хейвене у Вернадских и писал свою работу самостоятельно, без руководителя. Я ходила каждый день в институт, занималась в библиотеке, встречалась каждую неделю с профессором Стрёйком. В институте еще оставались некоторые из моих сокурсников, в том числе Роберт Рихтмайер. Время от времени я встречала Харолда Фримана, который вел курс на экономическом факультете.

В то время на факультете изучения языков в институте можно было изучать только немецкий и французский. Боб Рихтмайер и еще пара его друзей поинтересовались, нельзя ли у меня поучиться русскому. Я поведала об объявлении о курсе русского языка, запросив два доллара с ученика в семестр. Набралась группа старшекурсников человек в 20, и нам разрешили пользоваться для этого одним из классов. Мы встречались раз в неделю. Учебник, имевшийся в моем распоряжении, был невыносимо скучный, поэтому я сама сочиняла упражнения, писала их от руки фиолетовым химическим карандашом и размножала с помощью ванночки с желатином — написанный текст прикладывался к застывшему желатину и отпечатывался на нем, а потом на желатин накладывался чистый лист и получалась копия. Ванночкой мне служил обыкновенный кухонный противень. Ученики мои продвигались очень медленно, а я-то надеялась, что

скоро буду с ними вместе читать русские стихи, которых мне так не хватало! К концу года я поняла, что больше не хочу никого никогда учить русскому языку, лучше буду совершенствовать свой английский. Институт взял на следующий год русского преподавателя Знаменского и включил русский в список предлагаемых курсов.

На физическом факультете появилась новая студентка-старшекурсница из Германии Ева Шик. Ева была дружелюбной, привлекательной и сразу завела много друзей. Мы подружились; английский у нее был не лучше моего, но это не мешало нам вести интересные разговоры. Я была ею просто очарована и думала, что если Йост встречает в Германии таких девушек, то уж куда мне с ними соперничать (я ему даже написала об этом).

От Евы я узнала о жизни евреев в тогдашней Германии. Раньше у нее было много друзей — и в университете, и среди соседей, но с приходом нацистов все изменилось: друзья перестали приходить, перестали даже здороваться с ней на улице, она чувствовала себя совершенно отверженной. О таком положении в Германии я, конечно, уже знала, но одно дело знать, а другое — когда рассказывает человек, все это переживший. Я знала, что профессор, у которого учился Йост, уволен, потому что был женат на еврейке и не захотел с ней разводиться. Теперь Йост писал мне, что получил его место, и мне казалось, что это непорядочно.

В Харбине отношения между Японией и Советским Союзом становились все хуже. Японская полиция нагрянула с обыском в Русскую библиотеку, обнаружила следы того, что там сжигали какие-то документы, и опечатала помещение. Затем последовали ряд обысков в домах и аресты советских служащих. По всему Харбину были развешаны антисоветские плакаты, и группы русских, явно при поддержке японцев, проводили антисоветские демонстрации. Друзья продолжали уезжать.

Лена перешла на второй курс экономического факультета и давала частные уроки. Ее положение старшей в семье теперь не подлежало сомнению. Катя начала учиться на химическом факультете техникума; Зоя по-прежнему посещала техникум и всегда была окружена поклонниками. Обе они имели скидку по оплате обучения, как сестры служащей КВЖД — Тани. Каждое воскресенье дом по-прежнему бывал полон гостей.

Через какое-то время Лене помогли получить работу на том основании, что у нее уже поданы документы на советский паспорт. Нашей денежной помощи Лена не просила — наоборот, и она и Таня все время убеждали

нас, что справятся сами. О реальной денежной ситуации мы узнавали только из Маниных писем. Зато Лена все время напоминала, что они ждут, что мы найдем службу.

К концу семестра мы с Сережей завершили свои дипломные работы. Формально мы институт закончили, но выпуска в середине года не было, приходилось ждать весенней церемонии окончания института, что было к лучшему, потому что работы мы так и не нашли.

Мне очень хотелось продолжать учиться, получить докторскую степень, хотя я и не была уверена, что стоит продолжать заниматься чистой математикой — скорее, прикладной. (Сначала я думала о физике, но теперь уже слишком отошла от нее.) На всякий случай я подала заявления на полную стипендию в два колледжа. Я, правда, боялась, что мистер Крейн не сочтет пребывание в аспирантуре равным оплачиваемой работе и не станет помогать моим сестрам. Впрочем, при сложившейся экономической ситуации в Америке конкурс на стипендию был так высок, что я не слишком на нее рассчитывала и не особенно огорчилась, когда не получила.

В поисках работы я съездила в Сиракузы (штат Нью-Йорк) на завод «Дженерал Электрик», а затем в Нью-Йорк, где мистер Крейн взял меня с собой и познакомил с президентом этой корпорации. Подала я заявление и в телефонную компанию «Белл», для которой, как я считала, больше всего подходила моя подготовка. Все были очень любезны и обещали дать мне знать, если откроется вакансия, но я вернулась в Кембридж, ни на что особо не надеясь. Сережу, в отличие от меня, хотя бы пригласили на несколько собеседований, но и у него конкретных предложений не было.

До конца весеннего семестра я все еще продолжала преподавать русский, хотя энтузиазм мой шел на убыль, а число студентов сокращалось. Но, по крайней мере, так я могла ходить в институт. К весне большинство моих друзей разъехались.

В 1934 году Карповичи купили большую запущенную ферму в Вермонте. В последующие годы на этой ферме проводили летние каникулы разные русские семьи, в том числе и наша. Целое лето провел там Владимир Набоков со своей женой — ловил бабочек, писал книги и наслаждался обществом Карповичей. Он описал эту ферму в романе «Пнин», правда, сильно все приукрасив. Приезжал туда А.Ф. Керенский; бывали многочисленные писатели, художники, ученые. Карповичи уезжали на ферму на все лето и звали меня жить с ними. Но я чувствовала, что мне

лучше жить неподалеку от телефона и быть наготове в любой момент, если откуда-нибудь позвонят, а в Вермонте на ферме не было ни машины, ни телефона.

Опять я осталась в Кембридже вдвоем с Нагашевым. На все лето у меня было 20 долларов и никакой возможности подработать. Сережа в конце концов нашел временное место чертежника на фабрике около Нью-Хейвена. В вечерней школе рисования он познакомился с Вилмой Фекете, которая потом стала его женой. Великолепная пианистка и скрипачка, с ранних лет дававшая сольные концерты, Вилма в то время преподавала музыку. Ее родители, венгерские эмигранты, не жалели ничего, чтобы их единственная дочь получила музыкальное образование, даже посылали ее учиться в Европу.

«ДЖЕНЕРАЛ ЭЛЕКТРИК», Линн

В августе я получила письмо из отделения компании «Дженерал Электрик» в Линне. Мне предлагали работу по термодинамическому расчету паровых турбин с зарплатой 25 долларов в неделю. Может быть, работа мне досталась потому, что мистер Крейн представил меня президенту компании. Термодинамику я когда-то проходила в Политехническом институте и теперь надеялась, что справлюсь. Я была вне себя от счастья.

От Линна до Бостона (примерно 20 километров) ходил поезд, и я могла не отрываться слишком сильно от своих знакомых. В Линне я сняла комнату в семье шведских иммигрантов, у которых ребенок уже вырос и уехал. Я им платила 10 долларов за стол и комнату, 5 долларов у меня уходило на обед и разные непредвиденные расходы — таким образом, я могла откладывать 10 долларов в неделю на переезд сестер в Америку.

Получив работу, я сразу сообщила об этом мистеру Крейну, и он начал всю процедуру оформления переезда для четырех сестер и Мани — я объяснила, что Маня фактически член нашей семьи, что она всегда о нас заботилась и что девочки, особенно младшие, будут очень в ней нуждаться. Сказать то же самое про няню я не смогла. Няня была такая старая и слабая, что мы все думали, она не выдержит долгой дороги. Про сомнения Лены и Тани относительно Америки я тоже ничего не сказала. Надежда на получение советских паспортов становилась все более призрачной, да

и вообще я считала, что можно поехать в СССР после того, как получишь образование в Америке.

Работа моя заключалась в расчете хорошо мне знакомых графиков температуры и давления пара с использованием специальной формулы, рассчитанной по экспериментам, проводившимся в Линне. Большую часть моего рабочего времени я считала с помощью логарифмической линейки и вычерчивала графики. Логарифмическая линейка была у меня та самая, которой папа пользовался в молодости, когда учился в Бельгии. Еще одна моя обязанность состояла в обучении молодых инженеров, только пришедших на фирму, этим методам расчета.

Жить в Линне было не только скучно, но и ужасно одиноко. Все инженеры, и старшие и младшие, были семейными. За четыре года, что я там проработала, никто ни разу не пригласил меня на ланч или в гости; со мной они говорили только о работе. По-моему, их интересовал только спорт, машины и карты. В перерыв я съедала бутерброд за своим рабочим столом, читая книгу. В пять часов я пробивала рабочую карточку и уходила домой, а дома после обильного ужина с моими добрыми и скучными хозяевами уходила к себе в комнату, читала и писала письма. Я жила ради писем Йоста. Никаких сведений от мистера Крейна или его секретаря о том, как идут дела с оформлением переезда, до меня не доходило, но я верила, что дело движется.

И вот как-то вечером я получила необычно толстое письмо от Йоста. Очень осторожно и бережно он сообщал, что женится на другой. Меня поразило как громом. По-моему, никогда, ни до, ни после, я не плакала так горько; я рыдала так, что моя хозяйка пришла спросить, в чем дело. Ужинать я не могла и проплакала весь вечер. Мне казалось, что я навсегда останусь одна. Мне ведь почти 26 — уже два года назад надо было выйти замуж (мама вышла в 24). В Линне никаких надежд познакомиться с кем-нибудь, а мне предстоит здесь жить и работать год за годом. Вот теперь приедут мои сестры, но мне нисколько от этого не лучше. Я буду только зарабатывать деньги, а молодые люди будут влюбляться в моих сестер. У меня даже друзей не будет. И я всегда буду одна, и меня никто никогда не полюбит.



ГЛАВА 27

НЕ ВСЕ НА НЕБЕ БУДЕТ НОЧЬ...

ХАРОЛД ФРИМАН

После нескольких недель в абсолютной депрессии я стала стараться ездить на выходные в Кембридж в надежде восстановить старые знакомства. Карповичи всегда приглашали меня ночевать у них. Я ходила в институт по-видаться с Харолдом Фриманом, единственным молодым человеком из всех моих тамошних знакомых. Чтобы не ходить вокруг через главный вход, я обычно подходила к окну его кабинета на первом этаже и смотрела, там ли он. Харолд открывал окно, и я залезала внутрь. Потом мы сидели и разговаривали, я рассказывала ему о своей жизни и работе в Линне, о Харбине, о моих сестрах, о том, как я жду их приезда, как я откладываю деньги, чтобы снять для них жилье. Харолд говорил мало, но был так внимателен и так хорошо слушал. О себе он рассказывал немного. Я знала только, что он единственный ребенок в семье, что родители его живут в маленьком шахтерском городке в Пенсильвании, где его отец, эмигрант из Австрии, держит салун (т.е. пивную) на первом этаже их дома.

Как-то раз Харолд пригласил меня к себе показать вид из окна его гостиной — «если только вы не против ужасного беспорядка», прибавил он. Жил Харолд на Мемориал Драйв, и окна выходили прямо на реку и на Бостон за рекой. В квартире действительно весь пол был засыпан газетами в несколько слоев — Харолд просто бросал их на пол, когда прочитывал. Я собрала газеты, затем мы сели в разных углах его большой гостиной и даже не разговаривали, а за окном постепенно темнело, и огоньки в окнах Бостона начали зажигаться, и постепенно весь город засверкал огнями под вечерним небом, на котором еще не погасли закатные краски. Затем загорелись звезды, и между ними двигались огоньки аэропла-

нов, взлетающих и спускающихся в аэропорту Логан. Река Чарльз лежала как широкая лента между нами и городом, и цвет ее менялся, по мере того как менялось небо.

Когда уже совсем стемнело, Харолд зажег свет и предложил проводить меня к Карповичам. По дороге он рассказывал мне о социальных проблемах в Америке, он сочувствовал борющемуся за свои права рабочему классу, и мне это было очень по душе. У нас оказались одни и те же ценности, одни и те же надежды на будущее и вера в научный прогресс. Харолд первый из своей семьи выучился в колледже, первый стал много читать. Я подумала, что он довольно далек от своей семьи, и мне так захотелось познакомить его с моей! Чем больше я узнавала о нем, тем больше мне нравилась его худая фигура, его чуткое лицо с тонким носом... Большие синие глаза с длинными ресницами были всегда так внимательны, когда я о чем-то рассказывала. И у него всегда находилось что-то существенное и интересное, что он мог добавить к любому разговору, который я заводила.

Еще несколько раз я приходила к Харолду, и мы так же, ни слова не говоря, сидели порознь и смотрели на закат, и меня это сильно утешало. Иногда Харолд вообще не зажигал свет, а когда становилось совсем темно, я ложилась на диван и засыпала, и Харолд, заметив это, укрывал меня одеялом. Я скоро просыпалась, и он предлагал проводить меня домой к Карповичам. Мне было так отрадно, что я не одна с моими мрачными мыслями и что он в то же время не вторгается в них. Со свойственным ему тактом он просто давал мне быть самой собой и, казалось, понимал, когда мне вообще не хотелось разговаривать.

Незадолго до Рождества Лена сообщила мне о смерти дяди Саши. О том, как он умер и как процессия с его гробом не могла двинуться несколько часов из-за траурной процессии с гробом Кирова. Последние годы дядя Саша прожил в Доме политкаторжан, многие из которых когда-то были его подзащитными на процессах. Над его гробом говорили речи знаменитые адвокаты.

Для моих сестер смерть дяди Саши означала потерю единственного родного человека, к которому они могли обратиться за советом. Дядя Саша связывал нашу семью с остальными папиными родственниками в СССР.

Еще до того пришло письмо от Лениного друга Виталия Алехина, который вместе со многими другими уехал из Харбина в Москву. В письме

Виталий рассказывал, как навестил дядю Сашу в Ленинграде и тот дал ему адрес своего старого друга, занимавшего видный пост в Москве, и сказал, что тот может помочь в оформлении советского гражданства для Лены. Виталий, приехав в Москву, отправился по указанному адресу. Ему открыла дверь какая-то женщина, сердито велела немедленно уходить и захлопнула дверь. Ничего не поняв, Виталий ушел и потом написал об этом Лене. Лишь через много лет Лена узнала, что друг дяди Саши был арестован и именно в это время в его квартире проходил обыск. Через какое-то время Виталий тоже был арестован. Он провел десять лет в лагерях.

Для меня со смертью дяди Саши связь с поколением моих родителей оборвалась. Чувство одиночества стало еще сильнее, и единственным светлым пятном была дружба Харолда. Фактически он был единственным человеком, с которым я разговаривала. Мне вообще некуда больше было пойти, но встречаться с ним нравилось.

И как-то раз в сумерках мы сидели, как обычно, в разных концах его гостиной. Свет уже почти померк, на другой стороне реки начали загораться огни. Внезапно Харолд сказал: «Мисс Зарудни, вы знаете, что я в вас влюблен?» Я поразилась — он никогда не пытался хоть как-то выразить свои чувства. Я знала, что нравлюсь ему, но «влюблен»? Я сказала, что не могу так сразу ответить, — я недавно перенесла тяжелую обиду, и мне требовалось время, чтобы отойти от нее. Но я была благодарна и тронута тем, как бережно он это сказал — ничего не требуя. Наша обычная вечерняя прогулка до дома Карповичей была в этот вечер совсем другой.

Я вернулась в Линн, воспрянув духом. Мир был уже не так мрачен. Так прекрасно было знать, что ты значишь что-то для другого человека и этот другой тебе нравится. Я думала о нем всю неделю, и чем больше думала, тем дороже он мне становился. В конце недели мне уже не терпелось поехать в Кембридж и увидеть Харолда. Но я сдерживала чувства — мне не хотелось влюбиться «от отчаяния». Харолд был гораздо нежнее и внимательнее, чем Йост. Я могла ему доверять, могла не бояться, что он меня обидит. Я их не сравнивала — от моей любви к Йосту ничего не осталось. Все было совершенно по-другому.

В последующие недели Харолд приезжал ко мне в Линн несколько раз, обедал со мной у моих хозяев, и потом мы сидели или в гостиной, или у меня в комнате. На выходные я приезжала в Кембридж, мне уже было

трудно оставаться без него. Как-то вечером он сел за пианино в гостиной в Линне и начал играть. Я не помню, что он играл, но он весь изменился, будто инструмент был его собственным голосом и он говорил о себе. В этот момент я поняла, что люблю его.

Когда мы решили пожениться, я сразу рассказала Карповичам, написала домой и сказала своей хозяйке в Линне. На работе меня поздравили сослуживцы, и только старый одинокий русский математик, который всегда задерживался на работе допоздна в своем отдельном кабинете в компании с одними рыбами в аквариуме, сказал: «Брак — это хорошо. Если вы живете на расстоянии в двадцать миль». Это меня шокировало.

Харолд купил два обручальных кольца на деньги, которые я ему дала, потому что у него самого денег не было. Внутри была выправирована дата. Я купила себе костюм в магазине секонд-хенд. Мы поженились 25 февраля 1935 года. Накануне Харолд перевез мои вещи к себе в Кембридж.

В понедельник я должна была выходить на работу, как всегда. Поскольку я проработала на своем месте только семь месяцев, отпуска мне не полагалось, и свадебное путешествие пришлось отложить до осени.

Харолд не сразу сообщил родителям о своей женитьбе. Мне даже в голову не приходило, что его еврейская семья может быть недовольна его выбором. Я совершенно ничего не знала о еврейской религии и считала, что браки русских и евреев всегда замечательны, потому что получают особенно умные дети. Мои лучшие друзья Маргарита Сечкина и Юра Айнгорн были из таких смешанных семей, и оба были православными.

Мистер Крейн прислал мне два подарка — чек на сто долларов и разрешение сшить костюм у портного. Я заказала коричневый фланелевый костюм и носила его потом много-много лет. На сто долларов мы купили старую машину с откидным верхом, и теперь Харолд отвозил меня на работу каждое утро и заезжал за мной в пять, до тех пор пока я сама не получила водительские права.

Вместе с дорогой мой рабочий день продолжался с семи утра до шести вечера. Харолд покупал все, что надо, и порой раскладывал целый поднос разных закусок, так что, возвращаясь домой, я была очень тронута его заботой.

Я по-прежнему была не сильна в кулинарии. Татьяна Николаевна Карпович рассказала мне самый простой способ готовить курицу: купить целую курицу, положить в кастрюлю, добавить соль и перец и варить два

часа. Тогда у тебя получается и курица, и бульон. Я все сделала, как было сказано: поставила кастрюлю с курицей и с водой на огонь и ушла читать в гостиную на два часа. Через два часа я обнаружила в кухне обгорелый куриный скелет без воды, которая почему-то вся выкипела. После этого Харолд очень долго не доверял тому, что я готовила.

Теперь, когда стало ясно, что Америка станет моей страной, я страстно хотела узнать ее, почувствовать, как я могла чувствовать Россию. Харолд рассказывал мне о жизни в маленьком американском городке, о своем детстве, о школьных годах, и все было так не похоже на мое...

Он говорил мне о жизни шахтеров и других рабочих, о том, как профсоюзы борются, чтобы улучшить условия их труда и жизни, о жизни людей в трущобах. К тому времени я уже и сама не думала, как вначале, что в Америке у всех жизнь слишком комфортна, но до сих пор я смотрела со стороны, а теперь начала смотреть на Америку глазами ее жителей. Я стала понимать, что еще многое надо сделать, чтобы улучшить жизнь людей, что здесь есть много нерешенных проблем. Самое главное для меня было то, что я стала понимать, что представляет собой демократия. Я восхищалась патриотами этой страны, которые, однако, честно признавали ее недостатки. О России можно было только горевать, и было чувство, что там, чтобы чего-то достичь, надо жертвовать собой. А в Америке необходимо было просто работать и не терять веры в то, что твои усилия дадут результат. И мне еще так многому предстояло учиться.

Я СТАНОВЛЮСЬ АМЕРИКАНКОЙ

19 апреля 1935 года мы с Харолдом отправились посмотреть финальный этап Бостонского марафона. Харолд сам когда-то бегал на длинные дистанции и очень интересовался марафоном. Мы стояли в толпе вдоль финишной прямой на Коммонуэлс-авеню, и я чувствовала возбуждение толпы, нетерпение Харолда, и сама была в радостном волнении. Как это было здорово — стоять рядом с любимым мужем, чувствовать его волнение, быть вместе с ним и вместе со всеми и не бояться, не заботиться ни о политике, ни о том, что можно, что нельзя...

После марафона Харолд повез меня в Конкорд посмотреть парад в честь защитников Американской революции, знаменитый мост, памятник

ополченцу и могилу британских солдат. Все еще в радостном возбуждении от спортивных состязаний, я очень остро воспринимала окружавший меня дух американской истории. Особенно тронули меня стихи Дж. Р. Лоуэлла, высеченные на могиле британских солдат.

They came three thousand miles and died
To keep the past upon its throne.
Unheard beyond the ocean tide
Their English mother made her moan*.

Я вдруг почувствовала, как не нужна любая война, мне было так жаль павших врагов. Я заплакала и внезапно поняла, что люблю эту страну, которая смогла написать такие слова на могиле своих противников. И если они так могли отозваться о британских солдатах сразу после войны с ними, то они, наверное, примут иммигрантов, таких как я. Теперь я могла и вправду сказать, что это моя страна. Я всегда хотела принадлежать к чему-то, и вот теперь это произошло. Я знала также, что и сестрам моим смогу показать эту страну, чтобы и им она стала близкой.

День 19 апреля для меня навсегда остался важной датой.

Быстро пролетели весна и лето. Отпуска мне все еще не полагалось, а у Харолда не было занятий, и он проводил много времени один, как привык раньше. По выходным мы гуляли вдоль реки, а иногда уезжали за город. Я стала узнавать больше о Харолде — он рассказывал мне о своей юности.

Учиться музыке он начал в раннем детстве, и родители купили ему пианино. Он пытался подружиться с соседскими детьми, но они были из шахтерских семей и презирали его слабость, его умение играть на пианино. Он был для них сын держателя салуна, в дом к которому ходить запрещалось, потому что там продавали спиртное. После начальной школы Харолд поступил в частную среднюю школу, но и там среди мальчиков из богатых семей не чувствовал себя своим. В МТИ он решил пойти после того, как его дядя, увидев его постройки из сборного конструктора, сказал: «Этому мальчику надо в Технологический!»

*Они проплыли три тысячи миль и умерли,
Защищая владычество прошлого.
Там далеко-далеко за океаном неслышно
Английская мать плачет о погибшем.

В одно лето он убежал из дому и собирал на ферме чернику с группой других подростков. Какое-то время подрабатывал в кинотеатрах: аккомпанировал на немых фильмах. Институт он окончил в срок, несмотря на то что пропустил год по болезни, — не хотел, чтобы родители во время Великой депрессии платили еще за один год его учебы. Целый год после окончания он просто голодал в Бостоне, не признаваясь родителям, что у него нет работы; одно время работал на обувной фабрике. В конце концов профессор Стрэйк предложил ему подработать — проверять студенческие работы.

Я рассказывала Харолду свою жизнь, очень серьезно и в то же время немножко сентиментально, воспоминания о моей юности всегда звучали ностальгически. Харолд же в свои рассказы вкладывал немало юмора и иногда доводил меня до такого смеха, что я просто умоляла его перестать. Но сердце мое все время отзывалось на его чувства одинокого ребенка, не понятого родными.



ГЛАВА 28

ПУТЕШЕСТВИЕ ОКОНЧЕНО

Последние приготовления

Переписка с Харбином занимала большую часть моего свободного времени.

Япония вела переговоры с Россией, стремясь выкупить КВЖД, что очень сильно тревожило Китай, — по первоначальному соглашению выкупить дорогу мог только Китай. Русским становилось все труднее и труднее жить в Маньчжурии. Советские власти старались упростить проезд в Россию, и русские уезжали туда целыми поездами, везли все, что у них было, и почти все они либо сразу, либо в течение одного-двух лет попали в лагерь или были расстреляны.

В марте переговоры между СССР и Маньчжоу-го завершились продажей КВЖД Маньчжоу-го, то есть, по сути, Японии.

Многим из служащих, до сих пор получавшим отказ, теперь выдали советские паспорта. Получили их и Лена с Таней. Советские власти совершенно явно делали все, чтобы вернуть эмигрантов в Россию. К счастью, Лена и Таня уже приняли к этому времени решение ехать в США, но советский паспорт позволял им надеяться, что когда-нибудь, пожив в США, они смогут вернуться на родину.

Маня договорилась с семьей наших друзей, что они возьмут к себе няню. Денег, полученных за дом, должно было хватить на нянино обеспечение на несколько месяцев вперед. И мы обещали присылать еще из Америки.

Дом был продан очень дешево. Деньги на билеты дал мистер Крейн.

Мы с Харолдом ждали, что осенью приедут мои сестры, и надо было подыскать новое жилье, так чтобы мы все поместились. Харолд еще в августе начал искать для нас дом. Сережа зарабатывал очень мало, к тому

же он женился и должен был содержать жену, так что я не рассчитывала на его помощь. После замужества я жила на деньги Харолда, а все, что получала сама, откладывала впрок.

Харолд нашел дом недалеко от железной дороги в симпатичном городке Уэйкфилд — пригороде Бостона, еще ближе к Линну. Харолд всегда умел выбирать тихое жилье.

На первом этаже были гостиная, столовая и кухня, на втором четыре спальни и еще одна на третьем. Нам предстояло обставить дом, чтобы в нем могли жить семь человек.

Меня несказанно трогало то, с каким энтузиазмом Харолд принимал участие в приготовлениях. У меня не было ни времени, ни умения покупать со скидкой. Мы проводили с ним вечера над толстым каталогом, а на следующий день Харолд заказывал то, что мы выбрали. Я ждала с нетерпением своих сестер и считала, что и он ждет их вместе со мной. Мне как-то ни разу не пришло в голову, каково будет ему, единственному ребенку своих родителей, со всей его застенчивостью, жить в большой семье. Впрочем, наш дом в Харбине всегда принимал одиноких молодых людей, и им у нас было хорошо. Я все еще была неотделима от своей семьи и явно не готова жить отдельно. Я просто приняла Харолда в нашу семью.

КОНЕЦ ПУТЕШЕСТВИЯ

Девочки и Маня выехали из Харбина 22 сентября. На станции их провожала толпа друзей. Няня, прожившая всю жизнь с нашей семьей, была в отчаянии — расставание с ней было душераздирающим. Она умерла, не прожив и года после разлуки. Перед смертью ей в бреду казалось, что мы все вернулись.

Пароход должен был прибыть в Нью-Йорк в конце октября. Я взяла на работе отпуск на несколько дней и поехала в Нью-Йорк их встречать. Харолд со мной не поехал; он собирался хоть как-то приготовить дом к нашему приезду — пока что мебель была расставлена как попало, по всем комнатам лежали нераспакованные коробки с постелями, окна без занавесок смотрелись уныло.

Все, что я пишу дальше, собрано из обрывков общих воспоминаний. Я сама не помню ничего. Интересно, что и остальные мои сестры помнят этот день смутно.

В Нью-Йорке мистер Броуди отвез меня на причал, где уже швартовался пароход. Туда же приехал из Нью-Хейвена Сережа. Вот начали сходить на берег пассажиры, и когда толпа на палубе уже стала редеть, мы увидели наших четырех сестер и Маню — они все стояли вдоль борта, девочки кричали и прыгали от радости, увидев нас. Но им еще предстояло пройти иммиграционные процедуры на острове Эллис, а до тех пор мы не могли подойти к ним, не могли обнять, и это была поистине танталова мука.

Процедуры на острове Эллис не заняли много времени, потому что у мистера Броуди были все необходимые документы, что значительно ускорило дело. И наконец мы смогли обняться. Все говорили одновременно, обнимались, целовались и плакали.

Рассказам сестер не было конца — сказочные Гавайи с тропическими цветами, Сан-Франциско, где им все-таки удалось сойти на берег, потому что за них поручились американцы с парохода, многочисленные шлюзы в Панамском канале и, наконец, сквозь туман — статуя Свободы на фоне нью-йоркских небоскребов... Все это они описывали мне и Сергею, перебивая друг друга, и даже Маня пыталась вставить несколько слов. Но ничего не было сказано о папе. Мы просто не могли. Папина тень стояла над нами, но разговоры о нем были отложены на потом.

Провожая нас в Бостон вечером на вокзале, мистер Броуди сообщил, что будет посылать нам двести долларов в месяц и оплачивать, если понадобится, все расходы на лечение сестер, но оплата их обучения ложится на нас.

В поезде у нас были спальные места, но спать почти никто не мог. Харолд с другом встретили нас утром на вокзале в Бостоне и отвезли в Уэйкфилд. В доме был полнейший порядок, даже занавески (неподшитые и подколотые булавками) висели на окнах, придавая дому красоту и уют. Постели аккуратнейшим образом застелены — Харолд и Марк закончили все поздно вечером и спали на полу в гостиной, чтобы не нарушить порядка.

Девочки были в восхищении. Они бегали по дому, подпрыгивая и крича, как маленькие. Маня сразу обследовала кухню, одобрила все, что там нашла, и тут же взялась готовить обед.

Так началась наша новая жизнь.

Последующие годы

Со временем Харолд стал профессором статистики в МТИ, опубликовал ряд научных книг. У нас родились два сына — Артур и Эдвард. Мы с Харолдом разошлись в 1957 году, и оба больше в брак не вступали. Я работала в МТИ в области прикладной математики, а затем преподавала русский язык и ушла на пенсию в должности ассосиэйт профессора (доцента) по русскому языку.

Сергей получил докторскую степень по физике. До самого ухода на пенсию в возрасте 70 лет он работал в Aberdeen Proving Grounds в Мэриленде. Он умер в 1982 году. Его жена Вилма и сейчас живет в их доме в Абердине. У них две дочери и четверо внуков.

Лена окончила Редклиф-колледж по специальности «английская литература». В день ее выпуска из колледжа состоялась и ее свадьба. Ее муж Харри Левин впоследствии стал известным профессором сравнительного литературоведения в Гарварде и опубликовал много книг по литературе. У них дочь и двое внуков. Лена преподавала русский язык на семинарах в Редклифе и перевела две книги. Харри умер в 1994 году. Лена живет в Кембридже.

Таня захотела учиться биологии. Английский она знала не так хорошо, как Лена, и я посоветовала ей поступать в МТИ, считая, что язык там не так важен и ей легче будет учиться. Я нисколько не сомневалась в Таниных способностях, и она действительно прекрасно училась. После второго года она вышла замуж за своего сокурсника Роберта Халла, который специализировался по электротехнике. Роберт стал потом вице-президентом компании, занимавшейся электроникой, в Нью-Йорке. Он рано ушел на пенсию, и они переехали в Мэриленд, где и жили с тех пор. Таня сначала работала биологом, потом была домохозяйкой, а когда дети выросли и Роберт вышел на пенсию, стала работать в библиотеке. У них две дочери, четверо внуков и трое правнуков. Таня умерла в 2001 году.

Зоя поступила в Школу при Музее изящных искусств в Бостоне и успешно занималась там скульптурой и живописью. Через два года она уехала в Чикаго учиться у известного скульптора Архипенко, но занималась там недолго и переехала в Нью-Йорк, где вышла замуж за Роберта Чамберса, студента-медика, с которым познакомилась в Вудс Хоул. Через десять лет они разошлись. Зоя стала социальным работником и до самой пенсии работала в Бруклине, Нью-Йорк, где живет сейчас.

Катя поступила в МТИ одновременно с Таней и тоже занималась биологией, а позднее перешла в Редклиф. Она окончила колледж в 1941 году и продолжала учиться дальше, а в 1950 году получила докторскую степень по биологии в университете Миссури. Она вышла замуж за своего сослуживца Джесси Синглтона, который стал профессором биологии в университете Пердью в Индиане. Джесси умер в 1962 году. У них один сын. Катя работала в разных местах и теперь на пенсии в Провиденсе, Род-Айленд.

В Соединенных Штатах наша семья разбросана по многим штатам. Потомки Зарудных живут в Массачусетсе, Род-Айленде, Нью-Йорке, Мэриленде, Висконсине, Миннесоте, Вашингтоне, Орегоне, Флориде и Калифорнии.

Маня выучила английский и познакомилась с эмигрантом с Украины Филиппом Дерриком, за которого вышла замуж в 1940 году. Они переехали в Провиденс. Своих детей у Мани не было, и до самой своей смерти она оставалась центром нашей семьи, связывая нас друг с другом. Маня застала восемь детей и десять внуков, родившихся в наших семьях, и никогда не забывала ни одного дня рождения. Она умерла в 1989 году в возрасте 94 лет.



ЭПИЛОГ

В 1994 году, благодаря Елене Георгиевне Боннэр и фонду А.Д. Сахарова, я получила из России копии документов из следственного дела моей матери, хранившегося в архивах КГБ по Омской области. Кроме писем и фотографий, конфискованных во время обыска 16 февраля 1921 года в нашем доме в Омске, там были протоколы допросов, очных ставок; заключение о виновности и заключение о реабилитации (документы на машинке, без подписи, без даты, сохраняю орфографию оригинала):

Заключение

По делу № 89-Д по обвинению гр. *Зарудной* Елены Павловны в участии в подпольной белогвардейской организации по свержению Соввласти в 1920—1921 годах.

По показаниям арестованного члена подпольной организации Лапшева видно, что *Зарудная* укрывала члена Подпольной организации Новикова и его Лапшева, последний ночевал у нее 4 ночи. Новиков жил более месяца, как высказывает соображения Лапшев она укрывала бы его дольше, но этому мешало, что она на него не надеялась и считала его подозрительным. *Зарудная* посоветовала Новикову ехать в Ново-Николаевск и дала туда рекомендательное письмо к одному знакомому, чтобы последний принял Новикова на службу под другой фамилией, выдал соответствующие документы и т.п. Бывал у *Зарудной* также и Густомесов — один из головки организации по показаниям Густомесова он ходил к *Зарудной* раза три в разговорах он ей сообщил, что является членом правоэсеровской антисоветской организации, опирающейся на крестьянство. В дальнейшем Густомесов ввиду шаткого создавшегося положения попросил у *Зарудной* разрешения направлять на ее имя корреспонденцию для передачи, как было условлено «Коле». Она согласилась и через нее Густомесов получил два закрытых письма и посылку. Малиновский тоже член

данной организации показал, что достав бланки для Густомесова он занес их к Зарудной и не застав ее оставил ей для передаче «Н.П.», т.е. Густомесову сверток с бланками, которые она, как потом Малиновскому сказала при встрече, что передала по назначению. Опрошенная в качестве обвиняемой Зарудная в начале буквально отрицала все, потом после не однократных допросов вынуждена была признать, что знала о Густомесове как члене организации, согласилась и получила для него письма, знала, что Новиков состоит в антисоветской организации но под фамилией Новикова она его не знала / знала его под другой фамилией и на вопрос сказать таковую ответила нежеланием, признала, что дала рекомендательное письмо Новикову к своему хорошему знакомому в Ново-Николаевск, фамилию которого тоже сказать не пожелала. Признала факт ночевки у нее Лапшева, факт получения свертка бланк Малиновского и передачи его Густомесову.

Имея в виду все вышеизложенного я нахожу виновность *Зарудной* в участии в антисоветской организации вполне доказанной, прибавляя что своими отказами назвать необходимую для следствия фамилию она выявила себя как самый реакционный и упорный элемент. Считая следствие по данному делу законченным, представляю его на рассмотрение коллегии.

Примечание: Обвиняемая Зарудная содержится при Комиссии

Уполномоченный /подпись/
С подлинным верно

Заключение
в отношении Зарудной Елены Павловны
по материалам уголовного дела (арх. № ОУ—4940)

По постановлению Омской Губчека от 14 марта 1921 года подвергнута расстрелу.

По постановлению обвинялась в том, что принимала участие в подпольной белогвардейской организации по свержению Советской власти в 1920 и 1921 годах.

Привлеченная в следствии объясняла, что в октябре 1920 г. попросилась на временное проживание незнакомый ей человек, назвался Вла-

дмиром Игнатко. К нему приходили какие-то люди, которых она тоже не знала, но один из них назвался Огинским (позже им оказался Густомесов Николай Павлович). Этот человек попросил ее принимать на ее адрес поступающую на его имя «Н.П.» или «Оля» корреспонденцию. На это она ответила шуткой, не сказав о своем согласии. Позже она на имя «Оля» получила посылку со съедобными вещами и она поделила ее с прислугой. Никакого свертка от свидетеля Малиновского для «Н.П.» она не получала. Она заявляла, что никто из этих лиц или приходящих ей подробно не рассказывал об организации и не предлагал вступать в таковую. Других данных, подтверждающих ее конкретное участие в работе организации, по делу не добыто, поэтому:

Зарудная Елена Павловна полностью реабилитирована в соответствии с Законом РСФСР от 18 октября 1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий».

Помощник прокурора области
Ст. советник юстиции /подпись/

08.06.1993

Семьдесят три года прошло со смерти мамы, и все эти годы мы думали, что она совершила что-то героическое. Мы не знали, в чем ее обвиняли, но были уверены, что она отстаивала свои идеалы и, скорее всего, действовала против большевиков. В семье все-таки жило чувство, что мама была так предана своим политическим идеалам, что не только рисковала ради них своей жизнью, но и поставила под угрозу будущее своих детей.

Мне понадобилось больше двух лет работы над воспоминаниями и множество бесед с друзьями, чтобы набраться храбрости и не только прочитать, но действительно понять, что говорилось в полученных из России документах.

То, что я поняла, было для меня откровением. С моих плеч свалился страшный груз, который тяготил столько лет. Я наконец поняла, что мама не была замешана ни в каком заговоре. Вся ее вина заключалась в сочувствии. В свои восемьдесят шесть лет я впервые подумала о 37-летней маме

не как дочь, а как старшая. Она смотрит на меня с тюремной фотографии и улыбается доверчивой улыбкой, и я понимаю, почему она улыбается.

Она знала, что происходит в стране. Она прекрасно понимала весь ужас того, что творили большевики, устанавливая свою власть. И все-таки она не теряла надежды. Отдавая себе отчет, насколько люди, запуганные террором и одураченные пропагандистскими лозунгами, темны и лишены способности мыслить самостоятельно, она видела единственный выход в образовании. Мама посвятила себя этому, она учила с утра до поздней ночи, словно торопясь успеть сделать как можно больше. Она преподавала — детям в школе, взрослым на курсах, даже тем, что только-только научились писать, а через три месяца уже собирались стать учителями. И работая изо всех сил, мама понимала, конечно, что ее идеалы нисколько не близки большинству людей.

Но она не могла не сочувствовать тем молодым людям, которые разделяли ее взгляды и при этом были жертвами существующего режима. «Они такие молодые!» — говорила мама и чувствовала, что им нужны ее мудрость, ее чувство реальности, ее советы. И только поэтому она укрывала молодого человека в нашем погребе. На самом деле она была очень осторожна, стараясь отправить его из дому как можно быстрее и так, чтобы никто не видел. Она доверялась только тем людям, которых считала надежными, и, давая ему адрес своих знакомых в далеком городе, предупреждала, что те не будут делать ничего незаконного.

Она не знала, что ее могут хоть в чем-то обвинить, потому что ничего не затевала. Она всего лишь не могла оставить человека без помощи. И осталась верна самой себе, не выдав имен своих друзей на допросах даже под угрозой смерти. Героизм ее заключался в том, что она не теряла человечности даже тогда, когда казалось естественным заботиться только о собственной жизни. Сердце ее болело, когда она думала, сколько страданий принесет ее смерть, но она надеялась, что дети останутся живы, потому что глубоко доверяла людям вокруг. Ей оставалось только надеяться, что посеянное ею в сердцах ее детей будет жить, что они вырастут достойными людьми и когда-нибудь узнают, что она никого не предавала.

Можно ли винить тех молодых людей, беспомощных жертв революции, которые отчаянно, борясь за жизнь, попросили у нее убежища и тоже не могли представить себе, что молодая мать шести детей, да еще доказавшая свою лояльность властям, может пострадать из-за них?

За семьдесят лет советской истории погибли миллионы людей, и моя мама — одна из них. В какой-то момент я считала, что она всего-навсего оказалась одной из щепок, отлетевших, когда рубят лес. Но нет — я поняла потом, что она не была просто щепкой. Она не изменила себе и осталась человеческой до конца, даже тогда, когда уверяла нас, что у нее все хорошо, когда заботилась о праздничной одежде для сокамерницы и думала о пасхальном празднике для всех — за несколько дней до смерти.

Революции, войны, особенно гражданские, лишают людей человечности. Остаться человеком в таких условиях — это уже героизм.



ПРИМЕЧАНИЯ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА

¹ Цитируется стихотворение Ф.И. Тютчева «Накануне годовщины 4 августа 1864 г.».

² *Бестужевские высшие женские курсы* — неофициальное название Петербургских высших женских курсов, первого женского высшего учебного заведения в России. Открылись в 1878 г.; их официальным учредителем и первым директором был историк К.Н. Бестужев-Рюмин.

³ *Религиозно-философское общество* в Петербурге действовало в 1907—1917 гг.¹

⁴ Обе книги вышли в Петербурге: перевод книги Беккариа — в 1879 г. (издание включало и исследование влияния этой книги на Наказ Екатерины II), а перевод «Ада» Данте — в 1887 г.

⁵ С.С. Зарудный был арестован 11 апреля 1887 г. и привлечен к дознанию при Петербургском жандармском управлении по делу о 16 лицах, обвинявшихся в преступных сношениях с участниками покушения 1 марта. 15 апреля заключен в Трубецкой бастион Петропавловской крепости, 28 апреля переведен в Дом предварительного заключения, был освобожден 7 мая 1887 г. и выехал в Харьковскую губернию. По высочайшему повелению 13 июля 1888 г. выслан под гласный надзор на 3 года в Западную Сибирь. По ходатайству матери оставлен в Омске.

⁶ Цитируется украинская детская песенка.

⁷ О четвергах Е.С. Зарудной см.: *Рылов А.А.* Воспоминания. Л., 1960. С. 93—94.

⁸ Союз русских художников возник в 1903 г. на основе выставочных группировок «36 художников» и «Мир искусства» и просуществовал до 1923 г.

⁹ Имеется в виду Дальневосточная республика — временное буферное государство со столицей в Чите, сателлит РСФСР, существовавшее в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке в 1920—1922 гг.

¹⁰ Имеются в виду выпущенные издательством Брокгауза и Ефрона в серии «Библиотека великих писателей» Сочинения Шекспира в 5 т. (СПб., 1902—1904) и Шиллера в 4 т. (СПб., 1903).

¹¹ Обращение к поэзии П.Ф. Якубовича было связано, по-видимому, с тем, что ряд его стихов был написан во время заключения в Петропавловской крепости и посвящен тюремной тематике (в частности, цикл «В крепости»).

¹² *Пасочница* — деревянная форма для изготовления пасхи — праздничного творожного блюда.

¹³ Песня неизвестного автора 1870-х годов.

¹⁴ *ИМКА* — международная общественная организация, созданная в Лондоне в 1948 г. для пропаганды христианских ценностей.

¹⁵ Речь идет о Центральном железнодорожном комитете помощи голодающим, созданном в Харбине в августе 1921 г.

¹⁶ *Виктрола* — патентованное название радиоприемника с проигрывателем грампластинок.

¹⁷ *Общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев* было создано в 1921 г. Оно оказывало материальную помощь членам, организовывало лекции, занималось собиранием, изучением и изданием исторических материалов о революционной деятельности и ответных репрессиях царского правительства. Общество было закрыто в 1935 г.

¹⁸ Неточно цитируется стихотворение И.А. Бунина «Проводы» (1907). Цитируемая строфа была опущена автором в позднейших переизданиях.



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ *

- Аблова Татьяна — участница студенческого кружка в Харбине 249
- Айнгорн Георгий Михайлович (1907—1938) — студент Политехнического института в Харбине; уехал в СССР, работал инженером исследовательской лаборатории Московского рентгеновского завода. Расстрелян в 1938 г. 249, 257, 272, 273, 286, 313, 320, 337
- Александр II (1818—1881) — российский император с 1855 г. 21, 22
- Александр III (1845—1894) — российский император с 1881 г. 22, 23
- Александров Дмитрий Михайлович — управляющий Государственного банка в Уфе 82
- Алексей Николаевич, великий князь, цесаревич (1904—1918) — сын Николая II 26
- Алехин Виталий — друг Е.И. Зарудной по Харбину, уехал в СССР, был арестован, отбыл 10 лет в лагерях в Коми; после освобождения уехал в Фергану (сообщено М.В. Шкарлат) 335, 336
- Архипенко Александр Порфирьевич (1887—1964) — скульптор, в 1923 г. переехал в США 344
- Бакич Михаил (Андреевич?) — студент Политехнического института в Харбине 249, 264
- Бакич Татьяна — знакомая М.И. Зарудной 8
- Баранов — капитан 2-го ранга 66
- Барсов Лев — участник студенческого кружка в Харбине 249
- Бейлис Менахем Мендель (1874—1934) — подсудимый на ритуальном процессе в Киеве в 1913 г. 37, 231
- Беккариа Чезаре ди, маркиз (1738—1794) — итальянский просветитель, юрист и публицист 22
- Беккер Яков Давыдович — основатель (в 1841 г.) фортепианной фабрики в Петербурге (с 1889 г. фабрика принадлежала М.А. Битепажу) 33
- Белый Андрей (наст. имя и фамилия Борис Николаевич Бугаев; 1880—1934) — писатель, теоретик символизма 175
- Беляев Александр Иванович — чиновник уфимского отделения Крестьянского поземельного банка в Уфе 82
- Бенуа Александр Николаевич (1870—1960) — живописец, историк искусства и художественный критик 68, 231

*Лица, известные только по именам, без фамилий, в указатель не внесены.

- Бенуа Альберт Николаевич (1852—1937) — живописец 152, 159
Бердяев Николай Александрович (1874—1948) — философ 16
Бернетт Фрэнсис Элиза (1849—1924) — американская писательница 174
Бессемер Генрих (1813—1898) — английский изобретатель, разработавший технологию переработки чугуна в сталь 64
Бизе Жорж (1838—1875) — французский композитор 25
Блок Александр Александрович (1880—1921) — поэт 16
Блэкберн Джон — сотрудник Калифорнийского технологического университета 303, 304
Боннэр Елена Георгиевна (р. 1923) — общественный деятель, публицист 10, 346
Борзов Николай Викторович (1871—1955) — директор коммерческих училищ КВЖД в Харбине в 1906—1925 гг. 200, 228
Брайль Луи (1806—1852) — француз, изобретатель рельефной азбуки для слепых 95
Браунриг — мать Н. Браунриг 296
Браунриг Нина — студентка колледжа Скриппс в Клермонте 296
Бриттон — управляющий фабрикой в Йокогаме 282
Броуди Дональд — секретарь Ч. Крейна 277, 287, 298, 313, 315, 316, 343
Брэм Альфред Эдмунд (1829—1884) — немецкий биолог-популяризатор 126
Брюлло Георг — немецкий художник по фарфору, прапрадед М.И. Зарудной 13
Брюллов Александр Павлович (1798—1877) — архитектор, живописец, прадед М.И. Зарудной 8, 9, 13
Брюллов Александр Павлович (1875—1896) — сын П.А. Брюллова 15
Брюллов Борис Павлович (1882—1940) — искусствовед, сын П.А. Брюллова, дядя М.И. Зарудной 9, 15, 44, 156, 175
Брюллов Вадим Павлович (1873—1942) — инженер, сын П.А. Брюллова 15, 42, 120, 122, 123, 129, 131, 138, 140, 144, 147, 156, 159, 163, 164, 171—173, 178, 305
Брюллов Карл Павлович (1799—1852) — живописец 9, 13
Брюллов Павел Александрович (1840—1914) — живописец, член Товарищества передвижных художественных выставок (с 1874) и академик (с 1893); хранитель Русского музея (1897—1912), дед М.И. Зарудной 9, 13—15, 19, 29, 37, 67, 68
Брюллов Павел Вадимович (1903—1943) — инженер, сын В.П. Брюллова 13, 120, 122, 131, 135, 138, 139, 144, 163, 164, 175
Брюллова Елена Павловна (в замужестве — Зарудная; 1883—1921) — мать М.И. Зарудной 8—10, 14—19, 28, 30—37, 43—45, 50, 52, 53, 59, 62—64, 67, 70—74, 77—80, 82, 83, 87, 93, 97, 98, 101, 105—110, 112—115, 120—122, 125, 128—132, 135—137, 140—142, 144, 147, 157, 159, 162, 170—173, 175, 193, 206, 220, 238, 278, 301, 305, 308, 333, 346—349

- Брюллова Лидия Павловна (1886 — 1954?) — дочь П.А. Брюллова, поэт, секретарь редакции журнала «Аполлон»; в 1935 г. была сослана в Ташкент 9, 15, 31, 42, 156
- Брюллова Любовь Павловна (в замужестве — Соболева; 1880 — 1933) — врач, дочь П.А. Брюллова, тетка М.И. Зарудной 15—18
- Брюллова Маргарита Павловна (1888—1890) — дочь П.А. Брюллова 15, 31
- Брюллова Нина Борисовна (1922—1991) — архитектор, дочь Б.П. Брюллова, кузина М.И. Зарудной 9
- Брюлова Софья Вадимовна (1902—1990) — врач-невропатолог, дочь В.П. Брюллова 122, 175
- Брюллова-Шаскольская Надежда Владимировна (1886—1937) — историк и этнограф, дочь В.А. Брюллова. Активный член партии эсеров, арестована и расстреляна в 1937 г. 8, 9, 16, 17, 305
- Буйневич — жена М. Буйневича 51, 74
- Буйневич Мечислав — горный инженер, генеральный директор сталелитейных заводов на Выксе 46, 51, 63, 67, 74
- Бунин Иван Алексеевич (1870—1953) — поэт, прозаик, переводчик 283
- Бэкон Фрэнсис (1561—1626) — английский философ и политический деятель 240
- Валле — гувернантка М.И. Зарудной в Либаве 39
- Вараксин — полковник, квартирохозяин И.С. Зарудного в Харбине 152, 160
- Вараксин Владимир — сын полковника Вараксина 193
- Вараксина Варвара Алексеевна — учительница, жена полковника Вараксина 152, 197
- Васнецов Виктор Михайлович (1848—1926) — художник 199
- Веденевы — купцы в Уфе 83
- Верн Жюль (1828—1905) — французский писатель 182
- Вернадская Нина Владимировна (урожд. Ильина) — жена Г.В. Вернадского 299, 318, 329
- Вернадский Георгий Владимирович (1887—1973) — историк 299, 318, 326, 329
- Вильгельм I (1797—1888) — прусский король с 1861 г., германский император с 1871 г. 26
- Вильсон Томас Вудро (1856—1924) — президент США (1913—1921) 78
- Войков Александр Дмитриевич (1879—1944) — ботаник, садовод, метеоролог. С 1922 по 1929 г. заведовал Опытным полем КВЖД на станции Эхо (Маньчжурия) 236—238
- Вонский Сергей Максимович (р. 1924) — лесовод, кандидат сельскохозяйственных наук 8
- Гаврилов Александр Алексеевич — инженер, заведующий электрическим отделом городской управы в Уфе 82, 89, 105, 153, 154

- Гиппиус Зинаида Николаевна (1869—1945) — писательница, критик 16
- Гитлер Адольф (наст. фамилия Шикльгруббер; 1889—1945) — фюрер Национал-социалистической партии Германии с 1921 г., глава германского фашистского государства 322
- Гнедич Николай Иванович (1784—1833) — поэт, переводчик 207
- Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — прозаик и драматург 220
- Годнев Николай Геннадиевич — учитель литературы в Коммерческом училище в Харбине 240
- Голицына Евдокия Ивановна (урожд. Зарудная; 1832 — 1920-е) — сестра С.И. Зарудного 44, 133
- Горький Максим (наст. имя и фам. Алексей Максимович Пешков; 1868—1936) — писатель, публицист 68
- Гревс Иван Михайлович (1860—1941) — историк, профессор Петербургского университета 16, 156
- Грибоедов Александр Сергеевич (1790 или 1795 — 1829) — драматург, дипломат 248
- Грузенберг Оскар Осипович (1866—1940) — юрист, криминалист 230
- Гувер Герберт Кларк (1874—1964) — президент США (1929—1933) 318
- Гуно Шарль (1818—1893) — французский композитор 25
- Густов Лев Дмитриевич (1911—1984) — друг семьи Зарудных по Харбину, участник студенческого кружка в Харбине. Уехал в Шанхай, работал там инженером, преподавал в Шанхайском высшем техническом центре. В 1947 г. приехал вместе с семьей в СССР, в Свердловск, и с тех пор работал в УралТЭП, проектировал многие электростанции 249
- Густова Татьяна Дмитриевна (в замужестве Рудина; 1913—1995) — участница студенческого кружка в Харбине. С родителями и братом уехала в Шанхай. В 1947 г. приехала в СССР, где окончила педагогический институт и работала преподавателем русского и английского языков. 249, 265
- Густомесов Николай Павлович — член правозеровской антисоветской организации 346—348
- Гюго Виктор Мари (1802—1885) — французский писатель 346—348
- Данте Алигьери (1265—1321) — итальянский поэт 22
- Демченко — механик 66
- Деникин Антон Иванович (1872—1947) — военачальник, историк 157
- Деррик Филипп — муж М.К. Юркиной 345
- Джаншиев Григорий Аветович (1851—1900) — публицист, историк 21
- Диккенс Чарльз (1812—1870) — английский писатель 207, 220
- Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) — писатель 141
- Дрожжин Александр Иванович — электротехник, профессор Политехнического института в Харбине 273, 274, 299, 301, 304, 306, 307, 309, 313, 320

- Дуайт Меррил — друг С.И. Зарудного 318
 Дудоров — спичечный фабрикант в Уфе 83
 Дюма Александр (1802—1870) — французский писатель 220

 Епишин — представитель харбинского Центрального железнодорожного комитета помощи голодающим 187—189
 Ещин Леонид Евсеевич (1897—1930) — капитан, поэт 233, 234

 Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) — поэт, переводчик 207, 220
 Журавлев Михаил Мефодьевич — служащий уфимского отделения Государственного банка 82

 Зарудная Анастасия Сергеевна — тетка М.И. Зарудной 22, 23, 155
 Зарудная Варвара Сергеевна (в замужестве Лисовская; 1872 — 1940-е) — тетка М.И. Зарудной 22, 67, 156, 159, 178, 179—181, 305
 Зарудная Екатерина Ивановна (р. 1919) — сестра М.И. Зарудной 10, 19, 97, 98, 120, 122, 129, 146, 163, 179, 180, 185, 189, 190, 201, 209, 210, 231, 235, 242, 254, 255, 265, 292, 307, 315, 330, 344
 Зарудная Екатерина Сергеевна (в замужестве Кавос; 1861—1917) — живописец и график, тетка М.И. Зарудной 8, 14, 22, 25, 27, 29, 67—69, 80, 98, 114
 Зарудная Елена Ивановна (р. 1912) — сестра М.И. Зарудной 10, 38, 39, 42, 43, 47, 55, 63, 67, 75, 91, 101, 105, 108, 117, 120, 122, 126, 135, 138, 139, 144—147, 162—164, 166, 171, 176, 182, 183, 185, 186, 190, 191, 193, 197, 198, 201, 203, 209, 214, 216, 220, 224, 236, 247, 249, 254, 255, 257, 260, 261, 265, 273, 278, 279, 292, 293, 301, 303, 304, 307, 312—315, 320, 327, 329—331, 335, 336, 341, 344
 Зарудная Зоя Александровна (урожд. Мясново; 1836—1901) — бабушка М.И. Зарудной 22, 23
 Зарудная Зоя Ивановна (р. 1916) — сестра М.И. Зарудной 71, 73, 75, 81, 84, 116, 146, 156, 163, 176, 185, 190, 201, 209, 235, 254, 265, 275, 292, 307, 322, 330, 345
 Зарудная Зоя Сергеевна (1867—1942) — тетка М.И. Зарудной 22, 156
 Зарудная Мария Сергеевна (1860—1942) — дочь С.И. Зарудного, тетка М.И. Зарудной, жена И.М. Гревса 22, 156, 305, 325
 Зарудная Татьяна Ивановна (1915—2001) — сестра М.И. Зарудной 10, 54, 71, 75, 146, 147, 163, 164, 169, 176, 185, 190, 191, 198, 201, 207, 209, 224, 231, 242, 247, 254, 255, 273, 285, 292, 293, 295, 298, 299, 307, 308, 314
 Зарудный Александр Сергеевич (1863—1934) — товарищ прокурора Петербургского окружного суда в 1895—1899 гг.; адвокат (часто по политическим делам) в 1900—1917 гг.; товарищ министра юстиции, с июля 1917 г. министр

- юстиции во Временном правительстве; дядя М.И. Зарудной 22, 23, 37, 44, 78, 83, 156, 160, 218, 227, 229—233, 241, 325, 327, 335, 336
- Зарудный Иван Сергеевич (1875—1935) — инженер; отец М.И. Зарудной 19, 22—37, 41—46, 48, 51, 53, 62, 64, 67, 71, 73, 78—80, 82, 83, 88, 92, 93, 101, 104—106, 110, 115, 117, 122, 132, 138, 147—149, 152—163, 170—172, 174, 179—181, 185—191, 194—197, 201, 202, 206—208, 210, 213—216, 218, 220, 221, 223, 224, 227, 230—235, 241, 243, 244, 247, 248, 253, 254, 257—263, 265—267, 272—274, 276, 277, 279—283, 293—296, 298, 299, 301, 312—314, 319—321, 324, 325
- Зарудный Митрофан Иванович (1834 — 1883?) — брат И.С. Зарудного 156, 157
- Зарудный Сергей Александрович — сын А.С. Зарудного 44, 230
- Зарудный Сергей Иванович (1821—1887) — правовед, сенатор с 1869 г., дед М.И. Зарудной 20—23
- Зарудный Сергей Иванович (1910 — 1981) — брат М.И. Зарудной 14, 19, 24, 32, 33, 35, 36, 38—43, 47, 49, 55, 59—63, 69, 70, 72, 75, 86, 88, 90, 91, 94, 101, 102, 108, 110—113, 117, 120, 122, 126, 128, 135, 137—139, 144—146, 160, 163, 166, 168, 171, 174—176, 178, 180, 182—184, 187, 190, —192, 196—198, 201, 206, 209, 211, 214, 215, 219, 220, 223, 232, 236, 247, 248, 250, 251, 254, 255, 258, 260, 261, 263, 265, 267—269, 271—273, 276—279, 282, 284, 286, 287, 290—293, 295, 296, 298, 300, 304, 306, 309—312, 314—316, 318, 319, 321, 324, 325, 329, 331, 341, 343—345
- Зарудный Сергей Митрофанович — сын М.И. Зарудного, двоюродный брат И.С. Зарудного 68, 156
- Зарудный Сергей Сергеевич (1866—1898) — народоволец, сын С.И. Зарудного, дядя М.И. Зарудной 22, 23
- Знаменский — преподаватель русского языка в Массачусетском технологическом институте 330
- Иванов Алексей Николаевич — управляющий КВЖД с 1924 г. 233, 239
- Иванов-Разумник (наст. имя и фамилия Разумник Васильевич Иванов; 1878—1946) — критик, публицист, историк литературы 175
- Игнатко Владимир — постоялец Е.П. Зарудной 348
- Ильина Ольга Иосифовна — сестра Н.И. Ильиной 236
- Ильина Наталия Иосифовна (1914—1994) — советская писательница 236—238
- Ильина Екатерина Дмитриевна (урожд. Воейкова; 1887—1965) — мать Н.И. Ильиной, сестра А.Д. Воейкова 236, 238
- Иордан — врач в Выксе 51
- Йост Вильгельм — приглашенный профессор в Массачусетском технологическом институте 321, 322, 325, 329, 330, 333, 336

- Кавелина Софья Константиновна (1851—1877) — первая жена П.А. Брюллова 15
- Кавос Бум — сын В. и Е.Е. Кавосов 77, 124
- Кавос Вера Константиновна (1900—1989) — жена Е.Е. Кавоса 51, 52, 77, 81, 84, 98, 107, 124
- Кавос Евгений Евгеньевич (1894—1983) — двоюродный брат М.И. Зарудной, сын Ек.И. Зарудной 51, 52, 77, 80, 81, 84, 98, 99, 106, 120, 122, 124, 129, 152, 155, 172, 181
- Кавос Евгений Цезаревич — архитектор, муж Е.И. Зарудной 25, 45, 68, 152
- Кавос Стив — сын В. и Е.Е. Кавосов 98, 124
- Каеш Мария Васильевна — педагог, хозяйка частной гимназии в Омске 102, 112, 183
- Карпович Марина Михайловна (1930—2000) — дочь М.М. и Т.Н. Карповичей 326
- Карпович Михаил Михайлович (1887—1959) — философ, писатель, музыкант и композитор, профессор Гарвардского университета 316, 318, 325—328, 331, 335, 336
- Карпович Наталья Михайловна (р. 1927) — дочь М.М. и Т.Н. Карповичей 326
- Карпович Сергей Михайлович (р. 1929) — сын М.М. и Т.Н. Карповичей 326, 327
- Карпович Татьяна Николаевна (урожд. Потапова; 1897—1973) — жена М.М. Карповича 318, 337
- Катаев — купец в Уфе 83
- Каутский Карл (1854—1938) — один из лидеров и теоретиков германской социал-демократии и 2-го Интернационала 16
- Керенский Александр Федорович (1881—1970) — политический деятель 78, 230, 318, 331
- Киплинг Джозеф Редьярд (1865—1936) — английский поэт и прозаик 303
- Киров Сергей Миронович (наст. фам. Костриков; 1886—1934) — политический деятель 232, 233, 235
- Клеппнер Беатрис — знакомая М.З. Зарудной 10
- Клеппнер Эми — знакомая М.З. Зарудной 10
- Колтовер Константин — студент Политехнического института в Харбине; уехал в СССР и погиб в лагере 249, 257
- Колчак Александр Васильевич (1874—1920) — военачальник, полярный исследователь, адмирал (с 1918 г.), «Верховный правитель Российского государства» (1918—1920) 24, 92, 98, 99, 104, 105, 108, 148, 149, 215
- Коммиссаржевская Вера Федоровна (1864—1910) — актриса 233
- Комптон Карл Тэйлор (1887—1954) — американский физик, президент Массачусетского технологического института (1930—1948) 318
- Коншин Николай Владимирович — горный инженер в Уфе 82
- Корецкий — учитель математики в Коммерческом училище в Харбине 217, 218

- Крейн Корнелия (урожд. Смит; 1862—1941) — жена Ч. Крейна 313, 314
 Крейн Джон (1899—1982) — сын Ч. Крейна 158, 169, 277
 Крейн Чарльз Ричард (1858—1939) — американский предприниматель, дипломат и филантроп (см. о нем: Тыркова А. Непоседливый миллионер, друг русских // Сегодня. 1939. 26 февраля) 78, 158, 159, 169—171, 178, 250, 265, 266, 267, 269—273, 277, 278, 286—289, 294, 306, 307, 312, 314, 316, 317, 324, 331—333, 337, 341
 Круглова Юлия — студентка Политехнического института в Харбине 245
 Крук Михаил — знакомый М.И. Зарудной 10
 Кузнецов — купец в Уфе 83
 Купер Джеймс Фенимор (1789—1851) — американский писатель 220
 Кусевицкий Сергей Александрович (1874—1951) — дирижер и контрабасист 328
- Лансере Евгений Евгеньевич (1875—1946) — график и живописец 68
 Лансере Софья Евгеньевна (в замуж. Даниэль; 1880 — ?) — дочь художника Е.Е. Лансере 152, 160
 Лансере Мария Евгеньевна (в первом браке — Солнцева, во втором — Калачева) — дочь художника Е.Е. Лансере 152, 160
 Лапшев — член подпольной организации 346, 347
 Лачинов Василий Дмитриевич (? — 1933) — инженер путей сообщения, член правления и товарищ председателя правления Общества КВЖД по 1921 г., затем старший консультант правления общества 201, 203, 205, 215—217, 306
 Лачинова Вера Васильевна — дочь Лачинова 160, 201—203, 205, 216, 217
 Лачинова Вера Дмитриевна — жена Лачинова 195, 201—203, 205, 216, 217
 Лебедев — служащий банка в Уфе 82
 Лебедевы — русская семья в Сан-Франциско 289
 Левин Гарри (? — 1994) — профессор сравнительного литературоведения в Гарварде 344
 Ленин Владимир Ильич (наст. фамилия — Ульянов; 1870—1924) — публицист, политический деятель 223
 Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — поэт 220
 Лессинг — семья владельцев заводов на Выксе 46
 Липгардт Эрнест Карлович (1847—1934) — художник, хранитель картинной галереи Эрмитажа. 129
 Лисовская Варвара — см.: Зарудная В.С.
 Лисовская Галина — дочь В.С. Зарудной 156, 179—181
 Лисовская Наталья — дочь В.С. Зарудной 156, 179, 180
 Лисовский Александр — сын В.С. Зарудной, двоюродный брат М.И. Зарудной 67, 156, 179, 180, 305
 Лихонина Маргарита (1851—1884) — вторая жена П.А. Брюллова, бабушка М.И. Зарудной 15, 31

- Лондон Джек (наст. имя Джон Гриффит; 1876—1916) — американский писатель 220
- Лоуэлл Роберт (1917—1977) — американский поэт, пацифист 339
- Люксембург Роза (1871—1919) — одна из руководителей и теоретиков польской, а затем немецкой социал-демократии 68
- Малиновский — член подпольной организации 346—348
- Мамофа Иосиф Эммануилович (1926—2000) — юрист 8
- Маркс Карл (1818—1883) — немецкий политэконом, философ, революционер 16
- Масарик Томаш Гарриг (1850—1937) — президент Чехословакии в 1918—1935 гг. 158
- Медведев А.С. — правый эсер, глава Временного правительства в Приморье в первой половине 1920 г. 115
- Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866—1941) — писатель, философ, литературовед 16, 19
- Меррилл — жена Д. Меррилла 318
- Меррил Дуайт — друг С.И. Зарудного 318
- Метерлинк Морис (1862—1949) — бельгийский драматург и поэт 104
- Милкоков Павел Николаевич (1859—1943) — историк, публицист, теоретик и лидер партии кадетов 158
- Минин Павел Павлович (1892—1938) — летчик; сын П.А. Брюллова 15
- Минина Ксения Романовна — четвертая (гражданская) жена П.А. Брюллова 15
- Молле — гимназист, сын богатых домовладельцев в Уфе 83
- Монтессори Мария (1870—1952) — итальянский педагог, разработала оригинальную систему сенсогно развития детей 62
- Морзе Сэмюэл Финли Бриз (1791—1872) — американский изобретатель; в 1838 г. разработал телеграфный код (азбука Морзе) 215, 254
- Мясново Зоя Александровна (в замужестве — Зарудная; 1836—1901) — бабушка М.И. Зарудной 22
- Набоков Владимир Владимирович (1899—1977) — писатель 331
- Набокова Вера Евсеевна (урожд. Слоним; ? — 1991) — жена В.В. Набокова 331
- Навалихин Валериан Павлович — знакомый Зарудных в Омске 130, 137, 169, 172—175, 178—180, 188
- Нагашев Борис Васильевич (1904—1936) — изобретатель, русский эмигрант 327, 328, 332
- Надсон Семен Яковлевич (1862—1887) — поэт 115
- Направник Эдуард Францевич (1839—1916) — российский дирижер, композитор. По происхождению чех 104

- Николай I (1796—1855) — российский император с 1825 г. 20, 21
Николай II (1868—1918) — российский император с 1894 г. 26, 158
Ницше Фридрих (1844—1900) — немецкий философ 16
Новиков — член подпольной организации 346, 347
Носкова Елизавета Михайловна (1849—1888) — третья жена П.А. Брюллова 15
- Оглеснев Николай — студент Политехнического института в Харбине 249
Остроумов Борис Васильевич (1879—1944) — инженер, управляющий КВЖД в 1920—1924 гг. 154
- Павлова Анастасия Павловна (? — 1936) — няня М.И. Зарудной 31—33, 35, 38, 39, 42, 45, 47, 53—55, 66, 76, 79, 83, 86—88, 91, 93, 97, 98, 99, 110, 113, 122, 126, 131, 132, 135, 137—140, 142—147, 149, 150, 168, 169, 171—175, 177, 180, 181, 189, 190, 193—195, 200, 212, 219, 236, 248, 274, 280, 341, 342
Панин Виктор Никитич, граф (1801—1874) — министр юстиции в 1841—1862 гг. 21
Петр I (1672—1725) — российский царь с 1682 г. (правил с 1689 г.), первый российский император (с 1721 г.) 42, 43
Петров Л. — учитель математики в Коммерческом училище в Харбине 240, 243
Петрункевичи 157
Пиккерсгилл — знакомый И.С. Зарудного 179—181
Покровская — жена И.И. Покровского 188
Покровская Ольга Ивановна — дочь И.И. Покровского 188
Покровский Иван Иванович — эсер, представитель Комитета помощи голодающим 83, 187, 188
Полидоров — адвокат в Уфе 82
Праудфут Малкольм — студент Чикагского университета 285, 286, 288, 289, 302, 303, 322
Прокопьев Алексей Кириллович — крестьянин 82
Прокопьева — революционерка, дочь А.К. Прокопьева 82
Прянишников Василий — студент Политехнического института в Харбине, впоследствии профессор в Стэнфорде 249
Пушин Борис Евгеньевич — врач в Омске 106, 119
Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — поэт 118, 220
- Распутин Григорий Ефимович (наст. фам. Новых; 1864 или 1865, по другим данным, 1872 — 1916) — крестьянин Тобольской губернии 26
Репин Илья Ефимович (1844—1930) — живописец 68
Рихтмайер Роберт — физик, профессор в университете Боулдер (Колорадо) 321, 329

- Родичев Федор Измаилович (1853—1932) — один из основателей конституционно-демократической партии; депутат Государственной думы всех четырех созывов, с 1918 г. в эмиграции 157
- Ростан Эдмон (1868—1918) — французский поэт и драматург 220, 248
- Ротман Иосиф Борисович — знакомый И.С. Зарудного 83
- Рубинштейн Николай Оттович — секретарь Уфимской конторы Государственного банка 82
- Рузвельт Франклин Делано (1882—1945) — президент США (1933—1945) 318, 322
- Сасс — словак, приглашенный профессор в Массачусетском технологическом институте 321, 322
- Сахаров Андрей Дмитриевич (1921—1989) — физик и общественный деятель 346
- Семенов Григорий Михайлович (1890—1946) — атаман Забайкальского казачьего войска, генерал-лейтенант (с 1919 г.) белой армии; в январе 1920 г. Колчак передал ему «всю полноту военной и гражданской власти», с 1921 г. жил в Японии и Китае 115
- Серов Валентин Александрович (1865—1911) — живописец и график 68
- Сечкина Маргарита — подруга М.И. Зарудной в Харбине 221, 241, 243—245, 337
- Синглтон Джесси — муж Е.И. Зарудной 345
- Скотт Вальтер (1771—1832) — английский писатель 220
- Снигирев Алексей Михайлович — директор Крестьянского поземельного банка в Уфе 82
- Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900) — философ, поэт, публицист 16
- Соловьева Калерия Анатольевна (1913? — 1997?) — подруга Е.И. Зарудной по Харбину, участница студенческого кружка в Харбине. Уехала в СССР, была репрессирована, 8 лет провела в Ухтижемлаге. Закончила после лагеря Архангельский мединститут, работала врачом в Ухте 249
- Сорокин Питирим Александрович (1889—1968) — социолог, профессор Гарвардского университета с 1930 г. 316, 318
- Сталин Иосиф Виссарионович (наст. фам. Джугашвили; 1878—1953) — Генеральный секретарь ЦК коммунистической партии (1922—1953) 249
- Страдивари Антонио (1644—1737) — итальянский мастер смычковых инструментов 328
- Стрэйк Дёрк (1895—2002) — математик и историк науки, профессор Массачусетского технологического института 316, 317, 321, 322, 329, 340
- Тейлор Роберт (1911—1969) — американский киноактер 290
- Титовы — знакомые Зарудных в Смолино 95, 96

- Толстой Лев Николаевич (1828—1910), граф — писатель 19, 220
Толстой Петр Петрович, граф (1870 — ?) — журналист, член I Государственной думы, кадет 83
Томас — американский консул в Харбине (гл. 21) 277
Томпсон Дж. — менеджер компании «Дземма Уоркс Лимитед» в Иокогаме 154
Торчинский — директор Торгового банка в Уфе 82
Точисский Павел Варфоломеевич (1864—1918) — революционер, вначале народник, затем социал-демократ 80, 82
Троцкий Лев Давидович (наст. фам. Бронштейн; 1879—1940) — видный деятель российской социал-демократии; во время революции 1905—1907 гг. — фактический глава Петербургского Совета рабочих депутатов; в 1918—1925 гг. — нарком по военным делам 17
Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — писатель 220, 308
Тютчев Федор Иванович (1803—1873) — поэт 9
- Умов Алексей Иванович — горный инженер на Урале 89, 91
Устругов Леонид Александрович (1877—1938) — министр путей сообщения в правительстве А.В. Колчака (1919), ректор Политехнического института в Харбине (1922—1935) 306
Устрялов Николай Васильевич (1890—1937) — правовед, философ, политический деятель, в 1920—1934 гг. профессор в Харбине 215, 216, 229, 234, 240, 248, 276
Устрялова — жена Н.В. Устрялова 216, 276
Уэллс Герберт Джордж (1866—1946) — английский писатель 182
- Федосеев — знакомый И.С. Зарудного 152
Фекете Вилма (в замужестве Зарудни; р. 1907) — жена С.И. Зарудного 332
Фоменко Сергей — музыкант в Сан-Франциско 290
Фриман Артур (р. 1938) — сын М.И. Зарудной 344
Фриман Харолд (1909—1997) — муж М.И. Зарудной 317, 329, 334—344
Фриман Эдвард (р. 1942) — сын М.И. Зарудной 10, 344
- Хавиланд — патентовед в Иокогаме 154
Халл Роберт (р. 1915) — муж Татьяны Зарудной 344
Хопкинс Энн — студентка колледжа Скриппс в Клермонте 294
Хорват Дмитрий Леонидович (1858—1937) — генерал-лейтенант, управляющий КВЖД (1902—1920). Летом 1918 г. объявил себя «временным верховным российским правителем»; в 1918—1919 гг. верховный уполномоченный администрации А.В. Колчака по Дальнему Востоку. С 1924 г. председатель дальневосточного отдела Русского общевойскового союза 150—152, 154, 158, 196, 267—269, 272

Хорват Камилла Альбертовна (урожд. Бенуа; 1877 —?) — жена генерала Д.Л. Хорвата 152, 159, 195, 196, 267—269

Хрустальков Михаил Григорьевич — служащий банка в Уфе 82

Чамберс Роберт — муж З.И. Зарудной 344

Чан Кайши (Цзян Цзэши; 1887—1975) — глава (с 1927 г.) гоминьдановского правительства в Китае; после его свержения с 1949 г. возглавлял правительство на Тайване 250

Чарская Лидия Алексеевна (урожд. Воронова, в замужестве — Чурилова; 1875—1937) — писательница 108, 182, 193

Чехов Антон Павлович (1860—1904) — прозаик и драматург 220

Чжан Цзо-линь (1876—1928) — генерал, фактический правитель Маньчжурии в 1910—1920-х гг. 253

Чизхолм — служащий фабрики в Иокогаме 282

Чурин Иван Яковлевич — предприниматель; организовал свое дело в Приамурье в 1857 г., в 1867 г. учредил Товарищество «И.Я. Чурин и К*», владевшее впоследствии рядом магазинов и предприятий в городах Дальнего Востока и Маньчжурии 204

Шакута Георгий — студент Политехнического института в Харбине 249, 252

Шаскольская Мария Эммануиловна (р. 1948) — педагог, переводчик 10

Шаскольская Тамара Петровна (р. 1918) — дочь П.Б. Шаскольского и Н.В. Брюлловой-Шаскольской — педагог, ныне пенсионерка 8, 9, 17

Шаскольский Петр Бернгардович (1882—1918) — историк-медиевист 17

Шекспир Уильям (1564—1616) — английский драматург и поэт 126

Шестакова Мария Эрнестовна (урожд. Липгардт; ? — 1921) — знакомая Зарудных 129, 137, 140, 142

Шинк Ева — студентка Массачусетского технологического института 330

Шиллер Фридрих (1759—1805) — немецкий поэт и драматург 126, 351

Шлаков — служащий банка в Уфе 82

Шматов Евгений Лукич (1906—1938) — студент Политехнического института в Харбине. Уехал в СССР, был репрессирован, умер в заключении 249, 252, 313

Шокли Уильям Брэдфорд (1910—1989) — американский физик 321

Щедринские — знакомые В. Лисовской 156

Эдвардс — президент колледжа Скриппс 298

Эйнштейн Альберт (1879—1955) — физик-теоретик 239

Юзофер — жена А.Л. Юзофера 181

Юзофер Александр Львович — профессор в Омске 181, 182

Юркина Мария Кузьминична (1895—1989) — горничная Зарудных 33—35, 38, 42, 45, 50, 53, 54, 71, 75, 77, 80, 81, 84, 86, 87, 89, 91, 93, 94, 96, 97, 99, 104, 106, 110, 118, 119, 123—126, 132, 135—141, 143—145, 163—168, 171—182, 185—191, 193—195, 200, 206, 209, 212—214, 219, 222, 234—236, 244, 248, 249, 253—255, 260, 261, 263, 265, 267, 271, 274, 277, 279—281, 283, 292, 293, 298, 301, 307, 308, 319, 321, 325, 332, 341—343, 345

Яги — начальник японской полиции в Харбине 313

Якубович Петр Филиппович (1860—1911) — поэт, революционер-народник 140

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	7
Глава 1. Наша семья	13
Глава 2. Старшие дети	31
Глава 3. Война	41
Глава 4. Выкса. 1914—1915	46
Глава 5. Выкса. 1916—1917	62
Глава 6. Урал	76
Глава 7. Мы двигаемся вместе с фронтом	85
Глава 8. Омск	100
Глава 9. Омск. 1920	110
Глава 10. Осень и зима 1920 года	125
Глава 11. Гибель мамы	135
Глава 12. Папины странствия	148
Глава 13. Омск. 1921	163
Глава 14. Разлука и ожидание	174
Глава 15. Долгий путь по железной дороге	189
Глава 16. Харбин	195
Глава 17. Улица Главная	208
Глава 18. Последние школьные годы	225
Глава 19. Институт, 1926—1930	245
Глава 20. Дом	262
Глава 21. Последний год в Харбине	272
Глава 22. В Америку	281
Глава 23. В Америке	289
Глава 24. Весенний семестр 1932 года	298
Глава 25. Восточное побережье	310
Глава 26. Мы взрослые	324
Глава 27. Не все на небе будет ночь	334
Глава 28. Путешествие окончено	341
Эпилог	346
Примечания научного редактора	351
Именной указатель	353



Зарудная-Фриман Маргарита
МЧАЛИСЬ ГОДЫ ЗА ГОДАМИ
История одной семьи

Научный редактор
А.И. Рейтблат
Литературный редактор
М.К. Холмогоров
Корректор
Л.Н. Морозова
Компьютерная верстка
С.М. Пчелинцев

Налоговая льгота — общероссийский
классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

ООО «Новое литературное обозрение»

Адрес редакции:
129626, Москва, И-626, а/я 55
Тел.: (095) 976-47-88
факс: 977-08-28
e-mail: nlo.ltd@g23.relcom.ru
Интернет: <http://www.nlo.magazine.ru>

ЛР № 061083 от 6 мая 1997 г.

Формат 60х90/16
Печать офсетная
Бумага офсетная № 1
Печ. л. 23. Заказ № 0209070.
Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных материалов
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат».
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

